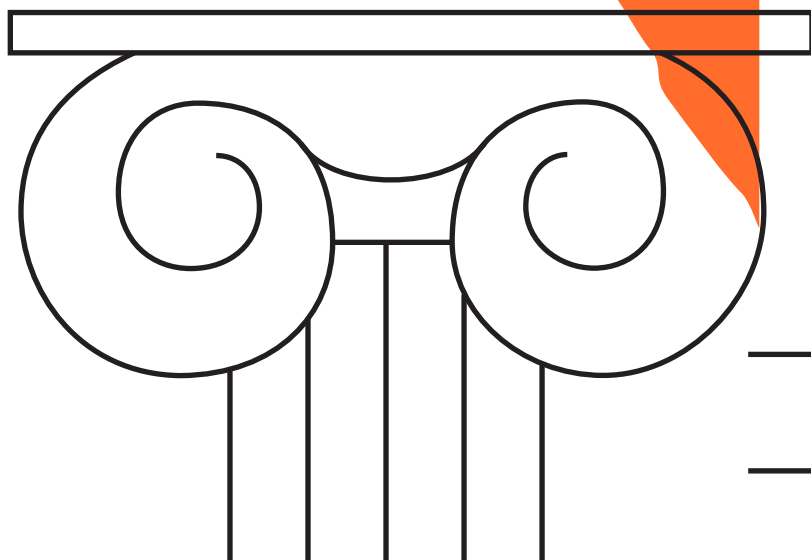
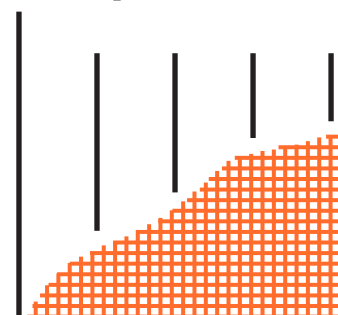


ΠΟΛΙΣ



мы в мире –
мир в нас



Индекс 70790

Политические
1 Исследования

2021

ПОЛИС

ISSN (Print) 1026-9487
ISSN (Online) 1684-0070

Нам
30
лет!

Политические
Исследования

POLIS

2021

ПОЛИС

Политические Исследования 1'2021

Научный и культурно-просветительский журнал

Издается с 1991 г.

Выходит 6 раз в год

2021 № 1

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.00

ISSN (Print) 1026-9487

ISSN (Online) 1684-0070

Читайте в следующих номерах:

Внешнеполитический потенциал Соединенных Штатов и структурные проблемы его конвертации в реальное влияние

Измерение соотношения сил между великими державами: возможности метода многомерного шкалирования

Пандемия COVID-19 и мировой порядок

Продвижение конструктивных молодежных социально-политических практик: ресурсы локальной идентичности

Проблемы политического анализа протестных кампаний и предсказания их исходов

Учредители:

Некоммерческое партнерство “Редакция журнала “Полис” (“Политические исследования”)

Общероссийская общественная организация “Российская ассоциация политической науки”

Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук

Некоммерческий фонд — Институт социально-экономических и политических исследований

Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации

Издатель:

Некоммерческое партнерство “Редакция журнала “Полис” (“Политические исследования”)

Главный редактор:

С.В. Чугров

Научный советник:

И.К. Пантин

Редакция:

А.Л. Бардин, А.Н. Кокарева, Л.Н. Кузнецова, В.В. Лапкин (первый зам. главного редактора)

Оргподдержка:

Е.В. Рыжова

Компьютерная верстка:

И.М. Ситников

Журнал включен в ядро РИНЦ (двухлетний импакт-фактор без самоцитирования — 2,252), в Scopus (Sociology and Political Science, SJR Q2, Cite Score Q2), Web of Science (ESCI), Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science, ERIH PLUS.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЖУРНАЛА

ПИ № ФС 77-73112 выдано

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 22 июня 2018 г.

©НП “Редакция журнала “Полис”, 2021

POLIS.Political Studies

www.politstudies.ru

www.polismag.ru



ISSN 1026-9487



9 771026 948003 >

Polis. Political Studies 1'2021

Journal on Political Science, Political Sociology, International Relations, Political Philosophy

Published since 1991
Issued six times a year

ISSN (Print) 1026-9487
ISSN (Online) 1684-0070

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.00
<http://www.politstudies.ru>

CONTENTS

6 Presenting the Issue

- 9 **Yu.P. Simonov, A.A. Korolev.** Conceptualizing the Common European Home: a French Vision
125 **O.I. Zaznaev.** Ethnic Conflict and Forms of Government: Contemporary Discussions
41 **T.S. Torosyan, A.V. Vardanyan.** Conceptualising a Methodology for a Comparative Analysis of the Success of Secessions

**THEME OF THE ISSUE:
CONTEMPORARY
CONFLICTS AND THEIR
CONCEPTUALIZATION**

- 58 **A.A. Tokarev, A.Yu. Prikhodchenko, A.R. Margojev, A.A. Tseleshchev.** Chinese Foreign Policy Reflected in Images of the Present and the Future: Psychographic Method
78 **L.M. Sokolshchik.** American Conservatism and the Challenge of Contemporary Populism: Theoretical and Ideological Aspects

ORBIS TERRARUM

- 94 **A.N. Mochalov.** In Search of the Origins of Multinational Federalism
110 **N.K. Radina.** "Imagined Geopolitics" in the Russian Media Discourse on Coronavirus
125 **N.Yu. Silaev.** A Test of Russian Geopolitics: Russia's Foreign Policy in the Perspective of Geopolitical Theories

RUSSIA TODAY

- 142 **V.A. Shchipkov.** Max Weber's Dialectical Rationalism and the Foundations of Social Sciences
157 **A.D. Kazun.** Professional Taboos in Russian Political Consultancy
169 **I.S. Grigoriev, A.A. Dekalchuk, S.Sh. Gubaydullina.** Multilevel Governance and Resource Exchange: Votes, Budgets, Information

LABORATORY

- 182 **Yu.A. Zulyar.** A Guide to Virtual Reality

**REFLECTING ON
MATTERS IN PRINT**

192 Information for Our Authors

In the next issues: *US Foreign Policy Potential and the Structural Problems of Its Converting into Real Influence*
Measuring the Balance of Power Between the States of G-20: the Capabilities of Multidimensional Scaling Method
Covid-19 Pandemic and the World Order

Advancement of the Constructive Youth Socio-Political Practices: Local Identity Resources
Problems of Political Analysis of Protest Campaigns and Predicting Their Outcomes

Founders: Noncommercial Partnership "Editorial Board 'Polis' ('Political Studies')"
Russian Public Organization "Russian Political Science Association"
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences
Noncommercial Foundation – Institute of Socio-economic and Political Researches (ISEPR Foundation)
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation

Polis. Political Studies journal has a media registration certificate
PI No. FS 77-73112 issued on June 22, 2018,
by the Federal Service for Supervision of Communications,
Information Technology, and Mass Media.

The Journal has been included in Scopus
(Sociology and Political Science,
SJR Q2, Cite Score Q2),
and in the Web of Science
(Emerging Sources Citation Index),
Russian Science Citation Index (RSCI)
on the Web of Science platform, ERIH PLUS.

Полис. Политические Исследования 1'2021

6 Представляю номер

9 Ю.П. Симонов, А.А. Королев

Концептуализация понятия “Европейский дом”:
французский акцент

25 О.И. Зазнаев

Этнический конфликт и форма правления:
современные дискуссии

41 Т.С. Торосян, А.В. Варданын

Методология сравнительного анализа
успешности сецессий: опыт концептуализации

ТЕМА НОМЕРА:
СОВРЕМЕННЫЕ
КОНФЛИКТЫ И ИХ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

58 А.А. Токарев, А.Ю. Приходченко, А.Р. Маргоев, А.А. Целешев

Отражение внешней политики КНР
в образах настоящего и будущего
в массовом сознании китайцев:
психографический метод

ORBIS TERRARUM

78 Л.М. Соколышник

Американский консерватизм и вызов популизма:
теоретический и идеологический аспекты

94 А.Н. Мочалов

В поисках истоков
многонационального федерализма

110 Н.К. Радина

“Воображаемая геополитика”
в российском медийном дискурсе о коронавирусе

РОССИЯ 3
СЕГОДНЯ

125 Н.Ю. Силаев

Испытание русских геополитиков:
внешняя политика России
в перспективе геополитических теорий

142 В.А. Щипков

Диалектический рационализм Макса Вебера
и проблема оснований общественных наук

157 А.Д. Казун

Профессиональные табу
в деятельности политических консультантов

ЛАБОРАТОРИЯ

169 И.С. Григорьев, А.А. Декальчук, С.Ш. Губайдуллина

Организация власти
в многоуровневых политических системах
и обмен ресурсами:
голоса, бюджеты, информация

182 Ю.А. Зуляр

Путеводитель по виртуальной реальности

РАЗМЫШЛЯЯ
НАД ПРОЧИТАННЫМ

192 Информация для авторов журнала

Международный консультативный совет

Оксана ГАМАН-ГОЛУТВИНА (председатель), доктор политических наук, чл.-корр. РАН, профессор, зав. кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, Президент Российской ассоциации политической науки (Россия)
Бьорн ВИТТРОК, заслуженный профессор, Уппсальский университет (Швеция)
Александр ГАЛКИН, доктор исторических наук, почетный доктор Института социологии ФНИСЦ РАН (Россия)
Михаил ГОРШКОВ, доктор философских наук, академик РАН, врио научного руководителя ФНИСЦ РАН (Россия)
Владимир ГУТОВ, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой теории и философии политики СПбГУ (Россия)
Петр ЛУТКЕВИЧ, доктор политических наук, профессор, Карлтонский университет, Оттава (Канада)
Такаса ИНОГУТИ, президент, Университет префектуры Ниигата (Япония)
Борис КАПУСТИН, доктор философских наук, старший преподаватель Йельского университета (США)
Тимоти КОЛТОН, профессор, Гарвардский университет (США)
Стейн Угелвик ЛАРСЕН, заслуженный профессор Университета Бергена (Норвегия)
Мари МАНДРАС, профессор Школы международных отношений Института политических исследований, Париж (Франция)
Александр НИКИТИН, доктор политических наук, профессор, директор Центра евроатлантической безопасности ИМИ МГИМО МИД России (Россия)
Игорь ПАНТИН, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН (Россия)
Юрий ПИВОВАРОВ, доктор политических наук, академик РАН, научный руководитель ИНИОН РАН (Россия)
Ричард САКВА, профессор, Кентский Университет (Великобритания)
Нобуо СИМОТОМАИ, профессор, Университет Хосэй, Токио (Япония)
Анн де ТАНГИ, профессор, Институт политических исследований, Париж (Франция)
Филипп ШМИТТЕР, заслуженный профессор, Институт Европейского Университета, Флоренция (Италия)

Редакционная коллегия

Татьяна АЛЕКСЕЕВА, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политической теории МГИМО МИД России
Владимир ГЕЛЬМАН, кандидат политических наук, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге
Андрей ДЕГТЯРЕВ, кандидат философских наук, профессор факультета политологии МГИМО МИД России
Михаил ИЛЬИН, доктор политических наук, профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ
Полина КОЗЫРЕВА, доктор социологических наук, первый зам. директора ФНИСЦ РАН, зав. центром лонгитудных обследований Института социальной политики НИУ ВШЭ
Владимир ЛАПКИН, ведущий научный сотрудник Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, первый зам. главного редактора журнала "Политические исследования"
Марина ЛЕБЕДЕВА, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой мировых политических процессов МГИМО МИД России
Ольга МАЛИНОВА, доктор философских наук, профессор, профессор НИУ ВШЭ
Борис МЕЖУЕВ, кандидат философских наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
Андрей МЕЛЬВИЛЬ, доктор философских наук, профессор, декан факультета социальных наук НИУ ВШЭ, заслуженный деятель науки РФ
Владимир ПАСТУХОВ, доктор политических наук, профессор Колледжа Св. Антония, Оксфорд
Сергей ПАТРУШЕВ, кандидат исторических наук, зав. отделом сравнительных политических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН
Владимир ПЕТУХОВ, кандидат философских наук, руководитель Центра комплексных социальных исследований Института социологии ФНИСЦ РАН
Яков ПЛЯИС, доктор исторических и политических наук, профессор, профессор Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ирина СЕМЕНЕНКО, доктор политических наук, чл.-корр. РАН, зам. директора, руководитель Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
Виктор СЕРГЕЕВ, доктор исторических наук, профессор, директор Центра глобальных проблем ИМИ МГИМО МИД России
Леонид СМОРГУНОВ, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политического управления факультета политологии СПбГУ
Александр СОЛОВЬЕВ, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова
Сергей ЧУТРОВ, доктор социологических наук, профессор МГИМО МИД России
Елена ШЕСТОПАЛ, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Главный редактор:	С.В. ЧУТРОВ
Научный советник:	И.К. ПАНТИН
Редакция:	А.Л. БАРДИН, А.Н. КОКАРЕВА, Л.Н. КУЗНЕЦОВА, В.В. ЛАПКИН (первый зам. главного редактора)
Организационная поддержка:	Е.В. РЫЖОВА
Компьютерная верстка:	И.М. СИТДИКОВ

International Editorial Council

Oksana GAMAN-GOLUTVINA (chairman), Dr. Sci. (Pol. Sci.), Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Prof., Head of Comparative Political Science Department, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, President of the Russian Political Science Association (Russia)
Archie BROWN, Emeritus Prof., Oxford University (Great Britain)
Timothy COLTON, Prof., Head of the Department of Government, Harvard University (USA)
Piotr DUTKIEWICZ, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor, Carleton University, Ottawa (Canada)
Aleksandr GALKIN, Dr. Sci. (Hist.), Prof., honorary Dr. of Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Russia)
Mikhail GORSHKOV, Dr. Sci. (Philos.), Academician, Acting Academic Supervisor, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Russia)
Vladimir GUTOROV, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of Department for Theory and Philosophy of Political Science, Saint Petersburg State University (Russia)
Takashi INOUCHI, President, Niigata Prefecture University (Japan)
Boris KAPUSTIN, Dr. Sci. (Philos.), Senior Lecturer, Yale University (USA)
Stein Ugelvik LARSEN, Emeritus Prof., University of Bergen (Norway)
Marie MENDRAS, Prof., Sciences Po University's School of International Affairs, Paris (France)
Aleksandr NIKITIN, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Director, Center for Euro-Atlantic Security, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs (Russia)
Igor PANTIN, Dr. Sci. (Philos.), Principal Researcher, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Russia)
Yuriy PIVOVAROV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Full Member of the Russian Academy of Sciences, Academic Supervisor, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences (Russia)
Richard SAKWA, Prof., University of Kent (Great Britain)
Philippe C. SCHMITTER, Emeritus Prof., European University Institute, Florence (Italy)
Nobuo SHIMOTOMAI, Prof., Hosei University, Tokyo (Japan)
Anne de TINGUY, Prof., Sciences Po Institute, Paris (France)
Björn WITTROCK, Emeritus Prof., Uppsala University (Sweden)

Editorial Board

Tatyana ALEKSEYEVA, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of Political Theory Department, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Sergey CHUGROV, Dr. Sci. (Soc.), Prof., Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Andrey DEGTAREV, Cand. Sci. (Philos.), Assoc. Prof., Faculty of Political Science, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Vladimir GELMAN, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Faculty of Political Sciences and Sociology, European University at St. Petersburg, St. Petersburg, Russia
Mikhail ILYIN, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor in Ordinary of National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Polina KOZYREVA, Dr. Sci. (Soc.), First Deputy Director of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Head of the Center for Longitudinal Studies at the Institute for Social Policy of the National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Vladimir LAPKIN, Cand. Sci. (Chem.), Leading Researcher, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, First Deputy Editor-in-Chief, Polis. Political Studies, Moscow, Russia
Marina LEBEDEVA, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of World Political Processes Department, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Olga MALINOVA, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Prof., National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Andrey MELVILLE, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Dean, Faculty of Social Sciences, National Research University Higher School of Economics, Honored Scientist of Russia, Moscow, Russia
Boris MEZHUEV, Cand. Sci. (Philos.), Assoc. Prof., Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Vladimir PASTUKHOV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., St. Antony's College, Oxford, Great Britain
Sergey PATRUSHEV, Cand. Sci. (Hist.), Head of Comparative Political Studies Department, Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Vladimir PETUKHOV, Cand. Sci. (Philos.), Head of the Center of the Comprehensive Social Studies, Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Yakov PLEIS, Dr. Sci. (Hist., Pol. Sci.), Prof., Prof. of Political Science Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
Irina SEMENENKO, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Deputy Director, Head of the Center for Comparative Socio-Economic and Political Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Viktor SERGEEV, Dr. Sci. (Hist.), Prof., Director, Center for Global Problems, Institute of International Studies, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Yelena SHESTOPAL, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head the Chair of Sociology and Psychology of Politics, Department of Political Science, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Leonid SMORGUNOV, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of Political Governance Department, Faculty of Political Science, Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
Aleksandr SOLOVYOV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of Political Analysis Department, Faculty of Public Administration, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Editor-in-Chief:	S.V. CHUGROV
Academic Adviser:	I.K. PANTIN
Editorial Staff:	A.L. BARDIN, A.N. KOKAREVA, L.N. KUZNETSOVA, V.V. LAPKIN (First Deputy Editor-in-Chief)
Organizational Support:	E.V. RYZHOVA
Computer Layout:	I.M. SITDIKOV

ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР

Дорогой читатель!

Мы готовимся праздновать свое 30-летие, поскольку самый-самый первый номер “Полиса” вышел три десятилетия назад, в начале 1991 г. Понимаем, что уже вышли из юного возраста, но и до немощного состояния далеко. Как отметим это событие, будет зависеть от того, когда удастся обуздать эпидемию COVID-19. Мы смотрим на эту перспективу со сдержанным оптимизмом. Но на всякий случай будем считать номера наступающего года юбилейными, что накладывает на нас особые обязательства перед вами во всем, касающемся планки требований к качеству публикаций.

И тут вижу повод акцентировать особую роль наших экспертов, работающих на принципах “двойного слепого” рецензирования, которым строго следует Редакция. Острота вопроса становится очевидной на фоне потока рукописей, который обрушился на наш журнал и, соответственно, головы наших рецензентов в связи с самоизоляции ковидной эпохи, помноженным на наукометрические извращения эпохи “хиршемании”. Задача Редакции — сепарировать “чистые струи” в этом потоке (их мало) и определить те статьи, которые по советам экспертов можно “дотянуть”. Но некоторые коллеги принялись в самоизоляции по-стахановски выдавать на-гора “угольку” в виде статей, которые потом по году тлеют в ожидании вердикта.

Что еще болезненной, получился затор из статей, которые уже — по минимуму или по максимуму — оценены и рекомендованы рецензентами к публикации. Если поставить плотину и прекратить прием новых рукописей, потребовалось бы пара-тройка выпусков журнала целиком из этих статей. Но такое невозможно. Выход вижу в сочетании трех “надо”: а) резко повысить планку требований к качеству поступающих статей, отбирая сильнейшие из сильных, “пятерочные” по школьной градации оценок; б) постепенно разгрести завалы (по одной-две статьи в номер) из тех добротных статей, которые получили достойные оценки — условные “четверки” по ключевым критериям, сформулированным на нашем сайте. Среди таких критериев следующие: 1) научная новизна исследования; 2) эффективность авторского подхода к выбору важной темы (в какой мере автор успешен в исследовании актуальных проблем современной политической науки); 3) оригинальность (самостоятельность) в подходе к исследованию; 4) адекватность избранной методологии исследования; 5) теоретическая фундаментальность концепции автора; 6) убедительность выдвинутой гипотезы и валидность аргументации; 7) соответствие выводов цели и задачам исследования; 8) соответствие стиля изложения требованиям к научной публикации и адекватность использования категориально-понятийного аппарата. Статьи, получившие хорошие оценки рецензентов, имеют шансы на появление в течение года (при нынешнем трафике — порой до полутора лет).

Третья группа материалов, которые полезны для читателя и прошли сквозь фильтр рецензирования, но не заслужили высших и хороших оценок, входят в “серую зону”. Шансы их на прохождение тают, и они могут пройти в срок около двух, а теперь и трех лет, как повезет. Если Редакция взяла на себя обязательство опубликовать статью, считаю, что мы должны позаботиться о ней. Но сочувственно понимаю (что поделаешь?): эти статьи морально “затовариваются”, “вянут-пропадают”, а авторам это больно, и хочется побыстрее увидеть их в журнале. Поэтому прошу авторов, которые видят, что их творения уже “поросли желтым цветком”, отозвать их и передать в другие профильные журналы, и мы всячески будем радоваться, узнавая, что они не пропали в туне, а дошли до читателя...

Выбор рецензентов зависит обычно не от каприза главного редактора или того или иного сотрудника редакции, а от заявленной ведущими экспертами-политологами тематики, подтвержденной их публикациями — монографиями и статьями в ведущих рецензируемых журналах. В каждом последнем номере года мы публикуем список лучших рецензентов, которые получают в подарок электронную подписку журнала. Хотели бы увидеть в нем ваши имена.

Считаем, что в скором будущем сможем преодолеть публикационный кризис. Во-первых, мы изучаем возможности ускорения публикации одобренных статей. Во-вторых, когда в ближайшие год-полтора новые журналы пополнят, надеемся, базу данных *Scopus*, она потеряет свою притягательность. В-третьем, мы видим признаки “разлома нынешнего шаблона скопусобесия”. На высоком уровне признается, что “перекос в сторону наукометрических индексов при принятии финансовых и кадровых решений все чаще приводит к различного рода искажениям и даже злоупотреблениям” (см. <https://mgimo.ru/about/news/main/nani-2020/>).

“Полис” по-прежнему опирается на краеугольные принципы, в частности, присутствия на наших полосах широкой географии и разных возрастных авторских когорт. Так, от имени региональных научных центров выступают **Артур Мочалов** из **Екатеринбурга** (“В поисках истоков многонационального федерализма”), **Надежда Радина** из **Нижнего Новгорода** (“Воображаемая геополитика” в российском медийном дискурсе о коронавирусе), **Юрий Зуляр** из **Иркутска** (“Путеводитель по виртуальной реальности”). “Ближнее зарубежье” представляют политологи из **Еревана Тигран Торосян** и **Аракся Варданян** (“Методология сравнительного анализа успешности сецессий: опыт концептуализации”).

В возрастной шкале доминируют миллениалы и представители поколения Z. Так, в паре с культурологом и писателем **Юрием Симоновым**, который, приоткрою “секрет Полишинеля”, более известен как популярный ведущий телепрограммы “Умники и умницы” **Юрий Вяземский**, выступает аспирант **Андрей Королев** со статьей “Концептуализация понятия ‘Европейский дом’: французский акцент”, содержащий любопытнейший опыт анализа формирования новых культурных констант в творчестве скандального Мишеля Уэльбека. Талантливая молодежная команда Института международных исследований МГИМО, отмеченная Президентским грантом — **Алексей Токарев**, **Алексей Приходченко**, **Адлан Маргоев** и **Алексей Целешев** — демонстрируют оригинальный поход в статье “Отражение внешней политики КНР в образах настоящего и будущего в массовом сознании китайцев: психографический метод”. Молодой, но опытный американист из НИУ ВШЭ **Лев Соколышник** рассматривает состояние умов в США (“Американский консерватизм и вызов популизма: теоретический и идеологический аспекты”). Трио политологов из Санкт-Петербурга **Иван Григорьев**, **Анна Декальчук**, **Софья Губайдуллина** (“Организация власти в многоуровневых политических системах и обмен ресурсами: голоса, бюджеты, информация”) представляют модель, которая вписывается в эндогенную теорию многоуровневого управления. Наконец, молодой религиовед **Василий Щипков** (“Диалектический рационализм **Макса Вебера** и проблема оснований общественных наук”) рассказывает о важности духовно-рациональной составляющей общественного сознания.

Публикацию серии юбилейных статей продолжим в № 2, в котором вас ждут сюрпризы — в том числе и статьи таких известных авторов, как **Ирина Семененко**, **Андрей Сушенцов**, **Оксана Гаман-Голутвина** и **Александр Никитин**...

Не можем пройти мимо такой важной новости, как передача директорского поста Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Мы сердечно поздравляем **Михаила Федоровича Черныша** с назначением на пост врио директора ФНИСЦ РАН, а **Михаила Константиновича Горшкова** — со

славным юбилеем (29 декабря) и переходом на пост врио научного руководителя ФНИСЦ РАН.

Рады поздравить с прошедшим юбилеем славнейшего и несравненного друга нашего журнала **Владимира Александровича Гуторова**, заведующего кафедрой теории и философии политики факультета политологии СПбГУ. Восхищаюсь его существенными энциклопедическими знаниями. У него, интеллигента до мозга костей и книгочая питерского извода, действительного члена Международной ассоциации древнегреческой философии (Афины), даже в улыбке искрится что-то неуловимо платоновское. Или даже что-то более онтологическое. Представляю, сколь изысканным удовольствием было бы поболтать с ним на латыни или по-древнегречески, знай я эти языки. Но для “Полиса” ценно не столько то, что он знаток античности, сколько то, что он, один из видных членов Международного консультативного совета “Полиса”, взыскательный и неравнодушный рецензент, бескорыстно помогающий авторам и “Полису”.

Сергей Чугров

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

Уважаемые авторы журнала “Полис. Политические исследования”!

Ввиду переполнения портфеля Редакции и усиления конкуренции между рукописями степень их соответствия требованиям Редакции приобретает критически важное значение для эффективности процедуры и сокращения ее сроков. Вот главные пожелания, адресуемые нами авторам.

8 1. Объем рукописи формально определен редакцией в 30–45 тыс. знаков с пробелами и аппаратом статьи. Мы готовы идти навстречу авторам и допускать некоторое его превышение, но в исключительных случаях; необходимые при этом согласования с авторами часто заметно увеличивают время прохождения рукописи.

2. Важный элемент, увеличивающий объем статьи, — таблицы и рисунки, наличие которых вынуждает дополнить ограничение объема в знаках ограничением по количеству полос. Здесь норма — 13–14 полос нашего формата. Она может быть дополнена до 15–17, если Редакция сочтет такое повышение оправданным с точки зрения полноценного изложения результатов исследования. Статьи сверх этого объема мы вынуждены будем считать крайним исключением и дополнительно работать по ним с авторами. Статьи свыше 21 полосы будут отправляться авторам на обязательное сокращение.

3. При оформлении источников и ссылок на них в тексте настоятельно рекомендуем свериться с тем, как они оформлены в свежих выпусках журнала. Следует разделять ссылки на научные источники, входящие в список литературы, и источники справочного и информационного характера, которые следует приводить в постраничных сносках.

4. Особое внимание просим обращать на правильный английский язык перевода заголовка, аффилиации, аннотации (*Abstract*) и ключевых слов (*Keywords*), не полагаясь всецело на машинный перевод. Это относится и к сведениям об авторах (они должны быть полными и достоверными и соответствовать формату, принятому в журнале). Транслитерацию названий в русскоязычных источниках (прежде всего — книг, а также названий журналов, если отсутствует официальное англоязычное) необходимо проводить в системе BSI.

Редакция журнала

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.02

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ “ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ”: ФРАНЦУЗСКИЙ АКЦЕНТ

Ю.П. Симонов, А.А. Королев

СИМОНОВ Юрий Павлович, кандидат исторических наук, зав. кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО МИД России, Москва, email: kafedra.mlik@yandex.ru; **КОРОЛЕВ Андрей Александрович**, аспирант МГИМО МИД России, Москва, email: king2204@yandex.ru

Симонов Ю.П., Королев А.А. Концептуализация понятия “Европейский дом”: французский акцент. — Полис. Политические исследования. 2021. № 1. С. 9–24. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.02>

Статья поступила в редакцию: 20.09.2020. Принята к публикации: 24.11.2020

Аннотация. “Единый европейский дом” (maison commune européenne) — политический проект и стратегия гражданского общества, основанная на приоритете культурной общности народов Европы по отношению к национально-государственным формам их интеграции. Цель этого исследования — проследить особенности концептуализации данного понятия в качестве одной из форм политической мифологии (политическая метафора), питаемой медийным и художественным дискурсами. Новизна исследования состоит в обращении к анализу политической метафоры “европейский дом” на материале творчества известного французского писателя М. Уэльбека. Деконструкция этой метафоры, предпринятая Уэльбеком, помогает проследить трансгрессию политического мифа о “европейском доме” как 1) “большой Европе от Гибралтара до Урала” и 2) тождественного ЕС политического союза. Созданный самим Уэльбеком образ “дома” отражает новые ракурсы переживания европейцами “новых ценностей”. Он выявляет проблему отторжения “новой” (общеевропейской) идентичности, декларирует отказ от сведения культуры к ее политическим проекциям. Выявлена близость художественной оптики романов М. Уэльбека к приемам современной имагологии, прослежена аргументация исключительного значения литературных образов в создании образа страны как элемента политического сознания. Результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на дискуссии, которые ведутся во Франции в связи с “политическим измерением” творчества М. Уэльбека, а также уточнить значение литературы в качестве эмпирического и теоретического источника политической теории.

Ключевые слова: европейский дом, новые ценности, политика и культура, парадоксы европейского единства, антропологическая призма, имагологические исследования политических процессов, творчество М. Уэльбека.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИЗМА В ЗЕРКАЛЕ КУЛЬТУРЫ: “ЕДИНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ” КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ИДЕОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ “НОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ”

Концептуализация понятия “европейский дом” во французской политической мысли имеет несколько источников: политическую мифологию, гражданские инициативы и художественные образы, созданные французской литературой. Диагностика противоречий “единой Европы” в творчестве М. Уэльбека позволяет проследить трансгрессию политического мифа и ос-

лабление идеологии “единой Европы” на уровне онтологической основы гражданского общества — политического сознания свободного индивидуума.

Понятие “единого европейского дома” утвердилось в медийном, а затем и научном дискурсе к концу XX в. Его распространение многие связывают с падением Берлинской стены в ноябре 1989 г., когда осознание европейцами своего культурного единства приобрело выраженные политические формы [Kuhnhardt 2008]. Традициям французского политического дискурса свойственно обращаться в этом контексте к имени М. Горбачёва¹. Правда, бывший генсек ЦК КПСС высказал эту идею в октябре 1985 г., т.е. за четыре года до ноября 1989 г.: в беседе с французскими тележурналистами он действительно сравнил Европу с домом, жильцы которого нуждаются в “налаживании коммуникаций”, хотя и “живут в разных подъездах”².

Мифу о Горбачёве как *авторе идеи* “европейского дома” можно найти простое объяснение: Берлинская стена, как и горбачевская перестройка, — символы рождения новых гражданских инициатив, запустивших процесс масштабных политических трансформаций. Появление мифа — свидетельство общественного интереса к уникальному периоду “прямого политического действия” граждан; а его закрепление в политическом дискурсе показывает запрос общества на “скрещивание” политики и культуры (примером могут служить политические манифесты деятелей культуры и искусства, — такие, как “Европейский дом в огне”³). В то же время очевидно: горбачевская мифология “общего европейского дома” используется как синоним “большой Европы” от Гибралтара до Урала, т.е. восходит к голлистской (а точнее, наполеоновской) интерпретации культурного ландшафта континента.

Параллельно, однако, развивалась идея “европейского дома” иного содержания, как Европейского союза в виде надгосударственного единства не только государств, но прежде всего локальных сообществ [Weisbein 2011: 37]. Так, в 1960 г. во Франции был создан проект “*Maisons de l'Europe*”, а чуть позднее, в 1961 г., возникла Французская федерация *Maisons de l'Europe* (FFME). Она существует по сей день, позиционируя себя в качестве “независимой от политических партий” и “автономной по отношению к... национальным институтам” [ibid.: 43]⁴, и это несомненное свидетельство востребованности

¹ См.: Rey M.-P. Gorbatchev et la “Maison Commune Européenne”. Une opportunité manquée? — *Institut François Mitterrand*. 12.03.2007. URL: <http://www.mitterrand.org/Gorbatchev-et-la-Maison-Commune.html> (accessed 27.11.2020); Rey M.-P. Gorbatchev et “la maison commune européenne”, une révolution mentale et politique? — *La Revue russe*. 2012. No. 38. P. 101-110. URL: https://www.persee.fr/doc/russe_1161-0557_2012_num_38_1_2490 (27.11.2020). В прессе эта тема освещается в контексте сожаления об утраченном проекте “большой Европы”, видевшей общность судьбы с Россией. См.: Hubert-Rodier J. Europe-Russie: l'impossible maison commune. — *Les Echos*. 26.10.2016. URL: <https://www.lesechos.fr/2016/05/europe-russie-limpossible-maison-commune-1111332> (accessed 27.05.2020).

² Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева во Францию. 2-5 октября 1985 года. Документы и материалы. М.: Издательство политической литературы. 1985. С. 14. Цит. по: Общий европейский дом. Та самая цитата. — *Европейский блокнот*. 03.07.2010. URL: <https://olga-euro.livejournal.com/25689.html> (accessed 27.10.2020).

³ “Il y a le feu à la Maison Europe”, le manifeste des patriotes européens. Par Un collectif d'écrivains internationaux. — *Libération*. 25.01.2019. URL: https://www.liberation.fr/planete/2019/01/25/il-y-a-le-feu-a-la-maison-europe-le-manifeste-des-patriotes-europeens_1705305 (accessed 27.11.2020).

⁴ Подробные сведения о FFME размещены на сайте Торгово-промышленной палаты Франции. См. Qui sommes-nous? — *Bienvenue sur le site de la Fédération Française des Maisons de l'Europe*. URL: <https://www.maisons-europe.eu> (accessed 27.11.2020).

сближения гражданских и бизнес-инициатив⁵. Сегодня во Франции есть как минимум еще одна ассоциация, которая продвигает идеи европейского строительства — *Mouvement Européen France*⁶. Во всех приведенных случаях “европейский дом” выступает в качестве проекта, выражающего цель единства Европы как новую ценность. *Идея культуры*, описывающая неповторимое своеобразие того или иного социума, трансформируется в *идеологию* обеспечения политического единства за счет ценностей более глубоких, нежели сугубо политические⁷.

Сегодня политический смысл “европейского дома” может быть сведен к ценности *общего* проживания *правильных* “соседей”, что требует установления общего порядка их “подселения” и регламентации поведения. И хотя голлистская модель “большой Европы” стала основной в процессе преобразований в политике и культуре, обеспечивших активное участие Франции в создании Европейского союза [Palayret 1994], ее реальное политическое значение в наши дни не стоит преувеличивать.

В свою очередь, допустимое разнообразие обычаев и традиций граждан ЕС остается их “личным делом”, — так же, как и культура тех национально-культурных, религиозных и т.п. групп, которые вливаются в потоки трудовой миграции, въезжают в Европу в качестве беженцев и т.д. [Дианина, Халиль, Глаголев 2019]. Вялый характер политики евrorасширения, как и острые проблемы аккомодации иммигрантов, обозначают парадоксы политики объединения, проецирующие на общество разногласия куда более глубокие, чем сама по себе иммиграция или прием в Евросоюз новых членов или выход из сообщества. Брекзит и связанные с ним метаморфозы наглядно продемонстрировали хрупкость объединения Европы.

Интенсификация *межкультурной* коммуникации за счет создания принципиально “новых социальных полей” путем взаимодействий “поверх” национальных и политических границ парадоксальным образом влечет усиление групповой солидарности в рамках национальных идентичностей. При этом ЕС, вопреки официальным декларациям, приобретает все больше черт протогосударственного образования, что само по себе препятствует евrorасширению [Fligstein 2008: 123-126]. С одной стороны, идея “общего европейского дома”, акцентируя ценность единства, четко конституирует направление трансформации культурного самосознания европейцев как *граждан ЕС*. С другой стороны, их “общим домом” объявляется глубоко культурно негомогенная территория, где историческая память *все еще не может* преодолеть значимые различия, но *уже должна* считать их вторичными и несуществен-

⁵ L'Europe: une maison commune à consolider. 29.03.2017. — *Les CCI (Les chambres de commerce et d'industrie)*. URL: https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/actualiteE2%80%99europe--une-maison-commune-a-consolider (accessed 27.11.2020).

⁶ *Mouvement Européen France*. URL: <https://mouvement-europeen.eu/> (accessed 27.11.2020).

⁷ На полях заметим: для Франции тема европейского единства особенно актуальна в силу глубоко укоренившейся в сознании французов идеи “доминантности” собственной культуры. Идеи, своеобразно совмещенной с активным участием страны в создании единой Европы и выработкой рамки общеевропейских ценностей — таких, как общий рынок, демократия, права человека и т.д. Именно эти ценности были закреплены в Копенгагенских критериях для стран-кандидатов на вступление в ЕС (Копенгаген, 1993) и подтверждены Мадридскими соглашениями (Мадрид, 1995). См.: Conditions for membership. European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations. — *European Commission*. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en (accessed 27.11.2020).

ными. Отсюда рост настроений евроскептицизма [Preda, Pasquinucci 2010; Alesina, Giavazzi 2006: 119-134; Боровков 2019], явившегося следствием перекрестных процессов в сфере реальной экономики [The Eurozone Crisis... 2014; Farkas 2016], политики, международных гуманитарных обменов и процессов общественного сознания, фиксирующих противоречия “единой Европы”. Под огонь критики евроскептиков попадает политическая онтология, декларирующая переход европейского сообщества к “третьей трансформации” демократии по Роберту Далю [Dahl 1989: 311-342], когда на место полисной демократии, а затем — демократических институтов национальных государств приходит стремление взять под контроль гражданского общества политические процессы в международном масштабе, наталкивающееся в ЕС на реальный “дефицит демократии” [Gustavsson, Karlsson, Persson 2009: 1-10] за счет неуклонного расширения полномочий евробюрократии. Не менее остро стоит вопрос демаркации институтов гражданского общества и других транснациональных политических акторов [Kotzian, Steffek 2013].

Итак, даже самый общий анализ ценностного наполнения понятия “европейский дом” позволяет предположить: это — масштабный и действенный проект *преобразования самосознания* европейцев, не только в очередной раз напоминающий о политической составляющей [The Future of Europe... 2004] кантовской “регулятивной утопии” вечного мира или бисмарковской версии “Соединенных Штатов Европы”, но и на практике реализующий их, возможно, наименее травматичный для европейских суверенитетов вариант. Вместе с тем говорить об укоренении этой идеи в сознании европейцев в качестве безальтернативной (а тем более, о ее торжестве в реальной политике) явно преждевременно⁸. Это выглядит тем более парадоксально, что к воплощению концепции “общего дома” Европа стремилась давно, как минимум со времен Священной Римской империи. Утопии и реальные проекты питали общие ценности и цели, ставшие предметом теоретического анализа европейской философии как минимум со времен Данте и Макиавелли. Одна из таких целей — *недопущение войн*. Другая, не менее важная (хотя и более поздняя), — *поиск культурного единства*. Первая имеет яркие политические проекции; вторая принадлежит к сфере действия гражданского общества, сегодня все чаще выступающего в качестве активного участника политических процессов.

ФУНДАМЕНТ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ “ЕВРОПЕЙСКОГО ДОМА”: ВОЙНА VS КУЛЬТУРА

На фоне гигантских объемов накопленных знаний по “истории европейских идей” [Ковлер 2016: 24-25] изучение процесса концептуализации “единого европейского дома” сквозь призму противопоставления *войны* [Ideas of Europe since 1914... 2002; European Identity... 2011] и *культуры* привлекает внимание в связи с практическим значением этих теорий. Единство в *негативном смысле*, как противоядие войне, подвергалось анализу в трудах многих мыслителей. О способах предотвращения войн размышляли папский

⁸ Подтверждение тому — “коронакризис”, создавший множество препятствий для движения товаров и людей. См. Coronacrisis: Actions for the Public Sector. 28.05.2020, Brussels. — *Accountancy Europe*. URL: <https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-impact-on-the-public-sector/> (accessed 12.08.2020); Europe’s economic recovery from COVID 19. 30.06.2020 — *Accountancy Europe*. URL: <https://www.accountancyeurope.eu/events/europes-economic-situation-under-covid-19/> (accessed 12.08.2020).

легат Пьер Дюбуа, предложивший в начале XIV в. проект создания “христианской республики” под патронажем Ватикана [Dubois 1956]. В качестве *безальтернативного* [Кант 1994: 5-6] пути преодоления войн обосновывает политическое единство европейских держав трактат И. Канта “К вечному миру” (1795). Параллельно европейское политическое единство приобретает вес в глазах теоретиков культуры, ищущих *позитивные ценности*. Так, мысль о политическом “объединении народа” на основе единства языка и культуры обоснована еще в работе И.Г. Фихте “Речи к немецкой нации”. Достижения и провалы этой концепции хорошо известны. Но успех проекта политического объединения Европы XX в. определился в первую очередь не позитивными (“культурными”) ценностями, но ценностями негативными [The Idea of a United Europe... 2000: 12], т.е. стремлением создать непререкаемые условия для предотвращения войн.

Анализ философской и политической мысли [Pasquier, Weisbein 2004] показывает возрождение интереса к теме культуры в качестве организующего принципа “европейского дома”⁹. Взгляд на политические процессы сквозь призму культуры предполагает прицельное внимание к человеку как самостоятельной единице, имеющей значимые (для *других* и общества в целом) чувства и субъективные цели. Именно поэтому “культурная призма” годится и для исследования мозаичного политического субъекта, интегрирующего в духе неомарксизма потенциально свободные персоналии [Gouldner 1982]: обращение к философской антропологии позволяет выделить акценты, работающие в конструктивистском ключе и прямым образом влияющие на политическую реальность. Один из таких акцентов связан, на наш взгляд, с концептуализацией понятия “европейский дом” в обновленном смысле, предполагающем взгляд на проблемы Европы сквозь призму 1) фиксации противоречий социальной действительности; 2) противопоставления политики и культуры; 3) роли медиа во взаимодействии политиков и гражданского общества. Образно-теоретическая модель, нацеленная на проработку каждого из предложенных ракурсов, родилась в творческой лаборатории французской литературы, исторически тесно переплетенной с традицией политической философии. Она сфокусирована не на социальные или политические проблемы сами по себе, а на связанные с ними *антропологические процессы*. Как известно, общим местом дискуссий на эту тему стало утверждение, что интерес к человеку и реактивация идей антропологии определили “методологический шторм” и *cultural turn* в гуманитарных исследованиях рубежа XX–XXI вв. Вектор научных поисков сменился с нерефлексивного сциентизма на ценностно-ориентированный подход, который, в свою очередь, сам является дискуссионным [Силантьева, Глаголев, Тарасов 2017: 65].

Следующие страницы работы будут посвящены анализу конкретного примера, позволяющего предположить: интерес к человеку, модулируемый европейской (и в частности, французской) литературой XX в., во многом пересекается с новейшими подходами философской антропологии, имею-

⁹ Уместно упомянуть исследования подвижности рамок культурной идентичности [Федотова, Федотова, Чугров 2018: 149] и дискуссию об общих европейских ценностях [Mischi, Weisbein 2004]. Тема культуры затрагивает влияние на политические процессы социально-экономических трендов, таких как социальные последствия экологических проблем, развития энергетики, изменения климата, миграционного давления, демографии и т.д. [Farkas 2016: 495-508].

щими прямые политические проекции. Особенно важна связь политики, литературы, журналистики и философии в традициях французской культуры и политической мысли, где внимание к философским основаниям политических процессов всегда было выражено предельно отчетливо и подвергалось системной рефлексии.

МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЗМА ИМАГОЛОГИИ

Великое множество трудов посвящено и истории европейских идей, и осмыслению экономических, социальных и политических трансформаций Евросоюза. Однако даже для таких сравнительно гибких научных инструментов, которыми пользуется, например, социология, часто остается недоступным анализ упомянутого выше *антропологического измерения* происходящих социокультурных сдвигов (как минимум, ей требуется временная дистанция по отношению к имевшим место событиям). Изменение задач науки, связанное с развитием социального проектирования, определяет ее стремление проследить не только масштабные статистические процессы, но и индивидуальные жизненные треки и переживания. Это заставляет искать методологию, способную обращаться непосредственно к “сердцевине человеческого”. На помощь приходят, с одной стороны, методы неклассической науки, а с другой, методы художественного анализа.

Вопрос о характере новой методологии, релевантной “сложному” и “хаотичному” миру, сегодня остается остро дискуссионным. “Литературоцентричное мышление” воспринимается частью специалистов как антитеза философии [Подорога 2009: 11]; а иногда и — научной достоверности. Некоторые авторы, напротив, настаивают на исключительном праве искусства (включая литературу), претендовать на “неангажированность” как “незамутненность взгляда” [Бадью 2014: 95-128]. При таком прочтении образно-художественное мышление открывает возможности изучения не только ценностей, но и политического сознания на уровне процессов, участвующих в трансформации политического субъекта [Философия культуры... 2020: 331, 322, 368].

О “европейском доме” в эмоционально заостренной художественно-образной форме одним из первых заговорил известный своими политическими предсказаниями¹⁰ французский писатель *Мишель Уэльбек*. Созданные им литературные образы позволяют обратиться к изучению особенностей самосознания современного европейца [Королев 2020], вести поиск “ключа” новой европейской идентичности в принципиально “неангажированной” манере. Творчество Уэльбека — своеобразная диагностика, выносящая “приговор” тектоническим сдвигам, происходящим в “цивилизованном мире”. Его романы, поэтическое творчество и публицистика проникнуты метафорой “дома” в контексте переживания глобальных трансформаций, динамически

¹⁰ Le Clash Culture: dans Sérotonine, Houellebecq a-t-il anticipé la colère des “gilets jaunes”? — *Le Figaro*. 10.01.2019. URL: <https://www.lefigaro.fr/culture/2019/01/10/03004-20190110ARTFIG00015--le-clash-culture-dans-serotonine-houellebecq-a-t-il-anticipe-la-colere-des-gilets-jaunes.php> (accessed 09.12.2020); Provost L. Dans “Sérotonine” de Michel Houellebecq, voici ce qu’il y a de “gilets jaunes”. — *Huffington Post*. URL: https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/03/dans-serotonine-de-michel-houellebecq-voici-ce-quil-y-a-de-gilets-jaunes_a_23632459/ (accessed 09.12.2020).

меняющих не только социальное пространство, но и экзистенциальное содержание жизни европейца. Перед нами предстает именно *концептуализация* понятия: здесь работает не понятие как таковое, а образные решения, подталкивающие читателя к его осмыслению. Этим подход Уэльбека, чьи герои находятся в постоянном переживании последствий интенсивного взаимодействия культур, близок области интересов имагологии, сочетающей приемы истории, литературоведения, лингвистики [Ощепков 2010], — и, добавим, культурологии, — в процессе осмысления *образов культуры*, которые складываются во взаимодействии с другими культурами.

Напомним: развитие имагологии в последней четверти XX в. опиралось на идеи французского исследователя Д.-А. Пажо, автора проекта “культурной иконографии” [Pageaux 1983]. Рассмотрение культуры как производства образов [Pageaux 1989], тесно связанных с тем, как живут и как мыслят производящие эти образы люди, дополняет ее понимание как символической деятельности и производства смыслов. “Образ” предстает здесь как *особенное единство общего и единичного*, оригинальным путем решая задачу “сравнения несравнимого” — центрального парадокса культурной антропологии. В самом деле, “образ” можно изучать как бы “сам по себе”, вне попыток найти некий “антропологический инвариант” общечеловеческого, более или менее проявивший себя в той или иной конкретной культуре. Таким способом имагология преодолевает установки европо- и прочих “центризмов”, искавших *общее* как собственно человеческое, “антропологическое”; и оставлявших “различиям” в лучшем случае место отклонений (именно так подходила к задаче “компаративного анализа” культурная антропология середины XX в.; такой подход в сочетании с попыткой разработать продуктивный количественный метод “замеров” своеобразия и сходства привел ее к кризису и девальвации научного статуса).

Имагология вернула компаративным исследованиям статус научности, предложив “объективные” методы анализа и вместе с тем уклонившись от разрыва с идеями герменевтики в современном понимании этого метода. Стоит также подчеркнуть: имагология не занимается *имиджами*, персональными или территориальными. Речь идет именно о философском переосмыслении взаимосвязи *образа*, формирующего индивидуальные сознания, и его проявлений в политическом сознании и в дискурсивных практиках, отраженных злободневной литературой. Предполагается, что именно политическое сознание в период “третьей трансформации” демократии определяет действия гражданина; поэтому владеющие этим сознанием образы — не “мелкое место” исследовательской программы и не фантазии наивных интеллектуалов, а реальная сила, игнорировать которую было бы весьма недальновидно.

Отметим: идеи Д.-А. Пажо возникли не на пустом месте. Франция на протяжении столетий контактировала с *инотипическими* культурами. Путешественники и мореплаватели, заложившие основы изучения других культур, в XIX в. уступили место антропологам. Параллельно в культуре самой Франции шло осмысления накопленного опыта. Не случайно Манфред Беллер, один из соредкторов книги “Имагология. Культурное конструирование и литературная репрезентация национальных характеров” [Imagology... 2007], — исследования, ставшего классическим в современной культурологии и культурной компаративистике [Weninger 2009; Doorslaer 2019], выдвигает в программной статье “Восприятие, имидж, имагология” тезис, согласно

которому *образ* страны в наше время становится мощным аргументом *политических* дискуссий. Однако не менее важна, по мнению Беллера, область “*поэтического*”: разговор об имагологии он начинает с перечисления философов и литераторов, внесших вклад в представления об образе страны и народа; причем помимо Платона, Аристотеля и других древних мыслителей здесь упомянуты также Вольтер, Наполеон и мадам де Сталь [Beller 2007: 3-16]. Тем самым подтверждена роль в создании имагологии не только французской философии и литературы, но также политики как “концентрированного выражения” — и экономики, и культурных смыслов¹¹. Согласно этой точке зрения, современная имагология (помимо разработки вопроса о специфике национального литературного творчества и его восприятия при переводе на другие языки [Gambier 2016]) занимается “критической компаративистикой”¹² — осмыслением “образа другого” и поиском идентичности сквозь призму такого осмысления.

ФРАНЦИЯ – “ОКНО” И “ФУНДАМЕНТ” “ЕВРОПЕЙСКОГО ДОМА”: УВЕРТЮРА ИМАГОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ “ВРАГОВ ОБЩЕСТВА”

Подходы философии и имагологии позволяют рассмотреть трансформацию французской национальной идентичности в контексте вопроса о “европейском доме”, стать тем “окном”, которое поможет заглянуть в противоречия европейских реалий. Проекция этих подходов на резонансную публицистику 1990–2010-х годов представлена сочинением М. Уэльбека и Б.-А. Леви “Враги общества” [Уэльбек, Леви 2011], рассматривающим кризис культуры сквозь призму личных переживаний.

16 Кто же они, враги общества? Столь нелестная характеристика собственно-го имиджа призвана показать, что оба писателя соответствуют типу “горького рационалиста”, т.е. критичны и не поддаются ни на крупные, ни на мелкие соблазны. Как следствие можно предположить, что “новая” франко-европейская идентичность все же не отменила “старую французскую”: рационализм, свойственный последней, закрепился в добротной цитадели радикального сомнения. Уместно напомнить: Уэльбек — писатель не просто известный; он прославился своими резкими и даже скандальными суждениями, открыто нарушающими правила политкорректности (в том числе, откровенной критикой идеи “новой Европы”). Неслучайно медиа Франции не первый год эксплуатируют его высказывания как форму политического прогнозирования, называя Уэльбека пророком конца культуры и конца Европы. Оппонент М. Уэльбека, Бернар-Анри Леви, — один из авторов манифеста “Европа в огне” (“Сражайтесь за Европу, или враги уничтожат ее!”), политический журналист и переговорщик¹³, яростный критик марксизма, борец с исламским фундаментализмом и т.д. Созданный в соавторстве текст — своего рода литературный поединок, выполненный в лучших традициях риторического

¹¹ Нельзя забывать также об активно обсуждаемой сегодня проблеме “образа страны” в связи с темой влияния массмедиа на политику. См. [Clément 2010].

¹² Именно так, *Comparative Critical Studies*, называется журнал, издаваемый при Эдинбургском университете, на страницах которого публикуются статьи по имагологии. См. *Comparative Critical Studies*. — *Edinburgh University Press*. URL: <https://www.eupublishing.com/toc/ccs/6/2> (accessed 27.11.2020).

¹³ Сын крупного промышленника, вхожий в деловые круги, Леви не раз участвовал в переговорах в горячих точках с участием видных лиц, представляющих общественность.

мастерства. Обсуждая философские, биографические и политические реалии своего “дома” — современной Франции, писатели демонстрируют противостояние позиций интеллектуалов двух типов — “ангажированного” (*engagé*) (так именует себя Леви [Уэльбек, Леви 2011: 98, 216]) и “неангажированного” (*non-engagé*) (эту позицию занимает Уэльбек [там же: 59]). В конечном счете противостояние этих позиций определяет водораздел между теми, кто так или иначе включился в политическую игру, и теми, кто стоит на позиции “незамутненности взгляда”. Неангажированность особенно трудна. Но — риторический вопрос — разве от профессионального политолога не требуется то же самое? С этой точки зрения “европейский дом” получил в лице своих “врагов” добросовестных критиков, которые, в отличие от безымянного сантехника-хорвата из романа “Карта и территория”, готовы не временно *подлатать* пришедшее в негодность жилище, но задумаются о его капитальном ремонте [Уэльбек 2011: 15-17].

Предпринятый во “Врагах общества” анализ преломления идей и идеологий в поведенческих моделях раскрывает двойственность “культурной позиции” французов по отношению к реализации проекта “единого европейского дома”. Именно Франция, стоявшая, как уже отмечалось, у истоков создания ЕС, оказалась родиной одной из самых воинственных идеологий евроскептицизма и “нового национализма” [Preda, Pasquucci 2010; Боровков 2019; Узнародов 2015]. Поэтому, обращаясь к описанию “культурной рамки” происходящих изменений с позиций философских и политологических, уместно подчеркнуть, что комплекс идей, определявших участие и роль Франции в сплочении Европы, менялся на протяжении всего XX в. от неприятия “наднациональности” к “провозглашению необходимости внутренней сплоченности и солидарности европейцев” [Сидоров 2018: 119]. В контексте интеграционного развития менялось и самовосприятие французов [Борко 2016], и образ страны в глазах ее партнеров.

Однако именно “базовые европейские ценности” стали камнем преткновения на пути процесса “превращения романтики *liberté, égalité, fraternité* в норму поведения индивидуума”¹⁴. Попытка создания Европы, единой не только экономически и политически, но и культурно, выявила тот факт, что культурное разнообразие не сводится к этнографическому. При этом очередной наплыв иммигрантов вызвал к жизни резкое противостояние правых и левых сил [Кудрявцев 2019], породившее тезис о том, что “европейский дом” сегодня охвачен огнем правого экстремизма и его необходимо спасать, силами интеллектуальной элиты пробуждая совесть европейского общества. Как и Леви, Уэльбек пытается докопаться до глубинных причин — но не “огня”, а апатии, охватившей, с его точки зрения, Европу. Концепт “дома” дает ему в этом поиске большое подспорье.

“ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ” В ТВОРЧЕСТВЕ УЭЛЬБЕКА — КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ КАК ПОПЫТКА ДЕКОНСТРУКЦИИ

Анализу политической философии и антропологии М. Уэльбека посвящена обширная литература [Ahearne 2017; Ågerup 2019; Brass 2016; Sreenan 2019 и др.]. Эта тема активно обсуждается в прессе (в том числе такими солидными

¹⁴ Котова Е.В. Испытание на прочность. — *Литературная газета*. 20.07.2011. URL: https://lgz.ru/article/N29--6331---2011-07-20-/Ispytanie-na-prochnosty16747/?sphrase_id=2588068 (accessed 26.11.2020).

изданиями, как *Le Figaro* и *Libération*). Темы терроризма, миграции, исламского фактора в политике перемежаются с размышлениями о глубинных причинах роста исламофобии, краха социальных институтов и компрометации амбициозных политических проектов. Но среди этих исследований пока не нашлось места развернутому анализу метафоры “дома”, столь важной для самого писателя.

Образ “дома”, созданный М. Уэльбеком, привлекает внимание прежде всего в связи с переосмыслением шпенглеровской метафоры “заката Европы” и “гибели фаустовской души”. На первый взгляд, обозначенный писателем разрыв между культурой и цивилизацией и в самом деле представлен как “протоколы утрат”: бесконечно переезжая с места на место, его герой ищет *свое* место, свой *дом*. Ищет — и не находит. Внимание автора сосредоточено на поиске предикатов, отражающих многоуровневую семантику *maison* сквозь призму самосознания его литературного героя. При этом важно иметь в виду, что бесприютный мечущийся по миру герой — это именно герой, а не сам Уэльбек. Как минимум потому, что творчество писателя — не просто фиксация переживаний, оно опирается на богатейшую литературную и философскую традицию [Michel Houellebecq sous la loupe 2007: 3-17, 93-108].

Однако именно фиксация делает происходящее доступным для беспристрастного анализа. Не случайно в среде специалистов возник спор о жанровой специфике романов Уэльбека: что это — “меланхолический реализм” [Harris 2017: 10] “гиперреализм”, “утопия” [Jeffery 2011: 59-75] или “постмодернистская антиутопия” [Стрельникова 2019: 76]. Последняя из приведенных оценок показывает, что, ведя речь о “гибели французского ландшафта и музеефикации страны” [Harris 2017: 10], Уэльбек вторгается в дискуссию, имеющую очевидные политологические импликации. Не только многоплановая критика “общества чрезмерного потребления”¹⁵ и переоценка фигуры автора в качестве мультимедийно и культурно значимой фигуры [Harris 2020: 32], но и размышления о *доме* как обществе, стране, территории, культурном ландшафте и культуре в целом вписаны в его романы в рамку политических оценок и прогнозов.

Отталкиваясь от оценок Уэльбека как “депрессивного реалиста” [Jeffery 2011: 1-4], в пользу точки зрения Орельена Белланже о нем как писателе-романтике, согласимся: чтобы классифицировать писателя как циника, одних ссылок на цинизм и отчаяние недостаточно. Уэльбек-романтик через боль литературного искупления возвращает надежду на исцеление и веру в человека как активного субъекта, способного менять приводящую в отчаяние действительность [Bellanger 2010: 5-17]. Столкновение этих двух позиций — “нуарной оптики” и неожиданно просветленного авторского взгляда — отчетливо прослеживается в размышлении о *доме* как “европейском доме”.

Политизация образного ряда Уэльбека, растиражированная медиа, прежде всего телевидением, охотно поддерживается им самим. О нем пишут газеты, с его участием снимаются фильмы. Одним из ярких и злободневных образов в духе Менниповой сатиры [Michel Houellebecq sous la loupe 2007: 19-21] воспроизводит метафору общего дома как птицефабрики, *élevage industriel de*

¹⁵ Dumas I. Gouffre humain: représentation de la sexualité chez Houellebecq: дис. — Université du Québec à Rimouski. 2013. 195 p. URL: http://semaphore.uqar.ca/id/eprint/948/1/Isabelle_Dumas_janvier2013.pdf (accessed 20.10.2020).

poules — буквально “промышленного выращивания куриц”, или даже просто *élevage de poules*, “выращивание куриц” [Уэльбек 2020: 150-152]. “Figaro” прокомментировала этот образ так: “Уэльбек предсказал протесты ‘желтых жилетов’”¹⁶. В той же статье приведены слова Уэльбека в момент вручения ему в октябре 2017 г. премии имени Освальда Шпенглера: “Франция была убита, и виной тому — Евросоюз”¹⁷. Другой не менее яркий образ, проходящий сквозь творчество Уэльбека, — многоэтажки. Главный герой “Серотонина” поначалу проживал именно в таком здании (имеющем жутковатое имя собственное — “башня Тотем”, *tour Totem*), которое он характеризует не иначе как *morille de béton* (букв. “бетонный сморчок”).

Многоэтажкам, которые охарактеризованы также прилагательным “отталкивающий” (*répugnant*), противостоит “дом” как загородное жилище, затерянное в лесах и лугах французской провинции. Милым и уютным, окруженным зеленью, видится маленький домик в провинции герою романа “Покорность”: “Вы живете в очень красивом доме” (“*Vous vivez dans une tres belle maison*”) [Уэльбек 2015]. Благополучие и человечность далеки от Парижа, хотя и в провинции мирные пейзажи — только внешняя вывеска, ведь и сюда постепенно проникают разрушительные ветры социально-политической системы, созданной новыми технологиями [Lyotard 1984: 10, 40-41], — подобно инженеру, который приехал из Парижа компьютеризировать сельскохозяйственное производство.

Пустующий и полуразвалившийся, “дом на земле” описывается тем не менее как доброжелательное для человека пространство; его жители своими культурными корнями связаны с *этой землей*. Для друга главного персонажа “Серотонина” Эмерика (*Aymeric*) дом — это и его хозяйство, и его арендаторы. Эмерик не может смириться с уходом жены, которая не разделяла его любви к деревне, и умирает, надорвавшись от невозможности защитить интересы своей фермы и, в более широком смысле, французских земледельцев. В его трагедии соединяются две драмы: душераздирающая личная и общеевропейская, кризис традиционного уклада и упадок европейской цивилизации: “*Il était mort les armes à la main pour protéger la paysannerie française, ce qui avait été de tout temps la mission de la noblesse*”. Модель хозяйствования с цифровой оптимизацией рушится готовностью человека инвестировать в производство свое время [Уэльбек 2020: 200].

Столь серьезные изменения уклада жизни не могут не сказаться на ее организации — не удивительно, что более ранний роман Уэльбека “Покорность” рисует фантастическую картину победы политического ислама на общенациональных выборах, что сулило Франции превращение в альтернативную социокультурную реальность. Антиутопия Уэльбека основана на популистском лозунге, допускающем возможность мощного политического продвижения группы населения “с более высоким уровнем рождаемости, которой удастся обеспечить преемственность своих ценностей (*parvient à transmettre ses valeurs*)”. На взгляд героя “Покорности”, “экономика и даже геополитика — это дешевые понты: кто получит контроль над детьми, получит контроль над буду-

¹⁶ Александр Девеччио (Alexandre Devecchio). *Le Figaro* (Франция): Уэльбек предсказал протесты “желтых жилетов” в своем новом романе “Серотонин”. 29.12.2018. URL: <https://inosmi.ru/culture/20181229/244332349.html> (accessed 26.11.2020).

¹⁷ Там же.

щим (*celui qui contrôle les enfants contrôle le futur*)...” [Уэльбек 2015: 96]. “Главный ориентир” политических инноваций — “Римская империя”; а “строительство единой Европы (*construction européenne*)... всего лишь средство реализации этой грандиозной задачи” [там же].

Анализ слабых сторон демократической политической системы, открывающей реальные возможности полного ее собственного культурного и политического перерождения, ставит под сомнение те оптимистические прогнозы, которые принято связывать с развитием демократических институтов и “экспортом демократий”. Обыгранные с разных сторон, позиции евробюрократии и европопулистов предстают благодаря этому сочинению в новом свете как две половинки целого, представляющего верхушку айсберга политической борьбы, но *не выражающего* точку зрения “рядового европейца”. Реальные интересы последнего, как, например, интересы курящего героя “Серотонина”, никому из политиков не любопытны. Апатия, охватывающая при столкновении с этим фактом, символизирует конец мифа о “новой Европе” и “общем европейском доме” — не только “большом”, но и “малом”. В финале романа “Серотонин” дом описан как пространство, которое главный персонаж делит с близким ему человеком: Уэльбек превращается в новую культурную мифологию, противостоящую политическому мифу о “едином европейском доме” как апофеозе порядка и благополучия.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Деконструкция политического мифа “единой Европы”, рассматриваемого “общий европейский дом” вначале как “большую Европу” Ш. де Голля, а затем как Европейский союз, происходит в политическом дискурсе Франции при участии не только профессиональных политологов, но также медиа; а через их посредство — творческой интеллигенции. Яркой фигурой, привлекающей внимание французских медиа в этом ключе, является М. Уэльбек — писатель, чье сознательно скандальное творчество находится на стыке художественной литературы и политической журналистики. Предпринятая в творчестве Уэльбека деконструкция понятия “европейский дом” в обоих вышеназванных смыслах фиксирует трансгрессию этого понятия в культуре. Параллельно Уэльбек концептуализирует *новое* понятие: “европейский дом” он трактует как исходно противоречивое переживание, которое отражает противоречия действительности в сознании литературного героя. Абстракции, без которых, согласно Люси Мюриэль, немыслимы романы М. Уэльбека, представляют собой “вторую производную”, фиксирующую динамику изменений ценностей и смыслов, в свою очередь выражающих социальные потребности и запросы личности. Эти ценности входят в структуру становящейся *европейской идентичности*. Последняя также противоречива и диффузна. С одной стороны, это генерируемая политическими институтами идентичность неоимперского толка. С другой — “достраиваемая” индивидом система ценностных ориентаций, принадлежащая сфере культуры и реализуемая в инициативах гражданского общества как способах социальной самоорганизации.

Литературно-философское осмысление (концептуализация) понятия “европейский дом” в качестве альтернативы “большой Европе” и “Евросоюзу” в творчестве французских писателей (и прежде всего Уэльбека) продолжает ли-

нию современной имагологии, стремящейся описать соответствующие образы как целостное культурное событие, учитывающее разность потенциалов культуры и политики. Мощная линия критики ценностных оснований культуры в контексте противопоставления политики с ее отлаженными механизмами самовоспроизводства — и культуры как тонкого слоя негарантированных поисков себя — приводят Уэльбека к выводу о необходимости “прямого гражданского действия”, которое реализуется в участии автора литературных произведений в деятельности медиа, рассмотренных в качестве посредников между культурой и политикой, политическими институтами и общественными организациями.

Литературное творчество уэльбековского постэкзистенциализма представляет собой эффективную лабораторию, где “вирус абсурда” получает беспредельные возможности самовоспроизводства и показывает мир, “вывернутый на изнанку”. Вместе с тем деконструкция образа “дома” в сознании литературного героя выявляет его остаточную привязанность к растворенным временем “безместным” ценностям “старой Европы”, обнажая их позитивный потенциал, не вполне исчерпавший себя по сей день. И это — не общий рынок и безвизовый въезд, а допущение возможности взаимного принятия культурно несоизмеримых контрагентов, несмотря на очевидный риск вначале политического, а потом культурного поглощения.

В конечном итоге оказывается, что “европейский дом” — не только концепт, но и активно реконструирующая себя реальность. Конструкция, основанная на культурных символах и продуцирующая их; выводимая из культуры, — но культура (эту мысль действительно проводит Уэльбек) не сводима к ней.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.02

21

CONCEPTUALIZING THE COMMON EUROPEAN HOME: A FRENCH VISION

Yu.P. Simonov¹, A.A. Korolev¹

¹ Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Moscow, Russia

SIMONOV, Yury Pavlovich, Cand. Sci. (Hist.), Head of the Department of the World Literature and Culture, MGIMO University, email: kafedra.mlik@yandex.ru; KOROLEV, Andrey Alexandrovich, post-graduate student, MGIMO University, email: king2204@yandex.ru

Simonov Yu.P., Korolev A.A. Conceptualizing the Common European Home: a French Vision. — Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 9-24. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.02>

Received: 20.09.2020. Accepted: 24.11.2020

Abstract. The “Common European Home” (*maison commune européenne*) is a political project and civil society strategy which prioritises the cultural similarities of the peoples of Europe in relation to integration amongst nation-states. The purpose of this study is to trace the specifics regarding the conceptualization of this principle in its form of political mythology (political metaphor) as fed by media and artistic discourses. The study conducts an innovative analysis of the political metaphor “European Home” based on material by the famous French writer Michel Houellebecq. The deconstruction of Houellebecq’s metaphor helps to trace the transgression of the political myth of the “European Home” as 1) “Greater Europe from Gibraltar to the Urals” and 2) “a union identical to the EU”. The image created by Houellebecq himself reflects new perspectives on “new values” as based on Europeans’ experiences thereof, identifying the problem of rejecting the “new” (pan-European) identity and refusing to reduce culture to its political façades. The close relationship between the artistic optics of Houellebecq’s novels and the techniques of modern imagology is revealed; the deep significance of literary images in the creation of the image of the country regarding its political consciousness is explained and traced. The results of the study provide a new perspective on the discussions that are underway in France in

connection with the “political dimension” of Houellebecq’s work, and also clarify the importance of literature as an empirical and theoretical source of political theory.

Keywords: European home, new values, politics and culture, paradoxes of European unity, anthropological prism, imagological studies of political processes, creativity of M. Houellebecq.

References

- Ågerup K. 2019. The Political Reception of Michel Houellebecq’s Submission. — *European Review*. Vol. 27. No. 4. P. 615-635. <https://doi.org/10.1017/s106279871900019x>
- Ahearne J. 2017. Cultural Policy Through the Prism of Fiction (Michel Houellebecq). — *International Journal of Cultural Policy*. Vol. 23. No. 1. P. 1-16. <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1035266>
- Alesina A., Giavazzi F. 2006. *The Future of Europe: Reform or Decline*. Cambridge: The MIT Press. 186 p.
- Bellanger A. 2010. *Houellebecq, écrivain romantique*. Paris: Léo Scheer. 299 p.
- Beller M. 2007. Perception, Image, Imagology. — *Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey*. Ed. by M. Beller, J. Leerssen. Amsterdam; New York: Rodopi. 472 p. <https://doi.org/10.1163/9789004358133>
- Brass T. 2016. Houellebecq, Anthropologist? — *Critique of Anthropology*. Vol. 36. No. 1. P. 93-98. <https://doi.org/10.1177/0308275X16635911>
- Clément J. 2010. Une influence plutôt indirecte sur la politique. — *Revue internationale et stratégique*. Vol. 78. No. 2. P. 75-79. <https://doi.org/10.3917/ris.078.0075>
- Dahl R.A. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press. 397 p.
- Doorslaer L., van. 2019. Embedding Imagology in Translation Studies (Among Others). — *Slovo.ru: baltijskij accen*. Vol. 10. No. 3. P. 56-68. <https://doi.org/10.5922/2225-5346-2019-3-4>
- Dubois P. 1956. *The Recovery of the Holy Land*. New York: Columbia University Press. 251 p.
- European Identity and the Second World War*. 2011. Ed. by M. Spiering, M. Wintle. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 273 p.
- Farkas B. 2016. *Models of Capitalism in the European Union: Post-crisis Perspectives*. Palgrave Macmillan. 541 p.
- Fligstein N. 2008. *Euroclash: The EU, European Identity, and the Future of Europe*. Oxford: Oxford University Press. 279 p. <https://doi.org/10.7202/039970ar>
- Gambier Y. 2016. Rapid and Radical Changes in Translation and Translation Studies. — *International Journal of Communication*. Vol. 10. P. 887-906.
- Gouldner A. 1982. *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class*. New York: Oxford University Press. 128 p.
- Gustavsson S., Karlsson C., Persson T. 2009. Examining the Illusion of Accountability. — *The Illusion of Accountability in the European Union*. Ed. by S. Gustavsson, C. Karlsson, T. Persson. London; New York: Routledge. 192 p. <https://doi.org/10.4324/9780203874714>
- Harris A. 2017. Michel Houellebecq’s Transmedial Oeuvre: Extension of the Realm of Creative Intervention. — *Itinéraires. Littérature, textes, cultures*. No. 2. <https://doi.org/10.4000/itineraires.3441>
- Harris A. 2020. On the Return of the (Media) Author: Michel Houellebecq, Écrivain Médiatique. — *French Cultural Studies*. Vol. 31. No. 1. P. 32-45. <https://doi.org/10.1177/0957155819893582>
- Ideas of Europe since 1914: The Legacy of the First World War*. 2002. Ed. by M. Spiering, M. Wintle. Palgrave Macmillan. 224 p.
- Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey*. 2007. Ed. by M. Beller, J. Leerssen. Amsterdam; New York: Rodopi. 472 p. <https://doi.org/10.1163/9789004358133>
- Jeffery B. 2011. *Anti-Matter: Michel Houellebecq and Depressive Realism*. Winchester (UK); Washington (USA): John Hunt Publishing. 95 p.
- Kotzian P., Steffek J. 2013. Do Members Make a Difference? A Study of Transnational Civil Society Organizations. — *European Political Science Review: EPSR*. Vol. 5. No.1. C. 55-81.
- Kühnhardt L. 2008. *The Fall of the Berlin Wall and European Integration. European Union — The Second Founding: The Changing Rationale of European Integration* P. 47-60. URL: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=c5a8d200-db92-7a59-ba57-580ba995a95a&groupId=252038 (accessed 20.08.2020).
- Lyotard J.-F. 1984. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minneapolis: University of Minnesota Press. 111 p.
- Michel Houellebecq sous la loupe*. 2007. Études réunies par Murielle Lucie Clément et Sabine van Wesemael. Amsterdam; New York: Rodopi. 405 p. <https://doi.org/10.4000/studifrancesi.8375>

Mischi J., Weisbein J. 2004. L'Europe comme cause politique proche. Contestation et promotion de l'intégration communautaire dans l'espace local. — *Politique européenne*. No. 12. P. 84-104. <https://doi.org/10.3917/poeu.012.0084>

Pageaux D.-H. 1983. L'imagerie culturelle: de la littérature comparée à l'anthropologie culturelle. — *Synthesis*. No. 10. P. 79-88.

Pageaux D.-H. 1989. De l'imagerie culturelle à l'imaginaire. — *Précis de littérature comparée*. Brunel P. éd. Paris: Presses Universitaires de France. P. 133-161.

Palayret J.-M. 1994. Le Mouvement européen 1954-1969. Histoire d'un Groupe de Pression. — *Europe brisée, Europe retrouvée. Nouvelles réflexions sur l'unité européenne au XX siècle*. R. Girault, G. Bossuat (dir.) Paris: Publications de la Sorbonne. P. 365-383.

Pasquier R., Weisbein J. 2004. L'Europe au microscope du local. Manifeste pour une sociologie politique de l'intégration communautaire. — *Politique européenne*. No. 12. P. 5-21. <https://doi.org/10.3917/poeu.012.0005>

Preda D., Pasquinucci D. 2010. *The Road Europe Travelled Along: The Evolution of the EEC/EU Institutions and Policies*. Bruxelles; Bern; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien: Peter Lang. 500 p. <https://doi.org/10.3726/978-3-0352-6008-3>

Sreenan N. 2019. Universal, Acid: Houellebecq's Clones and the Evolution of Humanity. — *Modern & Contemporary France*. No. 27. P. 77-93. <https://doi.org/10.1080/09639489.2018.1557130>

The Eurozone Crisis and the Future of Europe: The Political Economy of Further Integration and Governance. 2014. Ed. by D. Dăianu, G. Basev, C. D'Adda, R. Kumar. Basingstoke: Palgrave Macmillan/ 328 p. <https://doi.org/10.1057/9781137356758>

The Future of Europe: Integration and Enlargement. 2004. Ed. by F. Cameron. London; New York: Routledge. 170 p.

The Idea of a United Europe: Political, Economic and Cultural Integration since the Fall of the Berlin Wall. 2000. Ed. by J. Shahin, M. Wintle. London; New York: Palgrave Macmillan. 172 p.

Weisbein J. 2011. 'La Fédération française des maisons de l'Europe (1960-2000). La trajectoire d'un militantisme européen de terrain. — *Politique européenne*. Vol. 34. No. 2. P. 37-62. <https://doi.org/10.3917/poeu.034.0037>

Weninger R. 2009. Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. — *Comparative Critical Studies*. Ed. by M. Beller, J. Leerssen. (A Critical Survey). Series: Studia Imagologica. Vol. 6. No. 2. P. 281-285. <https://doi.org/10.3366/E1744185409000779>

Badiou A. Petit manuel d'inesthétique (Russ. ed.: Badiou A. 2014. *Maloe rukovodstvo po inestetike*. Saint Petersburg: EUSP Press. 156 p.).

Borko Yu.A. 2016. France in European Integration: Evolution of Concepts and Policies (1950-2015). — *Frantsiya na poroge peremen: ekonomika i politika v nachale XX veka* [France on the Verge of Change: Economics and Politics at the Beginning of the 21st Century]. Ed. by A.V. Kuznetsov et al. Moscow: IMEMO RAS. P. 221-233. (In Russ.)

Borovkov I.I., Petrovskaya O.V., Vilovatykh A.V., Dovgilenko G.A., Podchasov N.A., Kalinkin V.A., Uzunova N.Yu. 2019. Transformation of European Political Landscape and Parties Under the New World Order. — *National Strategy Issues*. No. 4. P. 13-57. (In Russ.) URL: <https://riss.ru/journal/55/> (accessed 25.08.2020)

Dianina S.Yu., Khalil M.A.M., Glagolev V.S. 2019. Cultural Islam In Northern Europe. — *Baltic Region*. Vol. 11. No. 3. P. 142-160. (In Russ.) <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2019-3-8>

Fedotova V.G., Fedotova N.N., Chugrov S.V. 2018. Culture, Institutions, Politics. — *Polis. Political Studies*. No. 1. P. 143-156. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.10>

Filosofiya kul'tury v sisteme izucheniya mezhdunarodnykh otnoshenii. Kniga 1. Paradoksy issledovatel'skoi prizmy [Philosophy of Culture in the System of Studying International Relations. Book 1. Paradoxes of the Research Prism]. 2020. Moscow: MGIMO. 544 p. (In Russ.)

Houellebecq M., Lévy B.-H. *Ennemis publics* (Russ. ed.: Houellebecq M., Lévy B.-H. 2011. *Vragi obshchestva*. Saint Petersburg: Azbuka, Azbuka-Atticus. 316 p.).

Houellebecq M. *La carte et le territoire* (Russ. ed.: Houellebecq M. 2011. *Karta i territoriya*. Moscow: Astrel; CORPUS. 480 p.).

Houellebecq M. *Sérotonine* (Russ. ed.: Houellebecq M. 2020. *Serotonin*. Moscow: Astrel; CORPUS. 320 p.).

Houellebecq M. 2015. *Submission* (Russ. ed.: Houellebecq M. *Pokornost*. Moscow: AST, CORPUS. 352 p.).

Kant I. *Zum Ewigen Frieden* (Russ. ed.: Kant I. K vechnomu miru. Filosofskii proekt. — Kant I. *Sobr. soch.* Vol. 7. Moscow: Choro. P. 5-56).

Korolev A.A. 2020. "European Home" Concept seen in French Art and Culture (on the Example of M. Houellebecq's Work). — *Concept: Philosophy, Religion, Culture*. No. 1. P. 139-149. (In Russ.) <https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-1-13-139-149>

- Kovler V.I. 2016. *Evropejskaja integratsija: federalistskij proekt* [European Integration: Federalist Project]. Moscow: Statut. 216 p. (In Russ.)
- Kudryavtsev A.K. 2019. France Impressing the World. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 165-176. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.13>
- Oshchepkov A.R. 2010. Imagology. — *Knowledge. Understanding. Skill*. No. 1. P. 251-253. (In Russ.)
- Podoroga V.A. 2009. What Is Being Asked When One Asks About What Is Philosophy. — *Philosophy Journal*. Vol. 1. No. 2. P. 5-17. (In Russ.)
- Sidorov A.S. 2018. European Construction and France: Personal Factor (From De Gaulle to Mitterrand). — *Contemporary Europe*. No. 3. P. 115-124. (In Russ.) <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope32018115124>
- Silant'eva M.V., Glagolev V.S., Tarasov B.N. 2017. Philosophy of Cross-Cultural Communication. — *International Trends*. Vol. 15. No. 2. P. 64-76. (In Russ.) <https://doi.org/10.17994/IT.2017.15.2.49.4>
- Strelnikova L.Yu. 2019. Postmodernistic Antiutopia "Soumission" by M. Houellebecq: The Last Spiritual Crisis of Europe's World. — *Proceedings of Voronezh State University. Series: Philology. Journalism*. No. 1. P. 71-77.
- Uznarodov I.M. 2015. New Nationalism in Contemporary Europe. — *Contemporary Europe*. No. 5. P. 75-90. (In Russ.)

Литература на русском языке

- Бадью А. 2014. *Малое руководство по инэстетике*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. 156 с.
- Борко Ю.А. 2016. Франция в европейской интеграции: эволюция концепций и политики (1950-2015). — *Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века*. Отв. ред. А.В. Кузнецов и др. М.: ИМЭМО РАН. С. 221-233.
- Боровков И.И., Петровская О.В., Вилловых А.В., Довгиленко Г.А., Подчасов Н.А., Калинин В.А., Узунова Н.Ю. 2019. Трансформация партийно-политического ландшафта в Европе в условиях нового миропорядка. — *Проблемы национальной стратегии*. № 4. С. 13-57. URL: <https://riss.ru/journal/55/> (accessed 25.11.2020).
- Дианина С.Ю., Халиль М.А., Глаголев В.С. 2019. "Культурный ислам" в пространстве Северной Европы. — *Балтийский регион*. Т. 11. № 3. С. 142-160. <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2019-3-8>
- Кант И. 1994. К вечному миру. Философский проект. — Кант И. *Собр. соч.: в 8 т.* Т. 7. М.: Чоро. С. 5-56.
- Ковлер В.И. 2016. *Европейская интеграция: федералистский проект*. М.: Статут. 216 с.
- Королев А.А. 2020. Концепт "Европейский дом" в культуре и искусстве Франции (на примере творчества М. Уэльбека). — *Концепт: философия, религия, культура*. № 1. С. 139-149. <https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-1-13-139-149>
- Кудрявцев А.К. 2019. Франция, удивляющая мир. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 165-176. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.13>
- Ощепков А.Р. 2010. Имагология. — *Знание. Понимание. Умение*. № 1. С. 251-253.
- Подорога В.А. 2009. О чем спрашивают, когда спрашивают "Что такое философия?" — *Философский журнал*. Т. 1. № 2. С. 5-17.
- Сидоров А.С. 2018. Европейское строительство и Франция: фактор личности (от де Голля до Миттерана). — *Современная Европа*. № 3. С. 115-124. <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope32018115124>
- Силантьева М.В., Глаголев В.С., Тарасов Б.Н. 2017. Философия межкультурной коммуникации. — *Международные процессы*. Т. 15. № 2. С. 64-76. <https://doi.org/10.17994/IT.2017.15.2.49.4>
- Стрельникова Л.Ю. 2019. Постмодернистская антиутопия М. Уэльбека "Покорность": последний духовный кризис европейского мира. — *Вестник Воронежского государственного университета*. № 1. С. 71-77.
- Узнародов И.М. 2015. Новый национализм в современной Европе. — *Современная Европа*. № 5. С. 75-90.
- Уэльбек М., Леви Б.-А. 2011. *Враги общества*. СПб: Азбука, Азбука-Аттикус. 316 с.
- Уэльбек М. 2011. *Карта и территория*. М.: Астрель; CORPUS. 480 с.
- Уэльбек М. 2015. *Покорность*. М.: АСТ, CORPUS. 352 с.
- Уэльбек М. 2020. *Серотинин*. М.: Астрель; CORPUS. 320 с.
- Федотова В.Г., Федотова Н.Н., Чугров С.В. 2018. Культура, институты, политика. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 143-156. <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.10>
- Философия культуры в системе изучения международных отношений. Книга 1. Парадоксы исследовательской призмы*. 2020. М.: МГИМО. 544 с.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.03

ЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ И ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ

О.И. Зазнаев

ЗАЗНАЕВ Олег Иванович, доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой политологии, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, email: Oleg.Zaznaev@kpfu.ru

Зазнаев О.И. Этнический конфликт и форма правления: современные дискуссии. — Полис. Политические исследования. 2021. № 1. С. 25–40. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.03>

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00102 “Роль формы правления в предотвращении и урегулировании этнических конфликтов: сравнительное исследование”.

Статья поступила в редакцию: 10.04.2019. Принята к публикации: 27.10.2020

Аннотация. Этнические конфликты представляют опасность для стабильности и целостности любого государства. Для их предупреждения и урегулирования предпринимаются институциональные изменения, в частности, касающиеся формы политико-территориального устройства, избирательной системы и формы правления. Цель статьи — дать критический обзор современных дискуссий о взаимосвязи между этническими конфликтами и формами правления. Автор концентрирует внимание на двух узловых проблемах: во-первых, это влияние этнического на форму правления; во-вторых, влияние формы правления на этнический конфликт. В статье утверждается, что выбор формы правления в условиях разделенного общества определяется концептуальным подходом. Сторонники консociативного подхода полагают, что парламентская система в силу ее коллегиального характера — желаемый дизайн власти в полиэтническом обществе. Сторонники центристского подхода ратуют за президентскую систему, указывая в качестве ее преимуществ стремление президента выступить в качестве института, обеспечивающего групповое согласие и примирение. Сторонники разделительного подхода также считают лучшей для полиэтнических обществ президентскую систему, поскольку она в большей степени отвечает критерию разделения властей и их взаимного сдерживания. Одна из актуальных, но слабо изученных исследовательских проблем заключается в выяснении того, какую роль в урегулировании этнических конфликтов играют президентская, парламентская и полупрезидентская системы. В статье доказывается, что влияние формы правления на проявления этнического фактора в политике неоднозначно. Автор приводит аргументы в пользу того, что президентская система снижает риск этнических конфликтов и благоприятствует этническому миру и согласию, но при этом сокращает возможности для представительства этнических групп. Напротив, парламентская система создает больше возможностей для политического представительства этнических групп, но при такой форме правления возрастают риски этнических конфликтов. Форма правления сама по себе не является их причиной, эти конфликты развиваются в конкретных исторических, социальных и культурных условиях. Но автор показывает преимущества и недостатки разных форм правления в деле политического регулирования этнических противоречий.

Ключевые слова: этнический конфликт, форма правления, президентская система, парламентская система, полупрезидентская система, этническое представительство.

ВВЕДЕНИЕ

Взаимосвязь между формой правления и другими переменными неоднократно изучалась в политической науке. Наибольшая дискуссия разгорелась

по вопросу о том, какая форма правления способствует становлению стабильной демократии и консолидации демократического режима¹. Меньше внимания было уделено спорам о взаимосвязях *формы правления* с экономическим развитием, стабильностью политической системы, с публичной политикой и эффективностью политического курса. Общим лейтмотивом этих исследований стал основной тезис, вытекающий из постулатов неoinституционализма: “формы правления важны”. Действительно, форма правления — это переменная, которая оказывает влияние на другие переменные институционального и неинституционального порядка. К числу последних можно отнести этничность.

Как связаны между собой этничность и форма правления? Какое влияние этнические конфликты оказывают на выбор и функционирование формы правления? Как та или иная форма правления воздействует на этнические конфликты? Какая из форм правления способствует предупреждению и урегулированию конфликтов на этнической почве? Какие формы правления ведут к обострению этнических конфликтов? Эти вопросы редко поднимаются политологами, но требуют ответа. Этот ответ не может быть простым, ибо “постижение этнического конфликта и способов его смягчения является амбициозной задачей” [Horowitz 1985: xiii].

На наш взгляд, следует выделить два аспекта проблемы взаимосвязи этнического конфликта и формы правления. Первый аспект касается влияния этнического на форму правления: каким образом происходит изменение организации власти под воздействием этничности? Чем определяется выбор формы правления в условиях полиэтнического общества, находящегося в конфликтном состоянии? Какие элементы формы правления модифицируются с учетом этнических интересов противоборствующих сторон? Второй аспект проблемы взаимосвязи этнического конфликта и формы правления касается влияния той или иной формы правления на этническую конфликтность.

ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО НА ФОРМУ ПРАВЛЕНИЯ

Понятие этничности является в науке объектом многочисленных дискуссий. Различаются не только подходы к пониманию этого феномена (примордиализм, конструктивизм, функционализм и инструментализм), но и содержательная интерпретация понятия этничности. Не вдаваясь в этот большой диспут, обозначим кратко наше видение. Представляется плодотворным понимание этничности через идентичность, осознание своей принадлежности к определенной этнической группе. “В современной науке, — пишет В.А. Тишков, — чаще используется понятие этничность как категория, обозначающая существование отличительных идентичностей и складывающихся на их основе этнических групп” [Тишков 2003: 59]. В основе идентификации этнической группы лежат следующие признаки: собственное наименование группы; миф об общем происхождении и общих предках; разделяемая членами группы историческая память (герои, исторические события, памятные даты); один или несколько элементов общей культуры (религия, обычаи, язык); связь с родиной или символическая принадлежность к земле происхождения группы; чувство солидарности группы [Hutchinson, Smith 1996: 6-7; Smith 1986: ch. 2].

¹ Критический обзор дискуссии о взаимосвязи формы правления и демократии см.: [Борисов 2018: 448-456; Зазнаев 2006: 256-289; 2014; Маркаров 2014; Харитонов 2014].

В науке существуют разные взгляды на то, в какой степени этничность создает и порождает конфликты. Сторонники школы инструментализма смотрят на этническую идентичность лишь как на орудие элит в соревновании за материальные блага. Поэтому с этой точки зрения такого явления как “этнический конфликт” просто-напросто не существует, и этничность не создает конфликты, а лишь представляет собой ярлык или рамки, в которых развивается состязание другого рода нежели этническое [Kaufman 2016: 91]. Напротив, сторонники психолого-культурного подхода [Ross 2007] утверждают, что этнический конфликт вполне реален и вырастает прямо из того, как люди определяют свою этническую идентичность. Действительно, этничность является “генератором конфликтов” [Kaufman 2016: 91-101]. Сам по себе этнический конфликт представляет собой разновидность группового конфликта, в котором хотя бы одна из его сторон привлекает этнические признаки для описания конфликта, его причин и способов его “излечения”. Этнический конфликт – конфликт, в котором этнические группы противостоят другим этническим группам или государству, на территории которого они проживают; при этом цели хотя бы одной из конфликтующих сторон формулируются в этнических понятиях, и основная линия разлома и конфронтации проходит по этническим различиям, а не каким-либо другим – экономическим или социальным.

В литературе отмечается, что термин “этнический конфликт” употребляется по ошибке, поскольку возможна ситуация, при которой лишь одна из сторон конфликта отличается этнической идентичностью своих членов [Cordell, Wolff 2016: 4], при этом другая сторона конфликта не обязательно этнически “окрашена”: это может быть государство или иные неэтнические группы, например, все население страны. Это так. Однако наличие в конфликте этнически значимых вопросов (даже только для одной стороны) делает конфликт, на наш взгляд, этническим.

Сама по себе этничность не оказывает прямого воздействия на институциональную организацию власти. Речь идет о создании форм правления, композиция которых строится с учетом этнического фактора. Выбор и конструирование формы правления во многом зависит от подходов, которыми руководствуются “архитекторы” институционального дизайна. С. Вольф выделяет три подхода к решению проблемы институционального дизайна в разделенном обществе: теория либеральной сообщественности (*liberal consociationalism*) [Wolff 2011: 166] или консоциативный подход [Кудряшова 2016: 20; Панов 2015: 291-292], теория центристственности (*centripetalism*) и теория раздела власти (*power-dividing*) [Wolff 2011: 166]. Если говорить обобщенно, эти подходы различаются между собой разными взглядами на роль этничности в функционировании политических институтов. По сути дела, водораздел между ними проходит по линии представления о том, нужно ли политизировать этничность или, напротив, стремиться к ее деполитизации, тем самым выступая против институционального закрепления фрагментации политического порядка [Панов 2015: 291-294].

Рассмотрим эти подходы подробнее.

1. Консоциативный подход получил свое обстоятельное обоснование в работах А. Лейпхарта – автора теории сообщественной (консоциативной) демократии [Лейпхарт 1997]. Лейпхарт выделяет четыре признака сообщественной демократии, которые подразделяет на два главных и два вспомогательных. К числу

главных признаков он относит большую коалицию и автономию сегментов (т.е. этнических, религиозных или лингвистических групп), к числу вспомогательных — пропорциональность и право вето [там же: 28]. По Лейпхарту, основная идея сообщественности — это *power-sharing*, что можно перевести с английского языка как совместное участие групп во власти, соучастие групп в отправлении власти, распределение (долей) власти между группами (“паевое” участие во власти), “дележ” власти между разными сегментами общества.

Консоциативный подход подвергается критике за то, что его использование ведет к устранению или значительному ослаблению конкурентности политики, тем самым приводя к снижению эффективности власти. В ответ на эту критику Лейпхарт говорит: “принцип полноценного политического участия гораздо важнее, чем принцип правления большинства и наличия сильной политической оппозиции” [там же]. Получается, что в условиях многосоставного общества ценность представляет, прежде всего, не конкуренция элит, а сотрудничество между ними. Таким образом, дискуссия между сторонниками и противниками сообщественной демократии проходит по линии того, на каких принципах должно строиться разделенное общество. Более серьезная критика сообщественной демократии связана с тем, что такая система ведет к усилению групповых различий, и поэтому причины этнополитических конфликтов не устраняются, а лишь на время приглушаются. Происходит политизация все большего и большего числа этнических групп, которые высказывают свои притязания на власть и на свою “долю” в ней, что не может быть бесконфликтным.

2. Критиком Лейпхарта является Д. Горовиц — сторонник центростремительного подхода к решению проблемы институциональной организации власти в разделенном обществе. Этот подход в литературе называют также интегративным [Wolff 2005: 59; Sisk 1996: ix], поскольку благодаря ему происходит преодоление различий между этническими группами. Горовиц утверждает, что вероятность насильственного конфликта значительно уменьшается, когда институты и практики создают стимулы для внутригруппового, а не межгруппового соперничества при формировании предвыборных коалиций. Он подчеркивает, что вместо того, чтобы создавать жесткие институты, в которых избранные представители должны работать вместе после выборов, “межгрупповое политическое соглашение” достигается посредством “избирательных систем, которые обеспечивают стимулы для партий формировать коалиции с участием разных групп или иным образом смягчать их этноцентристское политическое поведение” [Horowitz 2004: 507-508]. По Горовицу, основной упор в разделенном обществе нужно делать на ослабление этнической фрагментации и создание условий для предвыборных политических взаимодействий между этническими группами. Этому способствует не мажоритарная избирательная система, а такие избирательные системы, которые вынуждают партии и кандидатов опираться на выборах не на одну, а на несколько этнических групп. К числу таких избирательных систем относятся система альтернативного голосования, система единственного передаваемого голоса и другие преференциальные системы.

Защитники центростремительного подхода делают упор на интеграцию этнических групп в политику, а не на их соучастие в отправлении власти (как это имеет место у Лейпхарта и сторонников консоциативного подхода). В качестве идеала рассматривается создание предвыборных коалиций между этническими партиями или создание широких мультиэтнических партий на

базе региональных или общих экономических интересов, которые сглаживают этнические идентичности [Reilly 2001: 11; Sisk 1996: 5]. Если общественная демократия реализуется после выборов, то распределение власти в соответствии с центристским подходом — до выборов. Консоциативный подход направлен на “обязательные *постэлекторальные* правящие коалиции, включающие всех этнических антагонистов, которые попадают в парламент посредством пропорциональной электоральной системы” [Горовиц 2016: 211], а сторонники центристского подхода “делают ставку на добровольное создание умеренных межэтнических коалиций *до выборов*” [там же].

Центристский подход критикуется по ряду позиций. Во-первых, на практике мало примеров успешной работы такой системы. Во-вторых, сомнительным является тезис о том, что политики, разделенные по этническому признаку, будут стремиться к умеренности. В-третьих, совершенно неочевидно, что избиратели обязательно будут голосовать за партии, которые опираются на иные этнические группы, отличные от той группы, к которой принадлежит избиратель. И, наконец, критики подмечают, что преференциальные избирательные системы, которые предлагается внедрить, являются по существу мажоритарными [Sisk 1996: 44].

3. Еще одна альтернатива мажоритарной демократии, общественной демократии и центристской теории — это разделительный подход (теория раздела власти), который был обоснован в трудах Ф. Редера и Д. Ротшильда [Rothchild, Roeder 2005]. Для этого подхода, согласно авторам, центральными являются три принципа. Первый — наличие гражданских свобод, что предполагает принятие обстоятельных законов о правах человека. Второй принцип системы раздела власти — наличие множества форм большинства; при этом принятие решений в каждой из ветвей власти и в каждом из учреждений происходит по принципу большинства. Это создает вероятность того, что члены этнических меньшинств будут входить в политическое большинство по одним вопросам, при этом члены этнического большинства будут членами политических меньшинств по другим вопросам. Наконец, третий принцип — сдержки и противовесы, которые должны гарантировать то, чтобы “каждый из этих центров принятия решений, представляющий конкретное большинство, не превысил свою власть” [ibid.: 15–17].

Таким образом, в отличие от консоциативного подхода сторонники разделительного подхода не стремятся к соучастию этнических групп в деятельности властных структур. Разделительный подход есть новая версия мажоритарной демократии, при которой существует несколько центров принятия решений по большинству вопросов (и в этих центрах есть возможность “победы” разных этнических групп) и система взаимного сдерживания этих центров. По мнению сторонников разделительного подхода, создается институциональная система плюралистического (множество форм большинства) и конкурентного (сдержки и противовесы между любыми государственными органами и общественными организациями) типа. По сути, речь идет не только о реализации принципа разделения законодательной, исполнительной и судебной властей (что свойственно и президентской системе), но и о разделении в рамках исполнительной власти, а также в институтах гражданского общества.

В связи с этим возникает сомнение: можно ли реализовать такую систему. Дело в том, что сдержки и противовесы внутри государственных органов

возможны только в случае частичного совпадения компетенции, что бывает у органов исполнительной власти не часто. К тому же не ясно, как авторы разделительного подхода планируют принимать решения по принципу большинства в структурах исполнительной власти, отличающихся единоначалием. В итоге на практике проблематично найти примеры стран, в которых последовательно реализован этот подход.

Институциональная организация власти в условиях разделенного общества видится сторонниками трех описанных выше подходов по-разному. Ключевой вопрос, касающийся проектирования формы правления в условиях разделенного общества, сводится, прежде всего, к определению того, будет ли выбрана президентская, парламентская или полупрезидентская система [Wolff 2011: 165]. Сторонники консоциативного подхода предлагают создавать парламентскую систему или президентскую систему с коллективным или сменяющимся по очереди президентом. Адвокаты центростремительного и разделительного подхода ратуют за президентскую систему. Какова логика рассуждений сторонников каждого из трех подходов?

Автор теории консоциативной демократии Лейпхарт полагает, что парламентская система больше подходит для разделенного общества. По его мнению, президенциализм не совместим с принципом соучастия групп во власти, поскольку “имеет прямое негативное воздействие на пропорциональность”: “тот факт, что президентские выборы влекут за собой выборы одного человека, означает, что должны использоваться способы избрания президента абсолютным или относительным большинством голосов, и логично, что пропорциональная система исключена” [Lijphart 1990: 75-76]. Президентиализм неблагоприятен для принятия решений на коллективной и коллегиальной основе и, следовательно, для компромиссов [ibidem]. По Лейпхарту, президент представляет собой персону с единственной этнической идентичностью, что не способствует реализации принципов сообщественности в многосоставном обществе. При этом он подчеркивает, что “президентское правление и мажоритарную систему нельзя считать абсолютно несовместимыми с сообщественной демократией, но гораздо более предпочтительны для нее парламентское правление с коллегиальным органом во главе исполнительной власти и пропорциональная избирательная система” [Лейпхарт 1997: 29]. Лейпхарт допускает президентскую систему при условии создания в ней “большого” совета или комитета с широким объемом совещательных функций или большой коалиции с участием президента и высших должностных лиц [там же: 60].

Напротив, сторонники центростремительного подхода ратуют за президентскую систему. Горовиц выступает за наличие избираемого населением президента, который, по его мнению, выполняет две полезные и жизненно важные функции в разделенном обществе [Horowitz 1991: 205]. Во-первых, при таком президенте обеспечить участие групп во власти легче, чем при парламентской системе, где одна расовая или этническая группа “захватывает” государство путем получения большинства в парламенте. Во-вторых, президентские выборы создают еще одну важную арену для группового примирения и согласия, зависящую во многом от применяемой избирательной формулы [ibidem]. Так, отмечает Горовиц, в большинстве африканских стран демократия потерпела крах сразу вскоре после того, как одна политическая партия, представляющая лишь одну из этнических групп, получала контроль

над парламентом, обрекая другие партии оставаться в вечной оппозиции. После этого выборы заменялись насилием, которое применялось как оппозицией, так и против нее. Поскольку меньшинство не могло получить даже небольшую долю власти, оно ориентировалось на организацию военного переворота. История дает немало примеров исключения оппозиции из власти [ibidem]. В президентской системе группа, исключенная из власти в парламенте, имеет возможность доступа к президенту, причем здесь президентом может быть избран не обязательно представитель большинства в парламенте, он может принадлежать и к этническому меньшинству. Таким образом, по мнению Горовица, функция президента, который в разделенном обществе является заметной фигурой, стоящей над этническими группами, состоит в содействии включению групп во власть, поскольку без широкого согласия разных этнических групп президент не может быть избран [ibid.: 205-206].

Наконец, выбор президентской формы правления вполне логично вытекает из разделительного подхода, поскольку его сторонники делают акцент на принципе разделения власти между разными этническими группами и получением ими большинства в разных институтах власти. На мой взгляд, такая система годится не для каждого разделенного общества. Если одна этническая группа доминирует численно в стране, то эта группа также будет доминировать во всех институтах власти, и принцип множественного большинства не поможет, а, напротив, будет способствовать узурпации власти со стороны одной этнической группы.

Итак, выбор формы правления в условиях полиэтнического общества определяется концептуальным подходом к решению проблемы “этничность и институты” и совокупностью исходных положений, которыми руководствуются политические “архитекторы”. Разные взгляды на роль этнических групп во власти порождают и разные предпочтения относительно форм правления. Сторонники консоциативного подхода полагают, что парламентская система в силу ее коллегиального характера есть желаемый дизайн власти в полиэтническом обществе. Если они соглашались на президентскую систему, то только при наличии в ней необычных коллегиальных элементов, а именно коллегиального президентства. Сторонники центростремительного подхода предпочитают президентскую систему, указывая в качестве ее преимуществ эффективность института президента в обеспечении группового согласия и примирения. И, наконец, сторонники разделительного подхода считают предпочтительной для полиэтнических обществ президентскую систему, отвечающую как нельзя лучше критерию разделения и взаимного сдерживания властей. Поскольку каждый из трех описанных нами подходов неидеальный и обладает недостатками, то также неидеальным является выбор форм правления в соответствии с концептуальными рамками этих подходов.

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ НА ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ

Одна из дискутируемых в литературе проблем связана с ответом на вопрос о том, какая, президентская или парламентская, система лучше способствует смягчению и урегулированию этнических конфликтов. Некоторые авторы подчеркивают, что президентализм имеет достоинства в этнически разделенных обществах, и президентские системы превосходят парламентские по возможностям минимизации конфликтов [Saideman et al.: 110-111]. Напротив,

другие политологи настаивают на том, что риски создает именно президентская система, поскольку она базируется на принципе “победитель получает все” [Theuerkauf 2013a: 72]. Наконец, ряд авторов полагают, что парламентская форма правления наиболее годится для этнически разделенных обществ [Lijphart 1991: 72-84; Linz 1990: 51-60].

В ходе анализа и обобщения доводы разных авторов [Зазнаев, Сидоров 2020] был сделан вывод о большей убедительности позиции тех, кто утверждает, что этнические конфликты менее вероятны в президентских системах. Это связано с тем, что в условиях разделенного общества президентской системе присущи три группы преимуществ.

Во-первых, сильный президент может принимать непопулярные решения, направленные на смягчение этнических конфликтов, преодоление конфронтации между представителями разных этнических групп [там же: 292]. Так, в 1978 г. с этой целью Шри-Ланка перешла к президентской системе в сочетании с методом альтернативного голосования, что позволило преградить экстремистам доступ к власти [Horowitz 1990: 77]. И в Нигерии парламентская система со слабым президентом во время Первой республики стала решающим фактором для начала гражданской войны за независимость Биафры (1967-1970 гг.), так как позволяла одной этнической группе контролировать полностью парламент, а потому в 1978 г. Нигерия сменила форму правления на президентскую [Horowitz 1991: 210].

Во-вторых, президент, который избирается отдельно от парламента (в идеале по избирательной формуле, гарантирующей исключительно широкую поддержку президентского кандидата), обладает эффектом “смягчения конфликтов” [ibid.: 206]. Независимый и избранный на прямых выборах президент позволяет этническим группам получить доступ к исполнительной власти, даже если они не имеют большинства в парламенте [ibidem]. Это возможно, поскольку “президент, понимая необходимость достижения согласия в обществе, может назначить на правительственные и министерские должности представителей разных этнических групп” [Зазнаев, Сидоров 2020: 293]. Конечно, многое зависит от личности президента и его лидерских качеств, но президентская система создает условия для появления таких политиков, делающих упор не на “своей” этничности, а на общенациональных интересах примирения и единения.

При этом надо сделать важное замечание. Этническая идентичность политического лидера имеет значение только тогда, когда лидер позиционирует себя как представитель этнической группы и, как верно отмечено в литературе, создает “этническую солидарность” [Kaufman 2016: 92] с последователями, которые “идут” за лидером, поскольку он действует в их интересах. Если лидер “не выпячивает” свою этническую идентичность и не претендует на этническое лидерство, то его принадлежность к этнической группе не имеет политического значения, как это имеет место в ряде постсоветских стран, включая Россию.

В-третьих, в президентской системе происходит разделение законодательной и исполнительной властей, что позволяет парламентским политическим партиям выбирать, поддерживать ли им политику президента или оппонировать ей. Этот принцип дополняется системой сдержек и противовесов, которые предназначены для того, чтобы предотвратить возможность возникновения

ситуации, при которой “победитель получает все” [Зазнаев, Сидоров 2020: 293]. Для президентской системы свойственно разделенное правление, при котором партийные (и этнические) принадлежности главы государства и парламента не совпадают. При этом оппозиционная президенту парламентская партия, представляющая этнические интересы, может принимать желаемые для нее решения, с которыми может не согласиться президент. Конфликт тем самым развивается и разрешается в институциональной плоскости без насилия. В ситуации же, когда одна и та же сторона доминирует в обеих ветвях власти, у оппозиции и этнических меньшинств существуют возможности для оппонирования президентской линии. Парламентская система представляет угрозу для групп меньшинств, поскольку они не могут получить значительного представительства и чувствуют, что такая ситуация угрожает им, а правящая партия и стоящая за ней этническая группа полностью контролирует повестку дня, принимая решения в парламенте и правительстве.

Действительно ли эти достоинства президентской системы всегда ведут к снижению этнической конфликтности? Нет, поскольку у президентизма есть недостатки, что справедливо отмечено рядом авторов. Риски президентской системы связаны с тем, что неизбежная нулевая сумма, характерная для президентских выборов, усугубляет этнорегиональные тревоги и межэтническую напряженность [Suberu, Diamond 2002]. Принцип “победитель получает все” слишком высоко поднимает ставки на выборах президента, что неизбежно ведет к обострению отношений в обществе и его дальнейшей поляризации [Linz 1990: 56]. Жестко фиксированные сроки нахождения президента у власти не позволяют сместить главу государства и его правительство по политическим соображениям [ibid.: 64], например, в случаях глубокого разочарования в деятельности кабинета, неправильной или неэффективной этнической политики и пр.

Одна из проблем, отмеченных в литературе, — это то, что президентская система сокращает шансы политического представительства, особенно для этнических меньшинств [Theuerkauf 2010], хотя оно необходимо для этнических групп, “как воздух для живого существа” [Фарушкин 2014: 77], поскольку непредставленность во власти порождает устойчивое раздражение, в связи с чем возникают конфликты на этнической почве.

Во-первых, в рамках президентской системы борьба идет за всего лишь одно место, и оно достается единственному победителю. Кроме того, избранный президент самостоятельно формирует правительство, а, значит, он получает и кабинет, который он и только он контролирует весь срок своих полномочий. У проигравших кандидатов нет надежд на получение некоторой доли власти. В парламентской системе ставки не так высоки, поскольку должность президента символична, и этнические группы могут обеспечить себе представительство в парламенте — центре принятия решений. Совместное отправление власти в парламентской системе позволяет различным этническим группам получать доступ и к законодательной, и к исполнительной власти.

Во-вторых, неколлегиальный характер исполнительной власти в президентских системах приводит к тому, что один ключевой человек принимает политические решения. Если представители этнических групп представлены в исполнительных органах, то они не могут выступать против президента из-за подчинения правительства президенту. В парламентской системе исполни-

тельная власть (кабинет) является коллегиальной, давая этническим группам возможность влиять на власть. При этом президентские системы полагаются на единоличную исполнительную власть, что ведет к политическим потерям проигравших этнических групп. Поэтому проблемы, вызванные неколлегиальным характером президенциализма, “видны во всем мире, от Кот-д’Ивуара, Египта, Кении, Киргизии и Шри-Ланки до Зимбабве...” [McGarry 2013: 93].

В-третьих, жесткость президентской системы, основанная на жестком разделении власти, оставляет меньше возможностей для консенсуса, компромисса и создания коалиций. Речь идет о временной жесткости нахождения президента у власти и невозможности его смещения до истечения конституционного срока полномочий. “Опасность того, что президентские выборы превратятся в игру с нулевой суммой, усугубляется жесткостью срока полномочий президента в должности”, — справедливо пишет Х. Линц [Linz 1990: 56]. Президентские выборы могут привести к поляризации общества, когда недовольные президентским правлением этнические группы не имеют шансов на смещение президента и вынуждены ждать очередных выборов. Напротив, парламентская система обеспечивает гибкость политического процесса, что сказывается на политическом представительстве этнических групп.

Следует подчеркнуть, что парламентская система не создает автоматически благоприятных условий для этнического представительства. Многое зависит от контекстуальных условий, в частности, от глубины этнических расколов в обществе [McGarry 2013: 93]. Так, например, в Северной Ирландии с 1922 по 1971 гг. существовал парламентский режим, и на протяжении 50 лет Ольстерская юнионистская партия оставалась единственной правящей и не шла ни на какие коалиции с католиками. Другой пример. Парламентский режим Израиля хоть и создавал парламентские коалиции регулярно, тем не менее, в эти коалиции никогда не входили палестинские арабы.

Значимость политических институтов в условиях полиэтнического общества неоспорима, поскольку, как справедливо отмечается в литературе, тщательное проектирование политических институтов является необходимым условием достижения умеренного политического процесса, при котором этнические группы включались бы во власть [Wolff 2005: 73]. Такое проектирование форм правления осуществляется разными субъектами — отдельными государственными органами, правящими партиями и их руководством, политическими лидерами и влиятельными политиками. Главное, чтобы такой субъект обладал возможностями для проектирования и реализации своего проекта на практике, что предполагает владение им властными ресурсами [Зазнаев 2013: 35]. Если у субъекта нет властных ресурсов, то идея создания новой формы правления или внедрения новых институциональных элементов “повисает в воздухе”. Так, если общественные деятели или ученые высказываются в пользу той или иной формы организации власти в разделенном обществе, то их предложения не станут реализованным проектом до тех пор, пока правящая элита не будет заинтересована в институциональном переустройстве. Главный мотив элиты — стремление добиться смягчения и урегулирования этнических конфликтов — может появиться либо в силу внутренних “пружин” (сложность контролировать ситуацию, желание сохранить свою власть в безопасных и комфортных условиях), либо под давлением мирового сообщества, других государств, задействованных в процессе мирного урегулирования конфликтов. Кроме того,

“нужна еще политическая воля, чтобы плодотворно использовать создаваемые институциональные условия...” [Фарукшин 2013: 326].

Тезис о том, что этнические конфликты возникают в парламентских, а не президентских системах, не следует понимать абсолютно. Не нужно преувеличивать значимость президентской формы правления в предотвращении, урегулировании и разрешении этнических конфликтов. Президентизм не может быть универсальным способом разрешения присущих полиэтническим государствам проблем, сам по себе не гарантирует устранение этнических конфликтов.

Обеспечение этнического мира достигается, прежде всего, за счет других формальных институтов — избирательной системы и формы политико-территориального устройства. В литературе даже ранжировали политические институты с точки зрения значимости для преодоления этнических конфликтов. Наиболее важной считается избирательная система, далее следует форма политико-территориального устройства [Theuerkauf 2013a: 72], а именно федеративная система, которая препятствует дезинтеграции государства [Фарукшин 2013: 325]. Наконец, формы правления оказываются “на третьем месте, поскольку, несмотря на некоторые важные предположения о влиянии парламентаризма, президентизма и полупрезидентизма на перспективы этнополитической (не)стабильности — они редко рассматриваются как ключевой фактор в конституционной структуре этнически разнообразных обществ” [Theuerkauf 2013a: 72].

Кроме того, надо учитывать большую роль неинституциональных факторов в снижении этнической конфликтности. К числу таких условий можно отнести, во-первых, так называемый этнический ландшафт [Basedau 2013: 91]: крайне дробное общество менее склонно к конфликту, поскольку коллективные действия многочисленных групп легче “растворять” и преодолевать. Напротив, если одна этническая группа численно доминирует или два крупных этнических лагеря противостоят друг другу, то эффект “победитель получает все” гораздо вероятнее приведет к конфликту.

Во-вторых, другим важным аспектом является то, каким образом “накладываются” друг на друга, с одной стороны, этнические различия, а с другой стороны, социально-экономические и политические расколы. То есть если те или иные этнические группы находятся в ситуации депривации и бедности, то риск конфликтов между ними и другими группами возрастает, поскольку их недовольство распространяется не только на этническую, но и на социальную сферу. Поэтому в таких условиях значимость формы правления как фактора, снижающего конфликтность, сводится к минимуму. Существуют и иные детерминанты этнических конфликтов (например, доступность вооружения, пересеченная местность, природные ресурсы, международные факторы), и кроме того мы также должны учитывать характеристики личности самих лидеров [ibidem].

Выше речь шла о двух наиболее распространенных разновидностях форм правления — президентской и парламентской. Однако в последние десятилетия в мире наблюдается рост числа так называемых полупрезидентских систем [Зазнаев 2006]. Распространяются ли преимущества и недостатки президентской системы в условиях полиэтнического общества на полупрезидентскую систему? Этот вопрос практически не поднимается в литературе, поскольку исследователи, по меткому выражению М. Дюверже [цит. по: Semi-Presidentialism... 1999: 7], продолжают “читать две священные коровы” — президентскую и парламентскую системы, игнорируя полупрезидентскую.

На наш взгляд, ряд черт этой последней идентичен президентской, и поэтому их воздействия на этничность одинаковы. Скажем, президент в полупрезидентской системе является сильной фигурой, избираемой на всеобщих выборах, а, значит, такой президент в состоянии преодолеть этнические конфликты. Наличие сдержек и противовесов полупрезидентской системы является фактором снижения этнического недовольства и стимулом для переговоров между разными этническими группами, что переводит конфликты в институциональное русло.

Однако полупрезидентская система имеет две черты, которые существенно отличают ее от президентской, — дуализм исполнительной власти и парламентскую ответственность правительства. Как эти черты сказываются на этничности? Прежде всего, полупрезидентская система может привести к сосуществованию (“сожительству”), когда президент и большинство парламента (и соответственно формируемое этим большинством правительство) принадлежат к разным политическим партиям и стоящим за ними разным этническим группам. Сосуществование является альтернативой принципу президентской системы “победитель получает все”, поскольку власть распределяется между главой государства, правительством и законодательным органом. В литературе отмечается, что “институты полупрезидентства могут быть использованы для облегчения распределения власти между лидерами разных этнических сообществ” [McGarry 2013: 95]. Попытки перейти к полупрезидентской системе как наиболее приемлемой в условиях этнических расколов и конфликтов были предприняты в Кении в 2008 г. и Зимбабве в 2009 г., однако они не увенчались успехом в силу выявленных на выборах подтасовок. Вместе с тем, “этот отрицательный результат не умаляет существенных достоинств обмена должностями между лидерами разных сообществ в разделенном государстве” [ibid.: 95]. Следует подчеркнуть, что сосуществование может “дать свои плоды” в полиэтническом обществе только тогда, когда выборы проходят на честной соревновательной основе, не дающей преимуществ каким-то этническим группам. Если же имеют место электоральные манипуляции и одна этническая группа “захватывает” должность президента и большинство мест в парламенте, то такой мажоритаризм, в конечном итоге, ведет к созданию режима этнического доминирования.

Установить взаимосвязь между формой правления и этническими конфликтами помогла бы эмпирическая проверка гипотезы на большом массиве стран мира. Такого рода исследования с использованием статистического анализа были предприняты рядом зарубежных авторов [Saideman et al. 2002; Brancati 2006; Schneider, Wiesehomeier 2008; Theuerkauf 2013a; 2013b]. Однако авторы либо не получили эмпирического подтверждения гипотезы, либо выявленные ими взаимосвязи были несущественными для того, чтобы сделать однозначный вывод о влиянии формы правления на этнические конфликты².

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной сравнительной политологии общепринятой точкой зрения является мнение о том, что для этнически разнородных обществ лучше подходит парламентская, а не президентская система [Lijphart 2007; Stepan, Skach

² Подробнее об эмпирической проверке гипотезы о влиянии формы правления на этнические конфликты см.: [Зазнаев, Сидоров 2020].

1993; Theuerkauf 2013a]. Делая выбор между разными формами правления, “многие авторы не рекомендуют вводить президентскую или полупрезидентскую формы, особенно с большими полномочиями всенародно избранных президентов” [Харитоновна 2016: 54]. Доминирование этого мнения в науке подтверждается рядом исследователей [McGarry 2013].

Существенная доля научного сообщества отдает предпочтение парламентской системе как наиболее подходящей для полиэтнического общества. Тем не менее, на наш взгляд, аргументация сторонников парламентаризма является слабой и неубедительной. Следует усомниться в том, что парламентская система — идеальный “инструмент”, который годится для решения всех проблем разделенного общества. Вряд ли одна форма правления может быть “палочкой-выручалочкой”, способной предотвратить конфликты, снять острые этнические противоречия, обеспечить мир и согласие в межэтнических отношениях.

Проведенный нами анализ выявил, что одна и та же форма правления оказывает разное воздействие на разные этнические аспекты. Мы полагаем, что президентская система снижает риск этнических конфликтов, но при этом сокращает возможности для представительства этнических групп. Напротив, по нашему мнению, парламентская система создает больше возможностей для этнического представительства, но при такой форме правления возрастают риски этнических конфликтов. Таким образом, влияние формы правления на этничность неоднозначно и разнообразно. Поэтому выбор формы правления в полиэтнических обществах — сложная задача, поскольку идеальной не является ни президентская, ни парламентская система. И та, и другая имеют как позитивные, так и негативные стороны, влияющие на этнические процессы в обществе. Политические “архитекторы” форм правления в разделенных обществах должны осознавать угрозы, которые исходят от той или иной формы правления и пытаться их минимизировать. Конечно, останавливаться приходится на одной форме, но при этом необходимо знать о ее отрицательном воздействии на этническую ситуацию. К тому же реализация преимуществ каждой формы правления осложняется целым рядом неинституциональных факторов, а с другой стороны, недостатки той или иной формы правления могут быть сглажены политическими практиками отдельных стран.

Дебаты о том, какая форма правления больше годится для этнически разделенного общества, остаются незавершенными в политической науке. Имеющиеся в зарубежной политологии положения о взаимосвязи между формой правления и этническими конфликтами носят противоречивый характер. В российской политологии эти вопросы пока не поднимаются. Кроме того, гипотеза о влиянии формы правления на этнические конфликты и о характере такого влияния требует тщательной эмпирической проверки, чего пока не сделано.

Мы убеждены в том, что институциональные черты президентского и парламентского правления влияют на этническое представительство, этнические конфликты и этническую политику. Форма правления важна для возникновения, развития и протекания этнических конфликтов. Однако следует учитывать, что архитектура политических институтов — это не детерминанта этнических процессов, а лишь одно из условий. Сильное воздействие на этнические переменные оказывают исторические, социальные и культурные факторы. Взаимоотношения между формой правления и этничностью носят сложный характер в силу наличия вмешивающихся переменных, значимость которых

выше, чем значимость формы правления. Для выяснения связи между этническими переменными, с одной стороны, и президентской, парламентской и полупрезидентской системами, с другой, в контексте социокультурных факторов нужны новые сравнительные исследования.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.03

ETHNIC CONFLICT AND FORMS OF GOVERNMENT: CONTEMPORARY DISCUSSIONS

O.I. Zaznaev¹

¹ Kazan Federal University. Kazan, Russia

ZAZNAEV, Oleg Ivanovich, Dr. Sci. (Law), Professor, Head of the Political Science Department, email: Oleg.Zaznaev@kpfu.ru

Zaznaev O.I. Ethnic Conflict and Forms of Government: Contemporary Discussions. — Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 25-40. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.03>

Acknowledgements. The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project No. 20-011-00102 “The role of form of government in the prevention and resolution of ethnic conflicts: a comparative study”.

Received: 10.04.2019. Accepted: 27.10.2020

Abstract. Ethnic conflicts are a danger to the stability and integrity of a state; to prevent and resolve these, the state changes the form of political-territorial structure, the electoral system, or the form of government. The purpose of the article is to provide a critical overview of current discussions in political science regarding the relationship between ethnic conflicts and forms of government. The author focuses on two key points: the influence of ethnicity on the form of government; and the influence of the form of government on ethnic conflict. The choice of the form of government in a divided society is determined by the conceptual approach: supporters of consociationalism believe that the parliamentary system, due to its collegial nature, is the desired design of power in a multi-ethnic society; supporters of centripetalism and power-dividing approach, on the contrary, advocate for the presidential system, since it provides group consensus as well as checks and balances. One of the poorly studied research problems is to find out what is the role of presidential, parliamentary, and semi-presidential systems in resolving ethnic conflicts. The author claims that the impact of the form of government on ethnicity is ambiguous. There are sufficient arguments in favor of the fact that the presidential system reduces the risk of ethnic conflicts and favors ethnic peace and harmony, but at the same time leads to low chances of political representation for ethnic groups. On the other hand, the parliamentary system creates more opportunities for ethnic representation, but increases the risks of ethnic conflicts. The author demonstrates the advantages and disadvantages of various forms of government in the context of ethnic contradictions. At the same time, he notes that the form of government is not a determinant of ethnic conflicts, but only a condition, since historical, social, and cultural factors have a stronger impact on ethnic conflicts.

Keywords: ethnic conflict, form of government, presidentialism, parliamentarism, semi-presidentialism, ethnic representation.

References

- Basedau M. 2013. A Context-Sensitive Approach to the Study of Presidentialism and Ethnic Violence. — *Ethnopolitics*. Vol. 12. No. 1. P. 89-92. <https://doi.org/10.1080/17449057.2013.746011>
- Brancati D. 2006. Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict and Secessionism? — *International Organization*. Vol. 60. No. 3. P. 651–685. <https://doi.org/10.1017/S002081830606019X>
- Cordell K., Wolff S. 2016. The Study of Ethnic Conflict. An Introduction. — *The Routledge Handbook of Ethnic Conflict*. Ed. by K. Cordell, S. Wolff. New York, London: Routledge. P. 1-12.
- Horowitz D. L. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press. 607 p.
- Horowitz D. L. 1990. Presidents vs. Parliaments: Comparing Democratic Systems. — *Journal of Democracy*. Vol. 1. No. 4. P. 73-79. <https://doi.org/10.1353/jod.1990.0056>
- Horowitz D. L. 1991. *A Democratic South Africa? Constitutional Engineering in a Divided Society*. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press. 293 p.

- Horowitz D. L. 2004. The Alternative Vote and Interethnic Moderation. A Reply to Fraenkel and Grofman. — *Public Choice*. Vol. 121. No. 3-4. P. 507-517. <https://doi.org/10.1007/s11127-004-2488-y>
- Hutchinson J., Smith A.D. 1996. Introduction. — *Ethnicity*. Ed. by J. Hutchinson, A.D. Smith. Oxford, New York: Oxford University Press. P. 3-15.
- Kaufman S.J. 2016. Ethnicity as a Generator of Conflict. — *The Routledge Handbook of Ethnic Conflict*. Ed. by K. Cordell, S. Wolff. New York, London: Routledge. P. 91-101. <https://doi.org/10.4324/9781315720425.ch8>
- Lijphart A. 1990. The Southern European Examples of Democratization: Six Lessons for Latin America. — *Government and Opposition*. Vol. 25. No. 1. P. 68-84. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.1990.tb00747.x>
- Lijphart A. 1991. Constitutional Choices for New Democracies. — *Journal of Democracy*. Vol. 2. No. 1. P. 72-84. <https://doi.org/10.1353/jod.1991.0011>
- Lijphart A. 2007. *Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice*. London: Routledge. 305 p. <https://doi.org/10.4324/9780203934685>
- Linz J.J. 1990. The Perils of Presidentialism. — *Journal of Democracy*. Vol. 1. No. 1. P. 51-69. <https://doi.org/10.1353/jod.1990.0011>
- McGarry J. 2013. Is Presidentialism Necessarily Non-collegial? — *Ethnopolitics*. Vol. 12. No. 1. P. 93-97. <https://doi.org/10.1080/17449057.2013.746014>
- Reilly B. 2001. *Democracy in Divided Societies. Electoral Engineering for Conflict Management*. Cambridge: Cambridge University Press. 232 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511491108>
- Rothchild D., Roeder P. G. 2005. Dilemmas of State-Building in Divided Societies. — *Sustainable Peace: Power and Democracy after Civil Wars*. Ed. by P.G. Roeder, D. Rothchild. Ithaca, NY: Cornell University Press. P. 1-25.
- Ross M.H. 2007. *Cultural Contestation in Ethnic Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press. 388 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511491115>
- Saideman S.M., Lanoue D.J., Campenni M., Stanton S. 2002. Democratization, Political Institutions, and Ethnic Conflict: A Pooled Time-Series Analysis, 1985-1998. — *Comparative Political Studies*. Vol. 35. No. 1. P. 103-129. <https://doi.org/10.1177/001041400203500108>
- Semi-Presidentialism in Europe*. 1999. Ed. by R. Elgie. Oxford: Oxford University Press. 320 p. <https://doi.org/10.1093/0198293860.001.0001>
- Sisk T.D. 1996. *Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press. 176 p.
- Schneider G., Wiesehomeier N. 2008. Rules That Matter: Political Institutions and the Diversity–Conflict Nexus. — *Journal of Peace Research*. Vol. 45. No. 2. P. 183-203. <https://doi.org/10.1177/0022343307087176>
- Smith A.D. 1986. *The Ethnic Origins of Nations*. NY: Wiley-Blackwell. 312 p.
- Stepan A., Skach C. 1993. Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarism versus Presidentialism. — *World Politics*. Vol. 46. No. 1. P. 1-22. <https://doi.org/10.2307/2950664>
- Suberu R. T., Diamond L. 2002. Institutional Design, Ethnic Conflict Management, and Democracy in Nigeria. — *The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy*. Ed. by A. Reynolds. Oxford: Oxford University Press. P. 400-428. <https://doi.org/10.1093/0199246467.003.0015>
- Theuerkauf U.G. 2010. Institutional Design and Ethnic Violence: Do Grievances Help to Explain Ethnopolitical Instability? — *Civil Wars*. Vol. 12. No. 1-2. P. 117-139. <https://doi.org/10.1080/13698249.2010.486121>
- Theuerkauf U. G. 2013a. Presidentialism and the Risk of Ethnic Violence. — *Ethnopolitics*. Vol. 12. No. 1. P. 72-81. <https://doi.org/10.1080/17449057.2013.746007>
- Theuerkauf U. G. 2013b. Presidentialism and the Risk of Ethnic Violence: A Reply to Reilly, Sisk, Basedau and McGarry. — *Ethnopolitics*. Vol. 12. No. 1. P. 98-103. <http://dx.doi.org/10.1080/17449057.2013.751746>
- Wolff S. 2005. Electoral-Systems Design and Power-Sharing Regimes. — *Powersharing. New Challenges for Divided Societies*. Ed. by I. O'Flynn, D. Russell. London, Ann Arbor, MI: Pluto Press. P. 59-74. <https://doi.org/10.2307/j.ctt18dzsm7.8>
- Wolff S. 2011. Managing Ethno-national Conflict: Towards an Analytical Framework. — *Commonwealth & Comparative Politics*. Vol. 49. No. 2. P. 162-195. <https://doi.org/10.1080/14662043.2011.564471>
- Borisov N. 2018. *Prezidentstvo na postsovetkom prostranstve. Protsessy genezisa i transformatsii* [Presidency in the Post-Soviet Space: the Processes of Genesis and Transformations]. Moscow: RGGU. 537 p. (In Russ.)
- Farukshin M. 2013. *Ehtnichnost' i federalizm* [Ethnicity and Federalism]. Kazan: Kazan: Center for Innovative Technologies. 348 p. (In Russ.)
- Farukshin M. 2014. *Ehtnopolitologiya* [Ethnopolitical Science (Ethnopolitics)]. Kazan: Kazan University Publishing House. 280 p. (In Russ.)
- Horowitz D. L. 2016. Ethnic Power Sharing: Three Big Problems. (Review). — *Political Science (RU)*. No. 1. P. 210-223. (In Russ.)

- Kharitonova O. 2014. Post-Soviet Constitutions: Do Institutions Only Matter? — *Political Science (RU)*. No. 1. P. 69-93. (In Russ.)
- Kharitonova O. 2016. Ethnic Wars and Post-Conflict Democracy. — *Political Science (RU)*. No. 1. P. 34-59. (In Russ.)
- Kudryashova I. 2016. How to Accomplish Stability in Divided Societies. — *Political Science (RU)*. No. 1. P. 15-33. (In Russ.)
- Lijphart A. 1997. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration (Russ. ed.: Lijphart A. *Demokratiya v mnogostavnykh obshchestvakh: sravnitel'noe issledovanie*. Ed. by A.M. Salmin, G.I. Kamenskaya. Moscow: Aspect Press. 287 p.).
- Markarov A. 2014. Semi-Presidential System: Concept Content and Main Characteristics. — *Political Science (RU)*. No. 1. P. 34-50.
- Panov P. 2015. Institutional'nye modeli organizatsii vlasti v poliehtnicheskikh obshchestvakh: varianty, problemy i resheniya [Institutional Models of Power Organization in Multiethnic Societies: Options, Problems and Solutions]. — *Rossiiskaya politicheskaya nauka: Idei, kontseptsii, metody* [Russian Political Science: Ideas, Concepts, Methods]. Ed. by L. Smorgunov. Moscow: Aspekt Press. P. 289-306. (In Russ.)
- Tishkov V.A. 2003. *Rekviem po ehnosu. Issledovaniya po sotsial'no-kul'turnoi antropologii* [Requiem for Ethnos. Research on Socio-Cultural Anthropology]. Moscow: Nauka. 544 p. (In Russ.)
- Zaznaev O.I. 2006. *Poluprezidentskaya sistema: teoreticheskie i prikladnye aspekty* [Semi-Presidential System: Theoretical and Applied Aspects]. Kazan: Kazan State University. 374 p. (In Russ.)
- Zaznaev O.I. 2013. Forma pravleniya kak politicheskii proekt: ot razrabotki do realizatsii [Form of Government as a Political Project: from Development to Implementation]. — *Politicheskoe proektirovanie v prostranstve sotsial'nykh kommunikatsii* [Political Design in the Space of Social Communications]. Proceedings of the X International Scientific Conference. Part 1. Moscow: LENAND. P. 30-38. (In Russ.)
- Zaznaev O.I. 2014. Understanding the Forms of Government in Foreign Political Science: The Latest Debate. — *Political Science (RU)*. No. 1. P. 10-33. (In Russ.)
- Zaznaev O., Sidorov V. 2020. Presidential or Parliamentary System: What Hinds an Ethnic Conflict? — *Political Science (RU)*. No. 4. P. 290-308. (In Russ.) <https://www.doi.org/10.31249/poln/2020.04.14>

Литература на русском языке

- Борисов Н.А. 2018. *Президентство на постсоветском пространстве. Процессы генезиса и трансформаций*. М.: РГГУ. 537 с.
- Горовиц Д.Л. 2016. Распределение власти в полиэтнических обществах: Три большие проблемы. (Реферат). — *Политическая наука*. № 1. С. 210-223.
- Зазнаев О.И. 2006. *Полупрезидентская система: теоретические и прикладные аспекты*. Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. 374 с.
- Зазнаев О.И. 2013. Форма правления как политический проект: от разработки до реализации. — *Политическое проектирование в пространстве социальных коммуникаций*. Материалы X Международной научной конференции (Москва, 31 октября — 1 ноября 2013 г.). Ч. 1. М.: ЛЕНАНД. С. 30-38.
- Зазнаев О.И. 2014. Осмысление форм правления в зарубежной политической науке: Новейшие дискуссии. — *Политическая наука*. № 1. С. 10-33.
- Зазнаев О.И., Сидоров В.В. 2020. Президентская или парламентская система: что препятствует этническому конфликту? — *Политическая наука*. № 4. С. 290-308. <https://doi.org/10.31249/poln/2020.04.14>
- Кудряшова И.В. 2016. Как обустроить разделенные общества. — *Политическая наука*. № 1. С. 15-33.
- Лейпхарт А. 1997. *Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование*. М.: Аспект Пресс. 287 с.
- Маркаров А.А. 2014. Полупрезидентская система: содержание понятия и основные характеристики. — *Политическая наука*. № 1. С. 34-50.
- Панов П.В. 2015. Институциональные модели организации власти в полиэтнических обществах: варианты, проблемы и решения. — *Российская политическая наука: идеи, концепции, методы*. Науч. ред. Л.В. Сморгун. М.: Аспект Пресс. С. 289-306.
- Тишков В.А. 2003. *Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии*. М.: Наука. 544 с.
- Фарушкин М.Х. 2013. *Этничность и федерализм*. Казань: Центр инновационных технологий. 348 с.
- Фарушкин М.Х. 2014. *Этнополитология*. Казань: Издательство Казанского университета. 280 с.
- Харитонов О.Г. 2014. Постсоветские конституции: Только ли институты имеют значение? — *Политическая наука*. № 1. С. 69-93.
- Харитонов О.Г. 2016. Этнические войны и постконфликтная демократия. — *Политическая наука*. № 1. С. 34-59.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.04

МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ СЕЦЕССИЙ: ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ

Т.С. Торосян, А.В. Варданян

ТОРОСЯН Тигран Сурикович, доктор политических наук, зав. кафедрой ЮНЕСКО по правам человека, демократии и политологии, Ереванский государственный университет им. В. Брюсова; научный руководитель, Центр перспективных исследований и инициатив, Ереван (Армения), email: t.tigran@yahoo.com; **ВАРДАНЯН Аракс Ваграмовна**, ведущий исследователь, Центр перспективных исследований и инициатив, Ереван (Армения), email: a.vardanyan@gmail.com

Торосян Т.С., Варданян А.В. Методология сравнительного анализа успешности сецессий: опыт концептуализации. — Полис. Политические исследования. 2021. № 1. С. 41-57. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.04>

Статья поступила в редакцию: 01.11.2019. Принята к публикации: 14.10.2020

Аннотация. В статье рассматриваются методы сравнительного анализа этнополитических конфликтов, сецессий, проблем обеспечения эффективности такого анализа. Анализируются разные принципы и модели, применяемые с целью сравнительного анализа, конкретные примеры этнополитических конфликтов, которые возникли или возобновились после распада союзных государств — Советского Союза и Югославии. Рассмотрение результатов применения моделей как качественного, так и количественного анализа сецессий свидетельствует, что сложность феномена этнополитических конфликтов и процессов их урегулирования, а также их многофакторность требуют применения комплексного и междисциплинарного подхода при их исследовании. При этом во всех моделях авторы избегают рассмотрения правового аспекта проблемы. Две основные причины этого: а) политологи, как правило, испытывают затруднения при рассмотрении правовых аспектов и б) политики, руководствуясь политической целесообразностью, часто мифологизируют проблему, ссылаясь на неясности в международном праве касательно самоопределения или на противоречия между правом народа на самоопределение и принципом территориальной целостности. На самом деле неопределенность политико-правовых оценок сецессионных казусов лишает исследователей очень важного компонента при изучении одной из самых сложных проблем международных отношений — урегулирования этнополитических конфликтов. Процессы, связанные с таким урегулированием, еще больше усложнились из-за обострения в последние 10-15 лет геополитического противостояния, особенно на постсоветском пространстве, что требует повышения эффективности сравнительного анализа, а вместе с тем концептуализации подходов к разрешению таких конфликтов. Этнополитические конфликты и процессы их урегулирования стали изолированным инструментом, все чаще используемым влиятельными державами для стимулирования тех или иных региональных процессов. Авторами проведен сравнительный анализ этнополитических конфликтов и успешности сецессий на основе междисциплинарного подхода и комплексного анализа с учетом правовых, (гео)политических и этнокультурных аспектов проблемы. Анализ включал два этапа отбора: на первом отбирались включаемые в сравнение конфликты или сецессии, на втором — переменные сравнения. С целью обеспечения достоверности результатов анализа использовались не произвольные переменные, а лишь те, необходимость и достаточность которых в рамках данного целеполагания была строго обоснована.

Ключевые слова: этнополитический конфликт, сецессии, сравнительный анализ, правовая составляющая, (гео)политическая составляющая, этнокультурная составляющая, концепция анализа сецессий, самоопределение народов.

В числе государств, провозгласивших независимость по итогам распада двух союзных государств — СССР и Югославии, оказались как бывшие союзные республики, сразу же получившие полноценное международное признание, так и иные, пошедшие по пути сецессии и в большинстве случаев входившие до этого в состав союзных республик со статусом автономных административных образований. Впоследствии пошедшие по пути сецессии разделились на две группы: одни (Сербская Краина, Аджария, Гагаузия, Чечня) “вернулись” в состав метрополии, а другие (Косово, Абхазия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Южная Осетия) продолжают сохранять *de facto* независимый статус “непризнанных государств” больше четверти века¹.

За последние десятилетия международное право создало полноценную правовую основу для разрешения этнополитических конфликтов, и международные организации выполняют миротворческие посреднические миссии. Но, несмотря на это, число этнополитических конфликтов продолжает расти. Согласно исследованиям, проведенным в Международном университете Стокгольма, в 2007 г. в разных частях планеты была проведена 61 миротворческая операция, направленная на уменьшение активности конфликтов, что является наивысшим показателем после 1999 г. [Soder 2008: 113]. Эти конфликты отличаются друг от друга политическими, правовыми, экономическими, историческими, этнокультурными или другими особенностями, под влиянием которых могут значительно различаться и процессы их разрешения. Хотя за этот период международное сообщество не изменило своего принципиального отношения к их признанию, по отдельным аспектам можно заметить определенные изменения в отношении к *de facto* государствам.

Это особенно примечательно в подходах к научному исследованию процессов, происходящих в таких государствах. Сначала произошла трансформация терминов, характеризующих эти государства. Если вначале они именовались исследователями как “псевдогосударства” (*pseudo-states*) [Kolosov, O’Loughlin 1998] или “квазигосударства” (*quasi-states*) [Kolstø 2006; Kolstø, Blakkisrud 2008], то позже по отношению к ним начали применять нейтральную терминологию — “*de facto* государства” (*de facto states*) [Bakke at al. 2018; Blakkisrud, Kolstø 2012]. Произошли изменения и в постановке исследовательской задачи. Если в течение первых 10-15 лет эмпирическое исследование этих государств было сосредоточено главным образом на происхождении конфликтов или на проблемах их разрешения [Kolstø, Malgin 1998; Pegg 1998; Walker 1998; Kolosov, O’Loughlin 1998; King 2001; Torosyan 2010; Lynch 2004; Торосян 2007], то внимание исследователей в последние годы в большей степени привлекают социально-политические процессы [Popescu 2006; Blakkisrud, Kolstø 2011; Caspersen 2012; Blakkisrud, Kolstø 2012; Torosyan, Vardanyan 2015; Bakke at al. 2018; Мелешкина, Кудряшова 2015; Фомин 2016; Токарев 2017]. Ракурс исследований изменился под влиянием того, что эти государственные образования за прошедшее время стали признанной всеми реальностью и неотъемлемой составляющей региональных трендов и процесса формирования нового мирового порядка [Torosyan, Vardanyan 2015: 560].

¹ В самое последнее время, уже после прохождения данной статьей большей части редакционного цикла, некоторые из перечисленных “непризнанных государств” столкнулись с новыми серьезными вызовами, а “независимый статус” Нагорного Карабаха *de facto* был упразднен (*прим. ред.*).

В качестве инструментария этих исследований довольно часто применяются средства сравнительного анализа, что, в свою очередь, сопряжено с большими трудностями из-за разнообразия конфликтов и большого числа привлекаемых к их теоретическому моделированию разнородных факторов (переменных), характеризующих эти конфликты. Задача усложняется в результате обострения после 2007-2008 гг. геополитических процессов, когда этнополитическая конфликтность стала одним из ключевых системных факторов трансформаций современного миропорядка [Политические изменения... 2014]. Для эффективного исследования таких сложных процессов требуется развитие исследовательской концепции и применение междисциплинарного подхода с учетом не только политических и этнических факторов, но также и правовых и геополитических, что, предположительно, поможет точнее определить отличия траекторий конфликтов и процессов их урегулирования, повысить достоверность результатов исследований, а следовательно и эффективность процессов урегулирования.

В статье анализируются модели качественной и количественной оценки успешности сецессий, а также возможность использования модели классификации этнополитических конфликтов в качестве вспомогательного инструмента этой оценки. На основе результатов исследования предлагается концепция оценки успешности сецессий в рамках междисциплинарного подхода и отбора сравнимых кейсов и переменных.

МОДЕЛИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СЕЦЕССИЙ

Известно множество моделей сравнительного анализа этнополитических конфликтов, в частности сецессий. Они отличаются по целеполаганию исследований, в рамках которых разрабатывались, распределяясь по широкому спектру: от исследования влияния того или иного параметра на ход конфликтов или процессов их урегулирования — и до оценки успешности сецессий или выявления причин ее неудачи. Ниже эти модели будут анализироваться с целью выявления их эффективности при применении в качестве инструмента для решения двух задач: 1) какие перспективы имеет данный кейс сецессии с точки зрения успешности, т.е. полноценного международного признания; 2) почему данный конфликт и/или процесс его урегулирования имеет более успешную траекторию, чем другой, похожий на него?

Модель оценки успешности сецессий [Kolstø 2006]. Автор модели, анализируя ситуацию в непризнанных государствах на территории бывшего Советского Союза, бывшей Югославии и на Кипре (Турецкая Республика Северного Кипра), пытается прогнозировать возможный окончательный статус *de facto* государств с помощью ряда факторов. В их числе: национальное строительство, военная мощь, возможности материнского государства, поддержка внешнего покровителя и роль международного сообщества. Имея в виду формулы разрешения конфликтов в Боснии и Хорватии, он подчеркивает, что “данные, безусловно, неоднозначны”, но заключает: “федеральное урегулирование... должно рассматриваться как наиболее вероятный конец большинства непризнанных квазигосударств”. Очевидно, что пока этот прогноз ни в одном из рассмотренных случаев не сбился. Более того, независимость Косово признали около 100 членов ООН². Основная причина ошибочного прогноза — рас-

² К началу 2014 г. число стран, признавших независимость Косова, достигло 108. Но с тех пор около двух десятков стран отозвали свое признание (прим. ред.).

смотрение лишь политических факторов, отсутствие междисциплинарного подхода и игнорирование в ходе анализа правовой составляющей (права на самоопределение).

Модель исследования связи между строительством государства, демократизацией и признанием [Caspersen 2008a]. Автор этой модели, рассматривая кейсы Абхазии и Нагорного Карабаха, показывает, что необходим более детальный взгляд на непризнанные государства, выходящий за рамки шаблонного представления о том, что они представляют собой не более чем “криминальные образования (*badlands*), управляемые теневой экономикой и жадными элитами”. Он утверждает, что “фактически непризнание может послужить толчком к демократизации. В стратегии достижения признания произошел сдвиг к акценту на заслуженный суверенитет (*earned sovereignty*), основанный, в частности, на демократических полномочиях, что отражает возросший международный акцент на демократизацию и, в более общем плане, на ценности. Это попытка руководства непризнанных государств продемонстрировать, что они разделяют общепринятые ценности и поэтому не представляют угрозы”. К сожалению, эта модель также демонстрирует однобокий подход, учитывая лишь политическое измерение. Между тем применение междисциплинарного подхода с учетом международно-правовой составляющей значительно усилило бы обоснованность важных утверждений автора.

Модель анализа предпочтений в постсоветских *de facto* государствах [O’Loughlin, Kolossov, Toal 2014]. Авторы провели сравнительный анализ результатов опроса общественного мнения в Абхазии, Нагорном Карабахе, Южной Осетии и Приднестровье. Хотя опрос был организован на основании всего девяти вопросов, которые касались отношения опрошенных к некоторым событиям прошлого, а также к актуальным институтам и ценностным ориентациям, авторы сочли ключевым вопросом отношение к “окончательному” политическому статусу. Примечательно, что в этом вопросе они придают решающее значение волеизъявлению населения *de facto* государств, отмечают значительные демографические изменения в Абхазии и Южной Осетии и заключают, что шансы на примирение с “материнскими государствами” в целом невелики, за исключением Приднестровья, где уровень насилия в момент распада Советского Союза был сравнительно низким. Однако авторы не обеспечили целостность анализа, так как не учитывали междисциплинарную суть проблемы и соответствующие нормы международного права, которые определяют природу сепаратизма и ограничения на пути достижения ее целей.

Модель оценки государственного и национального строительства непризнанных государств Южного Кавказа [Blakkisrud, Kolsto 2012]. Эта модель была использована при оценке государственной состоятельности трех сепаратизмов — Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха, которые реализовались на постсоветском пространстве в ходе реализации права наций на самоопределение в отсутствие всеобщего международного признания. Оценку консолидации государства и нации авторы рассматривают на основе пяти параметров: 1) установление территориального контроля, 2) институционализация власти: выборы и институциональное строительство, 3) идентификация с фактическим государством, 4) роль метрополии, 5) наличие государств-покровителей. Выбор этих параметров авторы аргументируют необходимостью изучения как внутренней динамики консолидации возникающих режимов и соответствующую

ших процессов государственного и национального строительства, так и аспектов их взаимоотношений с внешним миром. Консолидация государства и нации рассматривается в аспектах установления территориального контроля и институционализации власти, а также укрепления идентификации с *de facto* государством (национальное строительство) и, следовательно, его поддержки. Эти процессы направлены на упрочение внутреннего суверенитета [Kolsto 2006]. Отношения исследуемых *de facto* государств с внешним миром оцениваются по уровню взаимодействия с метрополией и государствами-покровителями, так как до признания международные связи *de facto* государств практически ограничиваются этими отношениями. В качестве метрополии подразумеваются Грузия в случае Абхазии и Южной Осетии, Азербайджан в случае Нагорного Карабаха. А в качестве государства-патрона рассматривается государство, которое обеспечивает гарантии безопасности, а также политическую и экономическую поддержку *de facto* государству [Caspersen 2008b]. Армения является государством-патроном Нагорного Карабаха, а Российская Федерация — Абхазии и Южной Осетии.

Более успешны попытки *de facto* государств сосредоточить свое внимание на усилении внутреннего суверенитета и укрепить позиции посредством государственного и национального строительства. Можно предположить, что они учитывают принцип международного сообщества “сначала стандарты, а затем статус”, примененный в отношении Косово [Torosyan 2013: 570]. В оценке ситуации по указанным переменным авторы солидарны с оценкой Н. Касперсен: “Сегодня в южнокавказских государствах *de facto* существует большинство институтов и символов, связанных с независимой государственностью. Более того, перспектива ‘завоевания’ суверенитета — путем принятия международных стандартов, которые в конечном итоге квалифицировали бы их для международного признания, — означает, что эти государства теперь также демонстрируют большую часть формальных атрибутов демократической государственности. Когда речь заходит об институциональном строительстве и создании функционирующей государственности, они идут разными путями...” [Caspersen 2008a]. И конфликт между Грузией и Россией в 2008 г., радикально изменивший развитие югоосетинского государственного проекта, и последние события вокруг Нагорного Карабаха, и путь Абхазии, — служат хорошей иллюстрацией этого разнообразия путей. Это — общая, но важная оценка рассмотренных сецессий, однако без учета правовой составляющей процесса невозможна полноценная оценка судьбы сецессий.

Модель анализа состоятельности сецессий [Мелешкина, Кудряшова 2015]. Анализируются три сецессии постсоциалистического пространства — Косово, Абхазии и Южной Осетии. Выбор кейсов обусловлен тем, что в них фигурируют “частично признанные государства”. Косово признали около ста государств — членов ООН, Абхазию и Южную Осетию — только пять и четыре соответственно. Авторы считают более существенным фактом наличие у них государства-патрона и предпринимают попытку оценки государственной состоятельности этих сецессий, а также влияния на нее частичного признания. Они заключают, что “перспективы включения частично признанных государств в международную систему в качестве полноправных акторов и, следовательно, создания более благоприятных условий для государственного и национального строительства неоднозначны, как неоднозначны и по-

следствия самого частичного признания” [там же: 76]. Очевиден основной недостаток модели — ключевой переменной является “частично признанное государство”, не имеющее строгого определения; между тем отсутствуют те переменные процесса (правовые составляющие), которые определяют условия корректной сецессии.

Мультимодальный перформативный анализ сецессий [Фомин 2016]. Эта модель, предложенная И. Фоминым, применена с целью исследования тех же трех сецессий: Косово, Абхазии и Южной Осетии. Она основана на семиотическом подходе к исследованию социальной действительности — мультимодального перформативного анализа [Фомин, Ильин 2016]. Все три исследуемые сецессии описываются с помощью шести перформативных актов: 1) стабильность (существование в рамках одного государства); 2) накопление противоречий (обострение: попытка сецессии, имеющая характер перформативной осечки (мизинвокация) и провоцирующая силовое взаимодействие); 3) иллюкутивный прорыв (интервенция и заморозка: нивелирование осечки интервентом); 4) частичная стабилизация (переговоры: восстановление режима удачных перформативных взаимодействий); 5) накопление противоречий (кризис: новые мизинвокативные попытки изменить ситуацию); 6) новый иллюкутивный прорыв (признание: преобразование мизинвокативной осечки в удачный перформатив) [Фомин 2016: 281]. Перформативные акты представляют собой ряд ключевых “высказываний” (деклараций, заявлений, изменения законодательства и т.д.) и шагов сторон конфликта, которые имеют общее целеполагание. В результате исследования “высказываний” и шагов сторон конфликтов (Абхазии, Южной Осетии и Косово) автор заключает, что все они являются успешными сецессиями, а приведенная шестиактовая модель является общей структурой “развития перформативного события сецессии из мизинвокативного акта сецессии” [там же: 282], настаивая, что предлагаемая оригинальная методология (приемы мультимодального анализа перформативов) требует дальнейшего развития и уточнения.

Действительно, для обеспечения полноценности и законченности модели необходимо: а) связать ее с ключевыми нормами международного права, исчерпывающе регулируемыми процессы самоопределения народов в ходе сецессий; б) учитывать геополитический фактор, который является самым влиятельным для рассматриваемых сецессий.

Сравнительный анализ сецессий на основе квантификации факторов [Токарев 2017]. Автор исследования преследует две цели: 1) апробация разработанной модели для восьми сецессий, 2) проверка гипотезы исследования: “успех сецессий ДНР и ЛНР... во многом обусловлен участием государства-патрона: редукция значения факторов его мощи, а также общности границы с ним угрожает сецессии провалом” [там же: 108]. Восемь посткоммунистических сецессий (Чеченская Республика Ичкерия, Республика Гагаузия, Нагорно-Карабахская республика, Приднестровская Молдавская Республика, Республика Южная Осетия, Республика Абхазия, Республика Косово, Республика Сербская Краина) сравниваются на основе десяти переменных, каждой из которых в меру ее влияния на успех сецессии, присваивается числовое значение на шкале от (–3) до (+3), тем самым производится квантификация параметров. Вероятность успеха сецессии вычисляется путем суммирования значений всех переменных.

С целью формализации описания процесса становления, развития и завершения указанных восьми проектов сецессии автор использует десять переменных: 1) наличие перед началом сецессии автономного статуса по отношению к другим регионам внутри государства; 2) стремление сохранить свой статус в составе прежнего федеративного (союзного) государства; 3) независимость от государства-патрона при решении о начале сецессии; 4) наличие общей границы с государством-патроном; 5) военная агрессия “материнского” государства; 6) уровень эффективности внутреннего суверенитета; 7) введение миротворцев в регион конфликта; 8) наличие собственного языка, отличного от государственного языка “материнского” государства; 9) наличие доминирующего этноса, отличного от доминирующего этноса “материнского” государства; 10) признание членами ООН. Можно согласиться с полученными результатами для ДНР и ЛНР — они наихудшие из всех рассмотренных сецессий, а также для трех случаев реинтеграции (Чечня, Гагаузия и Сербская Краина), получивших отрицательные оценки. Однако сравнение результатов, полученных для остальных кейсов, не всегда убедительно. Например, самая низкая оценка Косово среди положительных результатов. Конечно, по критерию состоятельности государства эта сецессия не опережает кейсы на постсоветском пространстве, однако уже тот факт, что Республику Косово признали около ста государств — членов ООН, показывает, что это государство намного более близко к международному признанию (членству ООН). Но по значению используемого в этой классификации фактора — “Признание членами ООН” Косово опережает Абхазию и Южную Осетию всего на (+1). Тогда как Абхазия по фактору “Независимость от патрона” опережает Косово на четыре единицы, а НКР — на одну. Между тем, например, согласно классификации этнополитических конфликтов [Семененко, Лапкин, Пантин 2016], внешнеполитический фактор в контексте актуализации конфликтности для Южной Осетии и Абхазии является основным, а для Нагорного Карабаха, Косово и Крыма — дополнительным, тогда как для последних основным фактором является историческая память.

Следует также заметить, что при улучшении модели, предлагаемой А. Токаревым, необходимо будет учитывать, например, переменные, определяющие соответствие данного кейса международному праву или влияние геополитической составляющей.

Модель классификации этнополитической конфликтности [там же]. Эта модель может иметь важное значение при сравнительном анализе этнополитических конфликтов, и в частности сецессий. Предварительная классификация позволит уточнить круг конфликтов, которые полагаются сравнимыми между собой. Центральная исследовательская задача, для решения которой предложена модель, — путем качественного анализа массива эмпирических данных разработать и обосновать типологизацию этнополитических конфликтов посредством выявления ключевых для данного конфликта факторов напряженности [там же: 74].

Для этого авторы исследования изучили 27 кейсов этнополитических конфликтов, построили матрицу их классификации по двум измерениям — по типам конфликтов (таковых было выделено три) и по переменным (факторам) конфликтов (таковых было выделено шесть). Три основных типа конфликтов: политико-управленческий, политико-институциональный, политико-терри-

ториальный, — были определены путем анализа особенностей политического целеполагания сторон конфликта. В свою очередь шесть переменных: фактор исторической памяти; фактор диспропорций в экономическом развитии и четко выраженных социальных дисбалансов; культурно-лингвистический фактор; фактор межэтнических (этноплеменных, межклановых) противоречий; фактор межконфессиональных противоречий; внешнеполитический фактор, — предложены в качестве ключевых по итогам анализа всего массива отобранных кейсов [там же: 76]. В рамках этого подхода большое внимание было уделено анализу трудностей, которые возникают при теоретических обобщениях закономерностей таких сложных явлений, какими являются конфликты. С целью придания гибкости модели, учитывая сложносоставную природу конфликтности, помимо основных типов конфликтов, в случае необходимости, рассматривались и дополняющие типы. В результате каждый конфликт получал две ячейки в матрице — основную и дополнительную, и мог анализироваться в группе конфликтов как первой ячейки, так и второй.

Конечно, эта модель не предназначена для решения самой сложной проблемы исследования конфликтов — прогнозирования успешности сецессий, но она может быть полезна для определения группы сравнимых конфликтов. Для этого ее необходимо доработать с целью обеспечения междисциплинарного подхода, отсутствие которого может привести к искажениям результатов. Например, при оценке успешности сецессий не имеет смысла рассматривать кейс Турецкой Республики Северного Кипра, так как ее продвижение напрямую противоречит основным принципам международного права. В консультативном заключении Международного суда юстиции (ICJ) отмечается, что одностороннее провозглашение независимости нелегитимно, когда оно сопровождается незаконным применением силы или другими вопиющими нарушениями норм общего международного права³. В качестве примеров указываются кейсы Южной Родезии, Турецкой Республики Северного Кипра и Сербской Краины. Рассмотрение таких кейсов при анализе успешности сецессий непродуктивно, так как не удовлетворяются условия международно-правовых норм. Расширение ряда факторов, учитываемых в рассматриваемой двумерной модели за счет норм международного права, регулирующих процесс самоопределения и сецессии, серьезно улучшит ее с точки зрения отсекация бесполезных кейсов и искажений, обусловленных ими.

Примечательно, что эта составляющая упускается из виду для моделей как качественной, так и количественной оценки сецессий. Более того, важность этнополитического конфликта как ключевого фактора ряда политических процессов, а также необходимость обеспечения полноты этой оценки требуют применения строго обоснованного концептуализированного подхода к анализу сецессий, учитывающего все существенные факторы, условия и переменные.

КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ СЕЦЕССИЙ

Очень часто взаимодействие политических систем, институтов и процессов трудно объяснить только на основе имеющихся теоретических моделей и схем. Поэтому сравнительный анализ имеет важное значение как для про-

³ Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion. 22.07.2010. — *International Court Of Justice*. URL: <https://www.icj-cij.org/en/case/141> (accessed: 29.11.2020).

гнозирования, стимулирования или предотвращения этих процессов и явлений, так и для повышения их эффективности. Этот метод также позволяет выявить и обосновать закономерности и особенности как этих процессов и явлений, так и деятельности участвующих в этих процессах общественных единиц — народов, общин, сообществ, их культур и т.д. [Smelser 2003]. Согласно Д. Аптеру [Apter 1996: 372], сравнительный метод в политологии является особой (обоснованной теорией и философией политики) формой выявления связи между идеями на основе событий и явлений. Цель применения этого метода — выявлять, по каким признакам и на каком основании два (и более) события, явления или процесса отличаются друг от друга или схожи друг с другом, а также на основе анализа эмпирических данных получать обобщения, характеризующие эти события, явления и процессы, в виде закономерностей, моделей, классификаций и т.д. [Torosyan, Petrosyan 2015: 127]. Следует, однако, отметить, что применение этого метода также чревато недостоверными заключениями и результатами, если сравниваются кейсы, не подлежащие сравнению [ibid.: 130]. Эффективность применения этого метода обусловлена оптимальностью выбора двух факторов — сравниваемых кейсов и переменных, характеризующих эти кейсы [Lijphart 1971: 689]. Поэтому требуется найти решение двух задач — правильно выбрать сравниваемые кейсы, которые точно соответствуют цели исследовательской задачи, и правильно выбрать необходимые и достаточные для этого переменные. Ниже предлагается решение задач, в рамках которых целеполаганием является оценка успешности сецессии.

Классификация сецессий. Концептуальная идея обеспечения эффективности анализа сецессий на успешность связана с сущностью проблемы — она является междисциплинарной. И. Семененко и коллеги совершенно справедливо отмечают, что “изучение соответствующей политической практики в контексте этнополитической конфликтологии выявляет неэффективность одномерных подходов к анализу всего комплекса взаимодействий, поддерживающих ‘живую ткань’ современной политики. Сложность феномена заставляет искать комплексные объяснительные модели” [Семененко, Лапкин, Пантин 2016: 70]. Очень часто эта неэффективность при исследовании этнополитических конфликтов или сецессий выражается рассмотрением проблемы только на основе одного фактора, например политической составляющей, или в рамках одной научной дисциплины, например политологии, упуская из виду правовую (международную) составляющую проблемы. В результате этого в число сравниваемых сецессий могут быть включены некорректные кейсы, такие как вышеуказанные сецессии Турецкой Республики Северного Кипра и Республики Сербская Краина. Так как с точки зрения легитимности сецессии ключевое значение имеет корректное применение права наций на самоопределение, требуются некоторые разъяснения относительно одной из основополагающих идей современного международного права и трудностей ее применения. Тем более что иногда недоразумения (из-за трудностей, связанных с необходимостью применения сложного междисциплинарного подхода) обнаруживаются и в научных публикациях.

Например, в одной из них имеет место следующая констатация: “В Декларации о принципах международного права 1970 г. отдельный раздел посвящен Принципу равноправия и самоопределения народов: в нем

уточняется, что государства, подвергавшиеся ‘иностранному игу, господству и эксплуатации’, могут рассчитывать на независимость, в то время как самоопределение всех других народов может быть реализовано только в той степени, которая не нарушает принцип территориальной целостности государства” [Троицкая 2015: 124]. Между тем “идею” разделения народов на две группы, принципиально искажающую суть этой Декларации, невозможно обнаружить ни в Декларации, ни в других документах международного права, относящихся к принципу самоопределения. Упомянутый раздел Декларации начинается с констатации: “В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций, *все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус...* и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава”⁴. Единственное упоминание в Декларации государств, подвергавшихся “иностранному игу, господству и эксплуатации”, касается напоминания государствам — членам ООН о том, что они обязаны “содействовать осуществлению принципа равноправия и самоопределения народов в соответствии с положениями Устава и оказывать помощь Организации Объединенных Наций в выполнении обязанностей, возложенных на нее Уставом, в отношении осуществления данного принципа, с тем чтобы:

...b) незамедлительно положить конец колониализму, проявляя должное уважение к свободно выраженной воле заинтересованных народов, а также имея в виду, что подчинение народов иностранному игу, господству и эксплуатации является нарушением настоящего принципа, равно как и отрицанием основных прав человека, и противоречит Уставу Организации Объединенных Наций”⁵. Очевидно, что ООН еще раз обращает внимание стран, членов организации, на необходимость незамедлительного решения одной из важнейших проблем того времени — колониальной зависимости и всемерного содействия процессам деколонизации.

Утверждается также, что есть две концепции самоопределения. Первой — либеральной концепции, придерживаются США и страны Евросоюза, “трактуя его (самоопределение, — *прим. ред.*) как универсальное право любой нации... на установление такой формы правления, которая гарантирует соблюдение базовых прав и свобод” [там же: 128]. Иной концепции придерживается большинство западных стран, понимая под самоопределением “право сообщества на выбор любой политической формы правления, которая позволяет сообществу практиковать свою культуру, язык или религию без давления извне...”, и не связывая его с либерализмом [там же]. Но на деле все страны — члены ООН, согласно Хартии этой организации, должны уважать право наций на самоопределение в рамках соответствующих норм международного права, содействовать реализации одной из этих основополагающих норм и не могут трактовать эти нормы по своему усмотрению. А международное право никак не связывает самоопределение с либерализмом. Более того, практика применения права на самоопределение показывает, что влиятельные страны

⁴ Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (accessed: 10.11.2020).

⁵ Декларация о принципах международного права... (см. сноску 3).

в таких случаях действуют по своему усмотрению, в соответствии с их пониманием национальных интересов, без соблюдения каких-либо концепций и принципов (в том числе, к сожалению, и международного права). Только один пример. США и страны Евросоюза признали независимость, т.е. право на самоопределение, Косово, Восточного Тимора, Южного Судана, Эритреи и т.д., но можно ли всерьез говорить о либерализме в этих государствах? В то же время они не признали независимость *de facto* государств Южного Кавказа, которые ничем не уступают вышеперечисленным. Очевидно, что здесь невозможно формулировать какую-либо иную логику или концепцию признания, кроме национальных интересов.

Однобокость подхода может привести и к более серьезным искажениям результатов исследования. Ряд известных специалистов в области переговорного процесса в 1990-х годах выдвинули теорию неразрешимых конфликтов (*intractable conflicts*) [Zartmann, Touval 1996; Putnam, Wondolleck 2003; Burg 2005; Kriesberg 2005; Zartmann 2005]. Авторы этой теории пытаются найти ответ на вопрос, почему конфликты и процессы их урегулирования безуспешно продолжаются десятилетиями, и выдвигают гипотезу, что разрешение становится возможным только тогда, когда стороны конфликта готовы к этому. Политическая ангажированность этих авторов побуждает их, игнорируя международное право и его инструменты, перекладывать ответственность за мир и безопасность с институтов ООН и влиятельных государств, членов Совета безопасности ООН, — на стороны конфликта. Игнорирование междисциплинарной природы этой проблемы ведет тем самым к появлению искусственной и малопродуктивной “теории”, которая десятилетиями служит “обоснованию” отсутствия действенных шагов по разрешению конфликтов [Torosyan 2013: 428].

Успешность сецессии. Требование корректности и полноценности результатов исследования побуждает к четкости формулировки понятия “успешность сецессии”. Очевидно, что оно ассоциируется с признанием государства, образованного в результате сецессии. Признание государства является одновременно и политическим, и правовым вопросом. Политическим, потому что реальным международным признанием государства является его вхождение в ООН в результате голосования представителей государств — членов организации. Такое голосование не ограничено ничем, в том числе нормами международного права, и выражает политическую позицию данного государства по этому вопросу. Иногда в качестве критерия признания предлагается акт установления двусторонних отношений между государствами. Конечно, международному признанию государства, как правило, предшествует установление двусторонних дипломатических отношений с государствами — членами ООН, однако, не всегда это приводит к международному признанию. Поэтому установление дипломатических отношений с несколькими или даже несколькими десятками государств — членов ООН не может рассматриваться в качестве гарантии последующего включения этого государства в члены ООН. Более того, если сецессия не соответствует требованиям, определенным нормами международного права, ее не признают, так как метрополия будет иметь веские аргументы для препятствования этому. Следовательно, перспектива сецессии будет благоприятной, а политические препятствия к этому — преодолимыми, если ее осуществление будет соответствовать нормам международного права [Torosyan 2013; 2015]. К сожалению, несмотря на

то, что теоретически такое соответствие является единственным законным условием самоопределения-сецессии, в реальной жизни сильное влияние на международное признание имеет (гео)политическая составляющая [Ryngaert, Sobrie 2011: 468]. В регионах, где существует геополитическое напряжение или противостояние, практически всегда признание сецессии откладывается до спада того напряжения [Torosyan, Vardanyan 2015: 577]. Таким образом, необходимым условием легитимности процесса сецессии и ее успешности выступает соответствие нормам международного права, а достаточным условием — преодоление (гео)политических препятствий.

Соответствие кейса необходимому условию — нормам международного права.

Несмотря на то, что некоторые международные организации и политические круги отдельных государств продолжают настаивать, что есть неясности или противоречия между двумя нормами международного права — правом наций на самоопределение и территориальной целостностью, соответствующие документы строго и четко регулируют этот вопрос [Ryngaert, Sobrie 2011; Torosyan 2010; 2013]. Основные из них — Устав ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г., и Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятая резолюцией 2625. Ст. 1 Устава ООН провозглашает основные цели Организации, одна из которых — “Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира”⁶. Очевидно, что принцип равноправия и самоопределения народов имеет основополагающее значение для международного права. Ст. 1 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит: “Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие”⁷.

Очевидно, что попытки некоторой группы народов присвоить себе это право на свободное политическое, социальное и культурное развитие спекулятивны. Целый ряд “неясностей и противоречий” снимает Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. Она имеет кодификационное значение для принципа самоопределения народов и определяет формы и способ реализации этого принципа: “Создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на самоопределение”⁸.

⁶ Хартия (Устав) ООН. URL: <https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html> (accessed: 29.11.2019).

⁷ Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (accessed: 29.11.2019).

⁸ Декларация о принципах международного права... (см. сноску 3).

Ни метрополия, ни другие, в том числе влиятельные, государства не имеют права вмешиваться в процесс определения политического статуса самоопределяющегося народа или создавать какие-либо препятствия этому. Единственное условие для реализации этого принципа — “свободное определение статуса самоопределяющимся народом” — возможность свободного волеизъявления народа с помощью референдума. Следовательно, если речь идет о корректной сецессии, то необходимо обеспечить условия для свободного определения народом политического статуса без незаконного применения силы или других очевидных нарушений норм общего международного права.

Выбор сравнимых сецессий и необходимых переменных. Очевидно, что при исследовании сецессий ключевыми факторами выбора сравнимых сецессий являются в первую очередь признак корректности самоопределения, а затем и успешность сецессии.

Поэтому сравнительный анализ сецессий должен состоять из двух этапов: выбор сецессий самоопределения и анализ значений соответствующих переменных этих сецессий для определения причин их успеха или неуспеха. Первый этап позволяет сузить круг сравниваемых сецессий, исключив из него “неправильно” отобранные кейсы, включение которых в анализ может привести к ложным выводам. На этом этапе на основе соответствующих норм международного права выбранные сецессии проверяются на корректность с помощью двух критериев: наличия возможности свободного волеизъявления самоопределяющегося народа по вопросу своего политического статуса и отсутствия военной агрессии со стороны метрополии. Так как успешность сецессии является целеполаганием самоопределения, то целью второго этапа должно быть определение тех переменных, состояние которых стало решающим для более успешных сецессий. Одновременно исследование сецессий с разными уровнями успешности может выделить переменные, которые “ответственны” за тот или иной уровень. Наконец, рассмотрение проблемы по трем измерениям (международно-правовому, (гео)политическому и этнокультурному) позволит выделить основные параметры исследования данной проблемы. Например, при изучении успешности сецессий достаточно проанализировать состояние дел по следующим основным направлениям: проведение референдума; заключение международного суда юстиции (правовая составляющая); этнический состав населения на территории самоопределения; общность цивилизационных ценностей с метрополией (этнокультурная составляющая); наличие военных действий, наличие беженцев (правовая и политическая составляющие); наличие миротворцев; наличие посредников; внешнее международное управление; успешность переговоров между конфликтующими сторонами; наличие геополитических напряжений в регионе конфликта (геополитическая составляющая).

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ моделей сравнительного исследования этнополитических конфликтов и процессов их урегулирования, используемых с этой целью правовых, (гео)политических и этнокультурных переменных, показал:

1. Традиционно применяемые для решения этой задачи двумерные модели с использованием политических и этнокультурных переменных не эффективны для исследования сецессий — наиболее сложных случаев этих процессов, целеполаганием которых является самоопределение.

2. Сложность феномена этнополитических конфликтов, процессов их урегулирования и оценки успешности сецессий требует применения комплексного и междисциплинарного подхода при их исследовании, который может быть обеспечен при построении трехмерных моделей с использованием в качестве переменных факторов как политической и этнокультурной, так и правовой природы.

3. Включение в анализ правовой составляющей — норм международного права — имеет ключевое значение, так как позволяет аналитически разделить конфликты и процессы их урегулирования на две отдельные группы. Причем не только по целеполаганию сторон конфликта, но и по критерию корректности сецессии в отношении следования принципу права народов на легитимное самоопределение. Корректное сравнительное исследование конфликтов и процессов их урегулирования необходимо осуществлять отдельно для каждой из этих двух групп.

4. Применение трехмерного междисциплинарного подхода может быть реализовано в два этапа. На первом этапе предлагается определить характер конфликта с точки зрения соответствия условий самоопределения нормам международного права и разделить конфликты на группы кейсов, соответствующих и не соответствующих этим условиям. Для кейсов каждой из этих групп исследования должны проводиться отдельно с целью обеспечения достоверности и исключения искажений результатов. На втором этапе из группы соответствия этим условиям выбираются сецессии, с которыми будет сравниваться исследуемая сецессия. Основой критериев отбора этих сецессий является целеполагание исследования. Лучше всего подходят для сравнения те сецессии, которые имеют как можно больше переменных, совпадающих с переменными исследуемой сецессии. На втором этапе производится анализ отличающихся переменных, имеющих существенное влияние на ход процесса урегулирования.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.04

CONCEPTUALISING A METHODOLOGY FOR A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SUCCESS OF SECESSIONS

T.S. Torosyan^{1, 2}, A.V. Vardanyan²

¹ Yerevan Bryusov State University of Languages and Social Sciences. Yerevan, Armenia

² Center for Perspective Research and Initiatives. Yerevan, Armenia

TOROSYAN, Tigran Surikovich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Head of Chair of Human Rights, Democracy and Political Science, Yerevan Bryusov State University of Languages and Social Sciences; Scientific Head of the Center for Perspective Research and Initiatives, email: t.tigran@yahoo.com; **VARDANYAN, Arax Vahramovna**, Leading Researcher, Center for Perspective Research and Initiatives, email: a.vardanyan@gmail.com

Torosyan T.S., Vardanyan A.V. Conceptualising a Methodology for a Comparative Analysis of the Success of Secessions. — Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 41-57. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.04>

Received: 01.11.2019. Accepted: 14.10.2020

Abstract. The collapse of two unions — the Soviet Union and Yugoslavia — has not only led to the need for a new world order to be formed and to the creation of more than two dozen UN member states, but also to the increase in the number of ethno-political conflicts by more than a dozen. Some of those that made attempts at secession have been joined to the metropolis through various tools, while the others maintained the status of a de facto state and are seeking to join the UN thereby becoming the states recognized by the

international community and endowed with powers stemming from it. This process has been going on for nearly three decades, but for many this goal will not be achieved in the near future. Moreover, since the early 2000s, the intensified competition in forming a new world order has hardened the conflict resolution processes, since powerful countries try to use the conflict factor to influence the development of this competition. This not only impedes conflict resolution, but also complicates their study. Within studies of ethno-political conflicts and their resolution, it is especially important to assess the success of secessions, since this is directly linked to the purpose of that process. The assessment is often carried out through the method of comparative analysis. The article deals with both quantitative and qualitative models of such analysis. It demonstrates that although the problem is interdisciplinary, the legal component is sidelined in the analysis. To increase the effectiveness of such assessments, it is recommended to use a complex and interdisciplinary approach, conceptualizing the problem and its analysis, and taking into account all three components: legal, geopolitical, and ethno-cultural. In this case, the analysis will be carried out in two stages: a selection of comparable cases of secession, and an analysis of the necessary and sufficient variables.

Keywords: ethnopolitical conflict, secessions, comparative analysis, legal component, (geo)political component, variables, self-determination of peoples, concept of secession analysis.

References

- Apter D.E. 1996. Comparative Politics, Old and New. — *A New Handbook of Political Science*. Ed. by R.E. Goodin, H.-D. Klingemann. Oxford: Oxford University Press. P. 372-397. <https://doi.org/10.1093/0198294719.003.0015>
- Bakke K.M., Linke A.M., O'Loughlin J., Toal G. 2018. Dynamics of State-Building After War: External-Internal Relations in Eurasian de Facto States. — *Political Geography*. No. 63. P. 159-173. <http://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.06.011>
- Blakkisrud H., Kolstø P. 2011. From Secessionist Conflict Towards Functioning State: Processes of State- and Nation-Building in Transnistria. — *Post-Soviet Affairs*. Vol. 27. No. 2. P. 178-210. <http://doi.org/10.2747/1060-586X.27.2.178>
- Blakkisrud H., Kolstø P. 2012. Dynamics of de facto Statehood: The South Caucasian de Facto States between Secession and Sovereignty. — *Southeast European and Black Sea Studies*. Vol. 12. No. 2. P. 281-298. <http://doi.org/10.1080/14683857.2012.686013>
- Burg S. L. 2005. Intractability and Third-Party Mediation in the Balkans. — *Grasping the Nettle: Analyzing Cases of Intractable Conflict*. Ed. by Ch.A. Crocker, F.O. Hampson, P. Aall. Washington, DC: United States Institute of Peace. P. 183-207.
- Caspersen N. 2008a. Separatism and Democracy in the Caucasus. — *Survival*. Vol. 50. No. 4. P. 113-136. <https://doi.org/10.1080/00396330802329014>
- Caspersen N. 2008b. Between Puppets and Independent Actors: Kin-state Involvement in the Conflicts in Bosnia, Croatia and Nagorno Karabakh. — *Ethnopolitics*. Vol. 7. No. 4. P. 357-372. <https://doi.org/10.1080/17449050701618546>
- Caspersen N. 2012. *Unrecognized States: The Struggle for Sovereignty in the Modern International System*. Cambridge: Polity Press. 210 p.
- King C. 2001. The Benefits of Ethnic War: Understanding Eurasia's Unrecognized States. — *World Politics*. Vol. 53. No. 3. P. 524-552. <https://doi.org/10.1353/wp.2001.0017>
- Kolstø P. 2006. The Sustainability and Future of Unrecognized Quasi-States. — *Journal of Peace Research*. Vol. 43. No. 6. P. 723-740. <https://doi.org/10.1177/0022343306068102>
- Kolstø P., Blakkisrud H. 2008. Living with Non-Recognition: State- and Nation-Building in the South Caucasian Quasi states. — *Europe-Asia Studies*. Vol. 60. No. 3. P. 483-509. <https://doi.org/10.1080/09668130801948158>
- Kolstø P., Malgin A. 1998. The Transnistrian Republic: A Case of Politicized Regionalism. — *Nationalities Papers*. Vol. 26. No. 1. P. 103-127. <https://doi.org/10.1080/00905999808408553>
- Kolossov V., O'Loughlin J. 1998. Pseudo-States as Harbingers of a New Geopolitics: The Example of the Trans-Dniester Moldovan Republic (TMR). — *Geopolitics*. Vol 3. No. 1. P. 151-176. <https://doi.org/10.1080/14650049808407612>
- Kriesberg L. 2005. Nature, Dynamics, and Phases of Intractability. — Kriesberg L. *Pioneer in Peace and Constructive Conflict Resolution Studies*. Cham: Springer. P. 63-89. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40751-7_4
- Lijphart A. 1971. Comparative Politics and Comparative Method. — *The American Political Science Review*. Vol. 65. No. 3. P. 682-693. <https://doi.org/10.2307/1955513>

- Lynch D. 2004. *Engaging Eurasia's Separatist States: Unresolved Conflicts and De Facto States*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press. 168 p.
- O'Loughlin J., Kolossov V., Toal G. 2014. Inside the Post-Soviet de Facto States: a Comparison of Attitudes in Abkhazia, Nagorno Karabakh, South Ossetia, and Transnistria. — *Eurasian Geography and Economics*. Vol. 55. No. 5. P. 423-456. <http://doi.org/10.1080/15387216.2015.1012644>
- Pegg S. 1998. *International Society and the De Facto State*. Aldershot; Brookfield, USA: Ashgate. 308 p.
- Popescu N. 2006. *Democracy in Secessionism: Transnistria and Abkhazia's domestic politics*. — International Policy Fellowship. Final research paper. Budapest: Central European University. 27 p. URL: <http://www.policy.hu/npopescu/ipf%20info/IPF%204%20democracy%20in%20secessionism.pdf> (accessed: 29.11.2020)
- Putnam L.L., Wondollock J.M. 2003. Intractability: Definitions, Dimensions, and Distinctions. — *Making Sense of Intractable Environmental Conflicts: Concepts and Cases*. Ed. by R.J. Lewicki, B.L. Gray, M. Elliott. Washington: Island Press. P. 35-59.
- Ryngaert C., Sobrie S. 2011. Recognition of States: International Law or Realpolitik? The Practice of Recognition in the Wake of Kosovo, South Ossetia, and Abkhazia. — *Leiden Journal of International Law*. Vol. 24. No. 2. P. 467-490. <https://doi.org/10.1017/S0922156511000100>
- Smelser N.J. 2003. On Comparative Analysis, Interdisciplinary and Internationalization in Sociology. — *International Sociology*. Vol. 18. No. 4. P. 643-657. <http://doi.org/10.1177/0268580903184001>
- Soder K. 2008. Appendix 3A. Multilateral Peace Operations in 2007. — *SIPRI Yearbook 2008. Armaments, Disarmament and International Security*. Stockholm. P. 113-148. URL: <https://www.sipri.org/sites/default/files/YB08%20113%2003A.pdf> (accessed: 29.11.2020)
- Torosyan T. 2010. *Conflict Resolution in the Framework of the International Law. Case of Nagorno-Karabakh*. Yerevan: Tigran Mets. 336 p.
- Torosyan T. 2013. Resolution of Intractable Conflicts: Nagorno-Karabakh and Kosovo. — *Iran and the Caucasus*. Vol. 17. No. 4. P. 427-441. <http://doi.org/10.1163/1573384X-20130407>
- Torosyan T. 2015. Perspectives of Rights and Challenges of Political Interests in Conflict Resolution: The Cases of Kosovo and Nagorno-Karabakh. — *Essex Human Right Review*. Vol. 10. No. 1. URL: <http://projects.essex.ac.uk/ehrr/v10n1/torosyan-perspectives-of-rights-and-challenges-of-political-interests-in-conflict-resolution.pdf> (accessed: 29.11.2020)
- Torosyan T., Petrosyan M. 2015. Comparative Analysis of Conflicts: Modeling Problems. — *Armenian Journal of Political Science*. Vol. 3. No. 2. P. 121-138. <https://doi.org/10.19266/1829-4286-2015-02-121-138>
- Torosyan T., Vardanyan A. 2015. The South Caucasus Conflicts in the Context of Struggle for the Eurasian Heartland. — *Geopolitics*. 2015. Vol. 20. No. 3. P. 559-582. <https://doi.org/10.1080/14650045.2015.1050717>
- Walker E. 1998. *No Peace, No War in the Caucasus: Secessionist Conflicts in Chechnya, Abkhazia and Nagorno-Karabakh*. Paper, Strengthening Democratic Institutions Project, Belfer Center for Science and International Affairs. URL: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/3042/no_peace_no_war_in_the_caucasus.html (accessed: 29.11.2020).
- Zartman I.W. 2005. Analyzing Intractability. — *Grasping the Nettle: Analyzing Cases of Intractable Conflict*. Ed. by Ch.A. Crocker, F.O. Hampson, P. Aall. Washington, DC: United States Institute of Peace. P. 47-64.
- Zartman I.W., Touval S. 1996. International Mediation in the Post-Cold War Era. — *Managing Global Chaos* Ed. by Ch.A. Crocker, F.O. Hampson, P. Aall. Washington Washington: United States Institute of Peace Press. P. 445-461.
- Meleshkina E.Yu., Kudryashova I.V. 2015. Secession Processes in the Post-Imperial Space: Kosovo, Abkhazia, South Ossetia. — *Urgent Problems of Europe*. No. 1. P. 56-80. (In Russ.) URL: http://legacy.inion.ru/index.php?page_id=352&id=1445 (accessed: 20.11.2020).
- Political Change in a Global World: Theoretical and Methodological Problems of Analysis and Forecasting*. 2014. Editorial Board: I.S. Semenenko (editor-in-chief), V.V. Lapkin, V.I. Pantin. Moscow: IMEMO RAN. 218 p. (In Russ.)
- Semenenko I.S., Lapkin V.V., Pantin V.I. 2016. Classifying Ethnic Conflicts: Challenges for Political Theory and Methodology. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 69-94. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.06>
- Tokarev A.A. 2017. Comparative Analysis of the Post-Communist Secessions: The Prognostic Attempt of Quantification of the Factors' Impact on Secession. — *Polis. Political Studies*. No. 4. P. 106-117. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.08>
- Torosyan T. 2007. An Imaginary Contradiction. — *Russia in Global Affairs*. Vol. 5. No. 4. P. 203-214. (In Russ.) URL: https://globalaffairs.ru/number/n_9224 (accessed: 20.11.2020).

Troitskaya O.V. 2015. Right of Nations to Self-Determination: Evolution of Concept and Practices. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 116-130. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2015.06.12>

Fomin I.V. 2016. Performatives of the Secession of Contested States: South Ossetia, Abkhazia, Kosovo. — *Political Science (RU)*. No. 4. P. 271-284. (In Russ.) URL: <http://inion.ru/site/assets/files/3454/4.pdf> (accessed: 20.11.2020).

Fomin I.V., Ilyin M.V. 2016. What Can Semiotics Contribute to Political Science? — *Political Science (RU)*. No. 3. P. 12-29. (In Russ.) URL: http://inion.ru/site/assets/files/3517/nauka_016_3.pdf (accessed: 20.11.2020).

Литература на русском языке

Мелешкина Е.Ю., Кудряшова И.В. 2015. Сепарации на постимперском пространстве: Косово, Абхазия, Южная Осетия. — *Актуальные проблемы Европы*. № 1. С. 56-80. URL: http://legacy.inion.ru/index.php?page_id=352&id=1445 (accessed: 20.11.2020).

Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и прогнозирования. 2014. Редколлегия: И.С. Семенов (отв. ред.), В.В. Лапкин, В.И. Пантин. М.: ИМЭМО РАН. 218 с.

Семенов И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. 2016. Типология этнополитической конфликтности: методологические вызовы “Большой теории”. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 69-94, <https://dx.doi.org/10.17976/jpps/2016.06.06>

Токарев А.А. 2017. Сравнительный анализ сепараций на посткоммунистическом пространстве: квантификация факторов влияния. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 106-117. <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.08>

Торосян Т. 2007. Мнимое противоречие. — *Россия в глобальной политике*. Т. 5. № 4. С. 203-214. URL: https://globalaffairs.ru/number/n_9224 (accessed: 20.11.2020).

Троицкая О.В. 2015. Право наций на самоопределение: концептуальные подходы и практики применения. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 116-130. <https://doi.org/10.17976/jpps/2015.06.12>

Фомин И.В. 2016. Перформативы сепарации оспариваемых государств: Южная Осетия, Абхазия, Косово. — *Политическая наука*. № 4. С. 271-284. URL: <http://inion.ru/site/assets/files/3454/4.pdf> (accessed: 20.11.2020).

Фомин И.В., Ильин М.В. 2016. Зачем семиотика политологам? — *Политическая наука*. № 3. С. 12-29. URL: http://inion.ru/site/assets/files/3517/nauka_016_3.pdf (accessed: 20.11.2020).

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.05

ОТРАЖЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР В ОБРАЗАХ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО В МАССОВОМ СОЗНАНИИ КИТАЙЦЕВ: ПСИХОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД

А.А. Токарев, А.Ю. Приходченко, А.Р. Маргоев, А.А. Целещев

ТОКАРЕВ Алексей Александрович, кандидат политических наук, старший научный сотрудник, Институт международных исследований МГИМО МИД России, Москва, email: a.tokarev@inno.mgimo.ru; **ПРИХОДЧЕНКО Алексей Юрьевич**, магистрант, МГИМО МИД России, Москва, email: prikhodchenko.a.yu@my.mgimo.ru; **МАРГОЕВ Адлан Рамзанович**, младший научный сотрудник, Институт международных исследований МГИМО МИД России, Москва, email: a.margoev@inno.mgimo.ru; **ЦЕЛЕЩЕВ Алексей Анатольевич**, магистрант, МГИМО МИД России, Москва, email: alexey.tseleshchev@mail.ru

Токарев А.А., Приходченко А.Ю., Маргоев А.Р., Целещев А.А. Отражение внешней политики КНР в образах настоящего и будущего в массовом сознании китайцев: психографический метод. — Полис. Политические исследования. 2021. № 1. С. 58–77. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.05>

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 19-78-10144). Авторы благодарят студентов МГИМО А.В. Федотову и И.Ю. Щедрову за помощь в подготовке статьи.

Статья поступила в редакцию: 16.03.2020. Принята к публикации: 19.08.2020

58

Аннотация. Статья одной из первых в российском китаеведении применяет методы психографического анализа при изучении китайского общества. В работе рассмотрено восприятие двух образов Китая — современного и будущего — в сознании граждан КНР. В ходе полевого исследования в Китае создана база из 189 рисунков, среди которых выделено 785 образов. Эти образы были распределены по 14 контекстам (“природа”, “война”, “политика”, “культура” и др.). Во время сбора рисунков респонденты дополнительно опрашивались авторами вербальным способом для более глубокого понимания рисунков и адекватного выделения образов. Исследование показало высокие ожидания среди граждан КНР от будущего уровня жизни, веру в разрешимость экологической проблемы и опасения по поводу старения населения Китая. В образах будущего преобладают технологии и потребление. Вопреки ожиданиям авторов, образы, напрямую ассоциирующиеся с социализмом или коммунизмом, в рисунках граждан КНР практически отсутствовали. Особое внимание в исследовании уделено образу Китая на внешнеполитической арене и роли российско-китайских отношений. В восприятии граждан КНР Китай, обладая огромным потенциалом и превосходством над многими странами, является мирным государством. Россия не играет значимой роли, но отмечается как важный геополитический игрок и стратегический партнер, а не союзник Китая. Исследование выявило расхождение между рисунками, касающимися роли Китая в мире, и их объяснениями. Респонденты изображали Китай больше и мощнее других стран, однако вербально отрицали тезис о том, что Китай стремится стать “номером один”. То же можно сказать и про образ России как партнера: вербально респонденты отмечали важность отношений двух стран, при этом на большинстве рисунков Россия была изображена примерно так же, как и другие соседи Китая.

Ключевые слова: Китай, Россия, США, китайское общество, визуальная социология, психографический метод, социально-экономическое развитие, экология, международные отношения, внешняя политика.

Есть международный, внутривластный и культурный факторы, которые диктуют необходимость изучения современного Китая.

1) Уровень взаимного политического доверия поистине высок, но уровню экономического взаимодействия России и Китая еще далеко до взаимозависимости американской и китайской экономик, несмотря на политические противоречия между державами.

2) С 2013 г. Китай резко повысил свою внешнеполитическую активность, выдвинув инициативу “Один пояс — один путь”, стимулирующую межрегиональное взаимодействие в Евразии и выстраивающую завязанную на Поднебесную систему сотрудничества. Страна усиливает свою роль в реформировании системы глобального управления, интересуется разработкой ресурсов Арктики и развивает космическую программу.

3) Активизация внешней политики сопровождается исключительно мирной риторикой. “Сообщество судьбы” [Семенов, Цвык 2019: 547-554]¹ — идеологема, выдвинутая уходящим лидером КНР Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК в 2012 г. и озвученная новым главой страны Си Цзиньпином весной 2013 г., — призывает все страны сплотиться ради обеспечения всеобщего развития. Концепция “китайской мечты” о сильном и богатом Китае также имеет внешнее измерение: у каждой страны есть своя мечта, они не противостоят друг другу, но достичь их можно только совместными усилиями. С другой стороны, Китай ужесточает позицию по защите национальных интересов. Он вступает в “противостояние” и с государственными, и с частными акторами: с Японией (кейсы спорных островов Сэнкаку/Дяоюйдао; обстановка остается спокойной после обострения в 2012 г.), с Индией (строительство дороги на плато Доклам в Бутане), создание искусственной суши в Южно-Китайском море для повышения степени контроля над ним, применение санкций в отношении компаний, позволяющих себе неаккуратные высказывания о Китае (дом моды “Версаче”, английский ФК “Арсенал”, американский БК “Хьюстон Рокетс” и др.). Позиция Китая подробно излагается в официальных документах. Но эти тексты — перепроверенные до последнего слова — все же отражают точку зрения государства и не могут полностью формировать образ мыслей граждан, несмотря на активную работу пропаганды и политвоспитания. Активизация внешней политики Китая и неизбежное противоречие между декларируемыми идеалами и практикой, несоответствие уровней политического и экономического взаимодействия между нашими странами, статус КНР как одного из центров силы, наконец, география соседства — предопределяют важность понимания для России, чего на самом деле хочет Китай, как он видит этот мир и себя в нем.

Выбирая метод для полевых исследований в Китае, мы исходили из анализа нескольких факторов: 1) языковой барьер, 2) закрытость китайского общества, 3) миролюбие китайского государства, подчеркиваемое публично самими китайцами при определении типа внешней политики, 4) огромный объем генеральной совокупности. Из-за последнего пункта мы сразу отбросили все количественные исследования — собрать репрезентативную по возрасту выборку в КНР под силу лишь гигантским институтам. Явная неконфликтность китайцев и их низкий уровень доверия по отношению к “внешним”

¹ Существует несколько вариантов перевода выражения 人类命运共同体. Китайцы чаще переводят его как “сообщество единой судьбы человечества” или “сообщество человечества с единой судьбой”. Мы используем версию перевода российских ученых и дипломатов.

людям, особенно к иностранцам², продиктовали необходимость выбора того метода, который может выявлять бессознательные, т.е. в отличие от дискурса неконтролируемые сознанием, паттерны. Наконец, перед нами стояла задача использовать метод, способный преодолеть цензуру написанных и сказанных слов. Так мы поняли необходимость визуализации образов респондентами.

Как и в дискурс-анализе, в котором контекст важен не менее самого текста, анализ визуальных образов часто предполагает исследование не только их сути, но и формы, методов и обстоятельств создания, что относится к предмету визуальной социологии. “В настоящий момент в визуальных исследованиях различимы четыре парадигмы: натурализм (с ориентацией на позитивистскую методологию), структурализм (с ориентацией на системно-семиотический анализ), конструктивизм (с ориентацией на анализ ситуации возникновения и функционирования явления, в том числе и дискурсивный анализ) и феноменология (с ориентацией на анализ смысла)” [Пирогов 2013]. Мы использовали феноменологический подход, поскольку нас интересовала не конструкция образов, не дискурсивное описание контекста вокруг их создания, наконец, не натурализм, возможный в фотографиях, передающих непосредственно окружающую среду, но изучение рисунков, транслирующих восприятие политических феноменов. Отбросив ненужные в данном случае аналитические манипуляции с формой рисунков, на стыке визуальной социологии и политической психологии, мы выбрали “чистый” анализ образов, данных нам в рисунках.

В российской политической науке существует ряд заслуживающих внимания исследований, в которых применяется психографический метод. С.В. Гуреев в методологической статье “Анализ рисунков в социологических исследованиях” подробно описывает процесс социологического исследования “Левада-Центра”, одной из задач которого являлось выяснение образа России, существующего в городской молодежной среде, и отношения к России как социальному объекту [Гуреев 2007]. Проективный анализ рисунков в исследовании образа России и российской власти широко представлен в работах Е.Б. Шестопаля. Сравнение рисунков осуществлялось по трем категориям интерпретации: содержательный, технический и символический. Шестопаля, помимо визуальной, использовала и вербальную методику, а также ассоциации с животными и запахами [Шестопаля 2018].

Мы не использовали психографический метод во всей его полноте, как делали коллеги, в том числе применяя к Китаю [Мельникова 2018; Сунь 2017а]. По нашему глубокому убеждению, применять количественный анализ в качественных психографических исследованиях с малой выборкой нерелевантно генеральной совокупности. Использование качественного — психографического метода позволяет уловить тренды, но не подразумевает точного, выраженного в цифрах анализа, сколько человек в процентах воспринимают Китай как миролюбивую панду, а сколько видят в нем агрессивного тигра.

Особо подчеркнем, упреждая возможную критику и китаистов, и “количественных” социологов о невозможности экстраполировать результаты исследования небольшой общности на крупнейшую национально-государственную массу (1,3 млрд респондентов), эффективность психографического

² Для китайцев свойственно четкое разделение на “своих” и “чужих”. Последних обозначают в том числе и с помощью слова “внешний” (外), например: 外地人 (пришлый, неместный), 外行 (профан), 老外 (снисх. иностранец).

метода в частности, и качественных социологических методов вообще. По собственному опыту и данного исследования, и более ранних [Токарев 2010], и тех, которые уже проведены, но не опубликованы (восприятие массовым сознанием Донбасса конфликта на Юго-Востоке Украины), можем заверить читателя, что поначалу совершенно различные образы, создаваемые незначительными людьми за тысячи километров друг от друга, составляющие весьма пеструю картину, в какой-то момент начинают повторяться, складываясь в единые тренды. Именно в это время мы начинаем схватывать “массовое” сознание через исследование небольшой общности качественными, а не количественными методами прикладной социологии.

Еще одна особенность психографического анализа — это возможность сравнить идеи высказанные и нарисованные. Е.Б. Шестопал ярко описывает подобные противоречия в российской политике: вербально респонденты негативно воспринимали В.В. Жириновского и позитивно Г.А. Явлинского и Е.Т. Гайдара, но их электоральный выбор оказывался прямо противоположным [Власть и лидеры... 2019]. Нередко можно найти различия и даже противоречия между вербальной и визуальной картинками, что получилось и у нас.

Мы принципиально не применяем методики команды Е.Б. Шестопал [Власть и лидеры... 2019], анализирующие форму рисунков — плотность заполнения листа, степень прорисованности изображений, дихотомии “закругленность/острота”, “нетривиальность/стереотипность”, на основании которых делаются выводы о бессознательном респондентов [Ван, Бокова 2016]. По нашему опыту использования психографического метода в таких разных культурах, как российская, китайская и украинская, можем уверенно сказать, что самый важный фактор, который оказывает влияние на создание формы образов, — умение рисовать, а не подсознательное восприятие политических феноменов. Часто респонденты, жалуясь на отсутствие полезных навыков, “дообъясняют” образ словами. Недавний пример: один из респондентов (китайский профессор), перевернув бумажный стаканчик, просто обвел его три раза. Получившееся пересечение кругов он долго объяснял через разнообразие культур, религий и идеологий, которые исторически переплетались в Китае. Максимально простой схематичный рисунок, если бы мы использовали анализ его формы, стал бы объектом минимальной трактовки. В реальности автор объяснял нам глубокий смысл образа, который он так просто изобразил. Кроме того, некоторые респонденты срисовывали рисунки из интернета, найдя в поисковике нужное изображение. В том числе поэтому нас интересовали образы, а не навыки рисования и анализ формы рисунков.

От политической психологии мы взяли “чистый” психографический метод, от натуралистической парадигмы визуальной социологии — структуру анализа образов польского социолога П. Штомпки по 6 аспектам и 15 контекстам. К этим аспектам относятся личность, коллективность, действие, взаимодействие и общественные отношения, культура и среда. Контексты относятся к экзистенциальным характеристикам жизни человека (дом, работа, потребление, перемещение в пространстве, болезнь, смерть) и к его существованию в обществе (образование, религия, политика, наука, искусство, отдых, спорт, война и природные катастрофы) [Штомпка 2007: 32-33]. Данная методология позволяет детально проанализировать образы, содержащиеся на фотографиях или рисунках.

Вопрос о восприятии Китаем себя и внешнего мира не является новым, но его актуальность растет так же быстро, как растет сам Китай, которому еще предстоит найти свое место в международной политической системе. В зарубежной (относительно Китая) литературе популярен заголовок *How China Sees...* или его вариации [Friend, Thayer 2018; Feng, He, Li 2019; Nathan, Scobell 2012: 32-47; Ying 2016: 96-105]. В этих работах рассматриваются точки зрения китайских ученых, а также дискурс по этим вопросам внутри Китая.

В китайской литературе основное место занимают дебаты о внешнеполитическом завете Дэн Сяопина 韬光养晦, который можно условно перевести как “держаться в тени”. Осознавая растущие возможности своей страны, китайские исследователи пытаются определить оптимальное место Китая в системе международных отношений (в частности, осветить вопросы мирного возвышения Китая, его роли как ответственной державы, китайско-американских отношений) [Friend, Thayer 2018; Сяоцзюнь 2009; Тинян 2005; Фань, Шэнли 2017; Сян 2016: 6-8].

Самовосприятие Китая преимущественно рассматривается с точки зрения традиционной культуры. Ученые стремятся объяснить, как различные категории, начиная от философских учений и концепций, заканчивая историческими событиями и памятью о них, влияют на внешнеполитическое поведение страны в настоящем [Кочетков, Цюн 2007; Корсун 2008; Jacques 2012; Callahan 2010; Воскресенский 2004].

Однако мы находим мало работ, которые рассматривают с позиций политологии или науки о международных отношениях точки зрения более широкой аудитории китайцев: простых людей, молодежи и в целом тех, кто далек от экспертных кругов [Шэньмин 2009]³. Исключением являются исследования национализма [Zheng 2010]. С одной стороны, это связано с пассивностью большинства китайцев в политической сфере и ограниченным влиянием общественного мнения на выработку внешнеполитических решений [Schneider 2018]⁴. Также национализм рассматривается как фактор легитимизации правящего положения КПК, т.е. представляет для ученых интерес с точки зрения внутренней политики Китая.

Научная проблема данной работы имеет политологический уклон: между принципиально мирной риторикой Китая и его настойчивыми внешнеполитическими действиями есть явное противоречие. Объединительный официальный дискурс, идеологема “судьбы человечества”, подчеркиваемое миролюбие китайского общества сосуществуют с наращиванием военной мощи, экономической экспансией в Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку, навязыванием некоторыми китайскими компаниями жесткой экономической конкуренции, включая так называемые долговые ловушки, наконец, с самоощущением китайцев как представителей самой великой цивилизации. Каким образом эти противоречия будут разрешены? Какое место занимают Китай, Россия и США в сознании самих китайцев? Мы пытаемся найти конкретные образы, через которые китайцы осознают свою страну и ее место в мире, определив, как они влияют на внешнюю политику Китая. Мы не стремимся развивать методологию визуальной социологии и политической

³ В основном эти работы касаются восприятия других стран.

⁴ На этом фоне выделяется поведение китайцев в цифровом пространстве. Их активность в интернете привлекает пристальное внимание ученых.

психологии, но пытаемся внести лепту в развитие отечественного китаеведения и его социологического крыла, одними из первых используя анализ образов для исследования внешней политики.

Исходя из страноведческих знаний о Китае, цели выявить специфику восприятия китайцами своего государства и его соседей в призмах внешней и внутренней политики и возможностей психографического метода по верификации наших гипотез, мы предложили следующие гипотезы:

Н1. Самовосприятие китайцев базируется на аксиоме “Китай – величайшая в мире цивилизация, существующая пять тысяч лет”. Тип мировой политической системы, тип отношений с Западом (полуколониальная зависимость, противостояние, сотрудничество, конкуренция) – не объективные константы развития Китая, а лишь инструменты, способствующие или отягчающие его внешнюю политику. Китай был, есть и будет, несмотря на любые внешнеполитические события.

Н2. Соседи Китая неизбежно будут подвергаться его экономическому и культурному влиянию. Сильный Китай – это возможность развития для них, а не угроза. Цель КНР – добиться “возврата” к китаецентричной системе международных отношений: мирная доминация⁵ Китая в регионе Большой Восточной Азии [Воскресенский 2010] за счет экономического и культурного потенциала.

Н3. Ввиду культурно-цивилизационных особенностей и особенностей политического развития Китая в последние десятилетия сознание китайцев деидеологизировано: мы не ожидаем встретить целостных идеологических концепций.

Н4. В связи со сложившейся политической конъюнктурой мы ожидаем однозначную оценку России как “друга”, а США как “врага”.

63

МЕТОДОЛОГИЯ

Сбор рисунков происходил в ходе полевого этапа в Пекине и Шанхае в ноябре-декабре 2019 г. Мы попросили респондентов нарисовать, как они представляют Китай сегодня и через двадцать лет. Респондентами стали китайские студенты и сотрудники четырех университетов, а также специалисты других *think tanks*. Встречи проходили в формате фокус-групп (более 5 человек), индивидуальных и групповых глубинных интервью (менее 5 человек). Выборка не дифференцировалась по половозрастным характеристикам.

Коллеги-китаисты предупреждали, что Китай становится более закрытой страной и респонденты не будут соглашаться на интервью и участие в фокус-группах, не говоря уже о том, чтобы рисовать при нас образы своей страны и передать нам рисунки для дальнейшего анализа с незнакомой им методологией. Вопреки ожиданиям, абсолютное большинство респондентов согласилось принять участие в эксперименте.

В работе с респондентами возникали стандартные для такого исследования вопросы: за редким исключением они утверждали, что не умеют рисовать; многие спрашивали о том, что с рисунками будет происходить дальше. Мы убеждали их, что нас интересуют не художественные характеристики образов и географическая точность карт при их наличии, а смысловая интерпретация

⁵ Здесь под доминацией мы понимаем отсутствие внешнеполитических акторов, способных оспорить интересы Китая.

образов. Некоторые пользовались подручными средствами для создания геометрических фигур или срисовывали изображения из интернета, но для нас важно было раскрыть авторское наполнение этих образов и понять, какие смыслы они вкладывали в свои рисунки. В ходе интервью и фокус-групп мы также просили респондентов устно объяснить, что изображено на рисунках и какой смысл они вкладывают в нарисованные образы.

Авторов убедили в том, что они останутся анонимными. Мы получили базу из 97 рисунков о настоящем и 92 рисунка о будущем. В каждом рисунке мы выделили неделимые образы, т.е. такие, из которых нельзя выделить новые: если в песочнице играют дети, то “дети”, “песочница”, “дом” и “дерево” кодировались как отдельные образы. Опираясь на методологию социолога Штомпки, создали таблицу из 14 столбцов и 3 строк. По столбцам распределили 14 важнейших контекстов – сфер жизни, через которые человек познает мир, формирует свой жизненный опыт: “природа”, “культура”, “война”, “дом”, “потребление”, “болезнь”, “образование” и др. В названиях строк указали три аспекта – “личное”, “коллективное” и “обезличенное”. Мы модифицировали методологию Штомпки, добавив “технологии” как значимую сферу жизни китайцев, включив туда контекст “науки”, и убрав “религию”, выделили “культуру”, при этом сократили аспекты анализа с шести до трех, поскольку степень детализации у рисунков меньше, чем у фотографий, для анализа которых Штомпка и разработал методологию. Каждый из неделимых образов мы зарегистрировали в сформированной таблице, а затем подсчитали результаты. Некоторые образы оказывались в нескольких ячейках, поскольку попадали не в один контекст.

64

РЕЗУЛЬТАТЫ

В рисунках респондентов мы насчитали 433 образа настоящего и 352 образа будущего. Всего обработано 785 образов (см. рис. 5)*⁶.

Наибольшее количество образов вошло в аспект “обезличенность” (620); аспекты “личность” (81) и “коллективность” (84) значительно отстают. Когда мы просили респондентов изобразить Китай, ответить на вопрос “что для вас современный/будущий Китай?” многие участники рисовали культурные и политические символы или объекты природы (контексты “политика” (211), “природа” (184), “технологии” (114), “культура” (89)). “Политику” мы трактовали широко, включая туда рисунки карт, государственные символы, собрания людей и т.д. Это частично объясняет, почему к “политике” относится наибольшее количество образов.

В аспекте “личное” наиболее распространенный образ – “природа” (28): это единичные изображения животных, прежде всего панд. В рамках “коллективности” больше всего образов из контекста “политика” (51).

Разница между суммарным количеством образов настоящего (433) и будущего (352) значительна. Это объясняется, во-первых, большим количеством рисунков, изображающих современный Китай, чем Китай будущего. Во-вторых, респонденты подробнее описывали образ современности.

⁶ Здесь и далее * означает, что смотреть рисунок следует в приложении к статье на сайте журнала <https://www.politstudies.ru/> в разделе “Архив журнала” – 2021 – No 1. Токарев А.А., Приходченко А.Ю., Маргоев А.Р., Целешев А.А. Отражение внешней политики КНР в образах настоящего и будущего в массовом сознании китайцев: психографический метод.

Представить будущее было труднее, и некоторые высказывались устно. В образах настоящего преобладают “политика” (124 против 87), “культура” (72 против 17). Обратная ситуация наблюдается в контекстах “потребление” (18 против 29) и “технологии” (45 против 69). Учитывая, что эти два контекста часто встречаются вместе (например, “умная” доставка товаров), можно утверждать, что зажиточная высокотехнологичная жизнь — образ желаемого будущего в массовом сознании китайцев. Падение показателей контекстов “политика” и “культура” в будущем можно отчасти объяснить тем, что респонденты рисовали образ будущего сразу вслед за образом настоящего, поэтому большинство не дублировало непреходящие символы китайской цивилизации, а концентрировались исключительно на изображении тех явлений, которые будут отличаться от сегодняшней жизни. Контекст “природа” равномерно присутствует в образах настоящего и будущего (98 против 86). Все, за исключением одного, носят позитивный характер, что свидетельствует о важности тематики окружающей среды в сознании китайцев.

Зафиксировав наиболее заметные результаты “количественного” анализа, мы переходим к качественному анализу образов. Заранее имея “сетку” контекстов и аспектов, куда распределяются образы, мы не можем делать выводов, не разобравшись, что нарисовано на конкретных рисунках. Часть из них не подпадает в чистом виде под представленные категории и требует дополнительного разъяснения.

“Политика” — наиболее часто встречающийся контекст (211 образов). Значительное число респондентов рисуют карту Китая (31) (см. рис. 1). Мы можем выделить две особенности. 1) В абсолютном большинстве случаев респонденты отмечают острова Тайвань и Хайнань. Рисунки подтверждают важное значение воссоединения с Тайванем для массового сознания. Мы не просили респондентов рисовать именно *карту* Китая и акцентировали внимание на то, что нам не важны детали рисунков. 2) Респонденты отмечают на картах и акваторию Южно-Китайского моря. Сравните с восприятием россиянами своей территории: уникальный случай, когда акваторию целого моря определяют как территорию государства. В частности, карты *Baidu*, крупнейшего поисковика в Китае, также определяют Южно-Китайское море как территорию Китая⁷. В рамках теоретического дискурса данная проблема обозначается как разница между абсолютным (географическим — объективно измеряемым) и относительным (тем, на которое массовое сознание проецирует свои представления о территории) пространством [Окунев 2019: 447]. Один из верифицированных выводов нашего исследования: восприятие собственной территории, включающей акваторию, и чувствительное отношение к территориальным вопросам.

Следующим по частоте упоминания образом является флаг КНР (24). На некоторых рисунках образ пяти звезд изображается в виде солнца (см. рис. 6)*. Учитывая важную роль солнца как основного источника жизни и его образ как один из самых позитивных в “непустынных” культурах, можно утверждать, что это свидетельствует об особом, глубоком почитании государства.

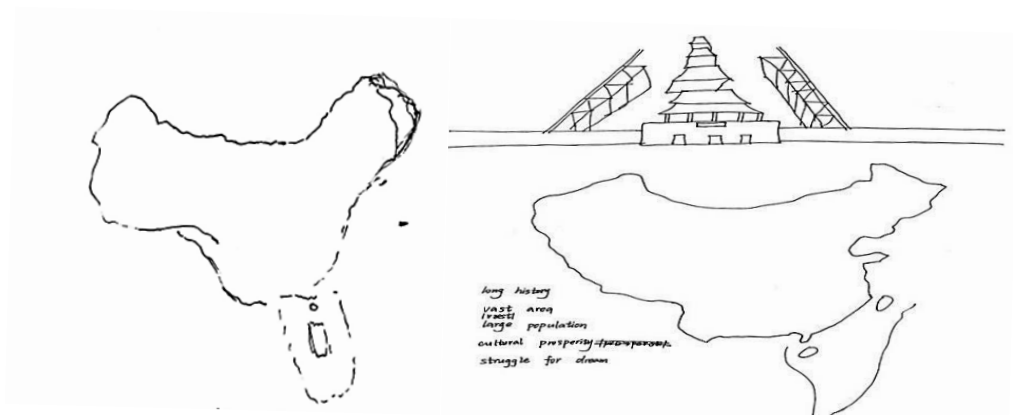
Образ ворот Тяньаньмэнь (14) многозначен (см. рис. 7)*: мы относили его в контексты и “политика”, и “культура”. Согласно уточнениям респондентов, этот образ символизирует и ворота, и Запретный город, бывший дворец им-

⁷ *Baidu. Map*. URL: <https://map.baidu.com> (accessed 22.02.2020).

ператоров Китая, и власть в целом. Именно отсюда Мао Цзэдун провозгласил создание КНР. Именно на площади перед Вратами Небесного Спокойствия (на китайском “Тяньаньмэнь”) проходят парады по случаю национальных праздников. Значение этого символа можно сравнить с Кремлем в нашей стране.

Рисунок 1 (Figure 1)

Карты КНР Maps of the PRC



Второй по частоте контекст — “природа” (184). Образы можно условно разделить на две большие группы — изображения животных, прежде всего панд (10) (см. рис. 2), и пейзажи (18).

Рисунок 2 (Figure 2)

Образ панды Image of a Panda



Большая панда является одним из самых знаменитых образов Китая и служит делу продвижения позитивного имиджа КНР за рубежом (“дипломатия панд”). Респонденты также отмечают безобидный характер панд; отождествляя Китай с ними, участники опроса подчеркивают миролюбие китайской

внешней политики и отсутствие угрозы другим странам. Рисунки дракона, еще одного символа Китая, встречаются гораздо реже (5) (см. рис. 8)*, при этом рядом с драконом часто присутствует панда или заяц. Если первый, по словам респондентов, символизирует силу и мудрость, то панда и заяц — мягкий и безобидный характер.

Среди пейзажей чаще всего встречается образ горы (см. рис. 9)*. Подчеркнем всегда позитивный характер рисунков, изображающих природу; это касается образов как настоящего, так и будущего. Лишь один рисунок явным образом изображает ухудшение экологической ситуации в будущем. Респонденты в ходе бесед признают наличие экологической проблемы в Китае, но в рисунках и устных объяснениях подчеркивают усилия руководства страны по борьбе с загрязнением окружающей среды. Абсолютное большинство респондентов считают (или надеются), что в будущем ситуация улучшится (см. рис. 10)*. Если в образах настоящего изображение панды занимает существенную долю контекста “природа”, то в образах будущего подавляющее большинство рисунков содержат именно пейзаж.

Отдельно в рамках контекста “природа” стоит образ дерева (13) (см. рис. 11)*. Его можно разложить на несколько составляющих. Во-первых, в образе настоящего все респонденты отмечали, что они изобразили молодое дерево (или дерево, которое не выросло до конца), что свидетельствует о вере китайцев в потенциал развития своей страны. Как правило, в образе будущего те же самые респонденты рисовали большое и могучее дерево⁸. Во-вторых, дерево обладает пышной листвой. Она “защищает от дождя и сильной жары”, что можно рассматривать как доверие к государству и веру в то, что оно защищает интересы людей. В-третьих, на дереве часто изображаются различные плоды, которыми может воспользоваться каждый. Дерево — это яркий образ, с помощью которого респонденты выражают свое доверие к государству и веру в его потенциал.

Технологии (114) — еще один часто встречающийся образ в рисунках респондентов. В образах настоящего превалирует высокоскоростной поезд (8 рисунков) (см. рис. 12)*; иногда отдельно подписывается и название этого поезда — “Возрождение” (复兴号), это самый часто встречающийся тип высокоскоростных поездов в Китае. Поезд зачастую изображается сам по себе, железная дорога, за редким исключением, никуда не ведет. Поезд рисуется как технологическое достижение страны, а не как средство передвижения или метафора устремленности к неким целям.

Другим ярко выраженным образом достижения технологического развития Китая является образ интернет-технологий и смартфона (12) (см. рис. 13)*. В образах настоящего это технология 5G, которая зачастую изображается самостоятельно, хотя иногда имеет связку со смартфоном. В образах будущего респонденты рисуют развитие этой технологии (6G, 10G, 25G и т.д.). Смартфоны и 5G изображаются в контексте соперничества США и Китая, при этом в будущем Китай неизменно опередит США в этой области. У американцев будет на 1G “меньше”, а смартфоны Apple уступят Huawei (см. на яблоко в когтях орла и цветок в когтях дракона на рис. 3). Несмотря на осторожность в оценках комплексной мощи Китая⁹, большинство респондентов верят, что Китай в будущем будет иметь технологическое преимущество перед США.

⁸ Один респондент изобразил то же самое при помощи солнца: настоящее — это раннее утро, а будущее — утро позднее, когда солнце уже высоко, но все еще не в зените.

⁹ “Комплексная мощь государства” — это интегральный показатель развития государства в различных областях. Он широко используется в Китае.

Образ соперничества США и КНР в сфере технологий
Image of the US and China Rivaling in the Technology Sphere



68

В качестве несоответствия официального вербального дискурса и визуальной картины отметим отсутствие темы социализма в образе будущего Китая — лишь один респондент нарисовал дорогу “социализма с китайской спецификой” (официальной китайской идеологемы, описывающей современную систему), которая приведет к исполнению “китайской мечты”. Хотя вербально некоторые респонденты затрагивали эту тему и пытались объяснить суть социализма, нам не удалось получить целостное идеологическое представление о нем: методом социализма была названа “рыночная экономика”, а конечный результат похож на создание богатого общества высокотехнологичного потребления. Эти результаты подтверждают предыдущие наблюдения о деидеологизированности сознания китайцев.

В образах будущего немало рисунков (20) посвящены собирательному изображению автоматизации: роботы, автопилотные машины, индивидуальные летательные аппараты, “умная” логистика (см. рис. 14)*. Респонденты в своих объяснениях делают акцент на то, что технологии в будущем будут облегчать ежедневный труд и способствовать повышению уровня жизни. Все эти технологии будут доступны для простых людей. В связи с этим мы также относим эти образы к категории “потребление”.

Контекст “культура” также включает в себя немало образов (89). Образы “культуры” можно разделить на две большие составляющие — культурно-исторические символы и символы “бытовой” культуры (застолье, еда). Площадь Тяньаньмэнь и окружающая ее местность имеют не только политическое, но и важное культурное значение: через этот символ китаец осознает свою причастность к цивилизации с тысячелетней историей. Похожим символом является и Великая Китайская стена: ее двухтысячелетняя история свидетельствует о древности и непоколебимости Китая.

Еда занимает особое место в китайской культуре [Chang 1977: 429]; процесс приготовления пищи и ее употребления включает в себя множество правил.

Среди изображений еды наиболее частым является обеденный стол (6). Этот образ дополнительно символизирует единение семьи за (возможно) праздничной трапезой, поэтому мы его также отнесли к контексту “дом”. Несколько респондентов нарисовали отдельно пельмень (4).

Несмотря на то, что контекст “дом” содержит значительное количество образов (70), большинство относятся к понятию “дом” как “строение”, а не “место проживания” или “семья”. Большинство респондентов рисуют высотные здания, некоторые — образы района Пудун в Шанхае, нового города в Гуанчжоу или знаменитое здание — “штаны” CCTV в Пекине (см. рис. 15)*.

Все эти образы символизируют успешную урбанизацию Китая. Часть участников указывают на разрыв между городом и деревней, подчеркивая его жирной линией. С этим перекликается проблема неравномерного распределения доходов: изображаются две человеческие фигурки, одна с купюрой, а другая — без.

Образов, посвященных темам “город — деревня” и “богатые — бедные”, не так много, но о них участники опроса охотно говорили в ходе интервью как об одном из вызовов развитию Китая, хотя мы предупреждали, что нам не интересны внутренние проблемы в данном исследовании. Повторение образов “экологии”, “технологий” и проблем социального неравенства свидетельствует о восприимчивости китайцев к партийному дискурсу: инновации, создание “экологической цивилизации” и развитие деревни — это приоритеты, которые перед собой ставит руководство страны. Данное наблюдение отличается от предыдущих оценок, что партийная пропаганда¹⁰ “не доходит” до людей [Сунь 2017b]. Цзян Цзэминь и в особенности Ху Цзиньтао нередко подвергались критике за оторванность их концепций от общества. Американский китаевед Дэвид Шамбо метко окрестил тогдашнюю идеологию КПК как “мешанину (*mish-mash*) слоганов, которые мало кто понимает и в которые мало кто верит... в итоге если смысл (*message*) становится далек от реальности, то лишь вопрос времени, когда говорящего (*messenger*) привлекут к ответу” [Shambaugh 2007: 58; Борох, Ломанов 2006; Бояркина 2011; Борох, Ломанов 2012]¹¹. Важно отметить эффективность работы партийной пропаганды после 2013 г. по донесению своего меседжа, пусть и по большей части не оформленного в массовом сознании в виде идеологических концепций.

Аспекты “потребление” (47) и “путешествия” (40) не играют самостоятельной роли. Перемещение в пространстве исключительно сочетается с пейзажем (проезжающие машины в городе), с поездами (высокоскоростные ж/д мы относили и в эту категорию) или с потреблением (человек сидит в индивидуальном средстве передвижения). В образах “потребления” стоит упомянуть изображение денег как символа богатства. Подчеркнем, что указываемая валюта — преимущественно китайский юань. Подобные образы мы чаще встречаем в изображениях будущего. В ходе дискуссий и объяснений рисунков респонденты подчеркивали более широкое понимание благосостояния: оно не ограничивалось финансовым достатком, а включало в себя доступ к общественным благам и пользование ими.

¹⁰ В китайском языке “пропаганда” не имеет отрицательной коннотации. Мы используем это слово в нейтральном смысле.

¹¹ Тем не менее при Ху Цзиньтао была переосмыслена и возобновлена работа по внутренней и внешней пропаганде, сглаживанию растущих социальных противоречий и созданию позитивного образа Китая за рубежом.

В ходе анализа рисунков мы натолкнулись на темы и сюжеты, которые представляют интерес, но не могут быть вписаны в какой-либо из данных контекстов: снижение рождаемости и старение населения, взаимосвязанность стран мира, иерархия, российско-китайские отношения. Темы рождаемости и старения населения мы объединили в одну, так как они взаимосвязаны через свой демографический “бэкграунд”. Рисунки показывают, что эта проблема активно присутствует в массовом сознании китайцев, причем большинство рисунков (7 из 8) изображают эту тему в образах будущего. Несмотря на высокий уровень доверия респондентов к государству, именно проблему старения участники опроса считают неразрешимой: шесть из семи рисунков изображают старое население в образе будущего. Примечательно и то, как респонденты изображают семью: она состоит из трех человек — родителей и одного ребенка, в то время как руководство Китая сейчас проводит политику по стимулированию рождаемости.

Любопытна и тема взаимосвязанности стран мира. Респонденты изображают людей, взявшихся за руки, флаги стран, связанные одной нитью, или земной шар, на котором или внутри которого нарисованы фигурки людей (10 рисунков). Иногда фигурки рисуют разными цветами, чтобы подчеркнуть, несмотря на разнообразие, дружбу и сплоченность народов всего мира. В своих объяснениях респонденты ссылаются на концепцию “сообщества судьбы”. К удивлению авторов, эта концепция оказалась наиболее популярной идеологией, которая встречалась намного чаще, чем “социализм с китайской спецификой” или “китайская мечта”. Респонденты верят, что в будущем у Китая будет много друзей, крупные конфликты окажутся преодолены, а Китай станет важным звеном, обеспечивающим гармоничные отношения между странами мира.

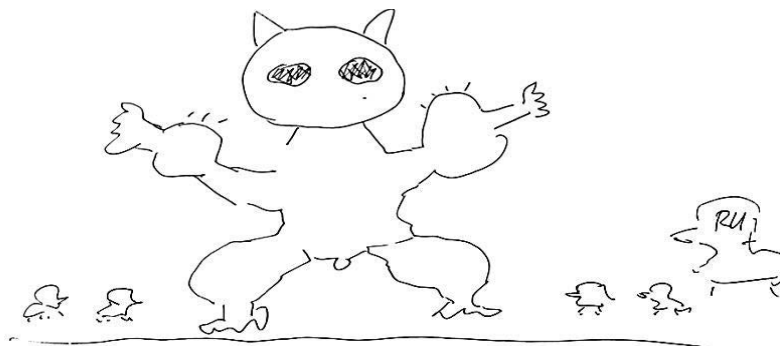
Несмотря на миролюбивую повестку, транслируемую респондентами, имеется и осознание превосходства потенциала своей страны, как минимум, над соседями, что отражается в “иерархиях”. Мы нашли три образа — лес, корабли и солнечная система (9 рисунков), — где Китай изображается явно сильнее остальных. В лесу Китай — самое большое дерево, окруженное кустарниками и травой, которые символизируют другие страны; Китай изображается и в виде крупного военного корабля, сопровождаемого дружественными катерами; в солнечной системе Китай — крупная планета, вокруг которой вращаются спутники.

Особо выделяется изображение огромной “уродливой” (со слов респондента) панды с мускулами, также окруженной цыплятами. “Панда хоть и пытается казаться милой, но ее все равно боятся”. Россия на фоне этой панды — маленький цыпленок (см. рис. 4). При этом большинство респондентов утверждали, что Китай не стремится стать номером один — это, с точки зрения участников опроса, неправильная логика: если есть номер один, то всегда будет кто-то, кто захочет стать первым, что приводит к конфликтам; Китай же самодостаточен, ему важно занять достойное место с учетом своих размеров.

Тема мускулов также упоминается в рисунках респондентов (5 раз). Один из участников опроса нарисовал баскетболиста, отметив его мышцы и хорошую физическую форму. Через образ спортсмена респондент подчеркивает ответственность Китая в распоряжении своей силой.

Рисунок 4 (Figure 4)

Образ мускулистой панды
Image of a Muscular Panda



Остальные образы более примитивны и не были растолкованы респондентами. Тем не менее эти рисунки дают основание полагать, что часть китайцев осознают возросшую мощь своего государства, особенно учитывая равномерное распределение этой темы между образами прошлого и будущего. При этом многие респонденты считали, что по показателю комплексной мощи государства Китай уступает и России, и США¹², а экономическая мощь не является определяющим элементом. Здесь мы фиксируем определенное противоречие между устными утверждениями респондентов и тем, какие образы они рисуют.

Последней темой мы выделили российско-китайские отношения (6 рисунков). Респонденты рисуют позитивные образы отношений между двумя странами: Россия и Китай изображаются или как медведь и панда, или как человеческие фигурки, или как флаги, или условные карты стран, держащиеся за руки или явным образом связанные между собой (см. рис. 16)*. Нередко в рамках этой темы изображаются США, чей образ имеет по большей части отрицательный оттенок: от соперничества до вражды. Часть респондентов не выказывали «воинственности» и заявляли, что отношения соперничества или сотрудничества с США зависят от самих США, тогда как Китай настроен на сотрудничество с любой страной. При этом Россию называют «партнером» и «другом», однако большинство респондентов отвечали отрицательно на вопрос, являются ли наши страны союзниками¹³. В целом вербальная часть «полевого» этапа нашего исследования требует отдельных количественных и качественных методов и будет обстоятельно освещена позднее.

Тем не менее на рисунках, изображающих Китай среди других стран (как правило, Восточноазиатский регион), Россия не выделяется на фоне китайских соседей¹⁴ — объектов, значительно уступающих по размеру Китаю. Это позволяет зафиксировать еще одно противоречие: позитивный образ России

¹² Респонденты, отвечая на вопрос «кто самый сильный в треугольнике Россия — Китай — США», ставили на первое место США, на второе — Россию, а свою страну лишь на третье.

¹³ Отметим, что респонденты подчеркивали, что слово «партнер» (伙伴) обозначает более высокую степень отношений, чем «друг» (朋友). Это верно для фокус-групп и интервью, проводившихся на китайском языке.

¹⁴ Например, на рисунке с мускулистой пандой респондент отметил Россию только после соответствующего вопроса.

на глобальной арене сталкивается с периферийным положением нашей страны в региональных делах. Это также перекликается с определенными трудностями, с которыми сталкивались респонденты, отвечая на вопрос об основе стратегического партнерства наших стран: однозначно указывалась лишь общность геополитических интересов в противостоянии доминации Запада, однако остальные “столпы” не были четко идентифицированы.

Мы фиксируем подобное противоречие, но не делаем исчерпывающих выводов о том, какую роль наша страна играет в массовом сознании китайцев. Во-первых, часть опрошенных респондентов были связаны с изучением России. Во-вторых, при представлении нашего проекта мы сообщали, что его тематика затрагивает российско-китайские отношения. В-третьих, мы сами, модераторы фокус-групп, россияне, чем невольно влияли на ход мысли респондентов.

Образы, вычлененные из рисунков, показали, что жители КНР осознают возрастающую важность своей страны на внешнеполитической арене. На большинстве рисунков, затрагивающих внешнеполитическую тему, Китай изображен как крупнейший игрок. Трактовка некоторых образов показала, что китайские граждане не хотят мириться с глобальным доминированием США, но мы не можем сказать, что Америка однозначно воспринимается как противник — респонденты отрицали такое отношение.

Отметим твердость намерений китайских граждан в отношении территориального вопроса. Кейсы островов Дяоюйдао, территориальные споры в Южно-Китайском море стали чаще присутствовать в повестке дня, что влечет за собой соответствующие ожидания в обществе: отказ от них рискует обернуться потерей авторитета партии и ее легитимности. Эта принципиальность отобразилась как в образах, нарисованных респондентами, так и в вербальных опросах. В данном контексте вызывает интерес результат растущего, в том числе и по искусственным причинам, национализма: теперь китайцы воспринимают необходимость суверенитета над этими территориями как должное, как неотъемлемую часть возрождения Китая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Верификация гипотез позволяет сделать выводы о том, как Китай воспринимает себя в настоящем и каким он видит себя в будущем, а главное, спрогнозировать, какой будет его внешняя политика.

H1 (отчасти) и *H2* (во многом) находят свое подтверждение в рисунках респондентов. Китайцы остаются самодостаточными: респонденты, как правило, не сравнивают и не противопоставляют образ своей страны с другими. Они также ассоциируют себя больше с общенациональными символами, чем с “малой родиной”, что говорит о сильном национальном самосознании.

Отметим уже сложившуюся и выраженную вербально и невербально самоидентификацию глобальной роли Китая как гармонизатора и важного связующего звена в международных отношениях, возрастающую на подсознательном уровне уверенность в силе своей страны. В региональном измерении Китай изображается как самый крупный игрок, который делится своими достижениями с менее крупными (или более мелкими) странами. На вербальном уровне выражается отсутствие глобальных амбиций, таких как занять место США и стать державой номер один. Это перекликается с идеей

так называемой китаецентричной системы международных отношений в современном варианте, в которой Китай выступает как сила, ограничивающая собственное доминирование своим регионом.

Мы также находим подтверждение *H3*: социализм с китайской спецификой как идеологическая основа государства отсутствует в нарисованных китайцами образах, а вербально характеризуется как богатое общество, где никто не стеснен в своем потреблении. Мы видим мало абстракции, большинство образов являются изображением конкретного; такие образы как “демократия” представляют собой скорее атрибут ежедневной практики, нежели идеологический концепт. Китайцы, рисуя образы, менее политизированы, чем участвовавшие в наших психографических исследованиях жители России и Украины. Последние чаще всего используют политические образы — через политическую сферу во многом опосредуется ежедневный быт. Возможно, это связано с тем, что в Китае граждане вовлечены в сферу политического действия меньше, чем в постсоветских славянских обществах (верификация гипотезы требует дополнительных исследований).

Мы наблюдаем повышение эффективности пропаганды по сравнению с предыдущими “поколениями” руководителей: многие респонденты воспроизводят дискурс об экологичном и технологическом развитии, о необходимости приоритетного развития деревни, а идеологема “сообщества судьбы” оказалась наиболее упоминаемой среди всех остальных. Это может свидетельствовать о достаточно высоком уровне доверия к власти. Внутренние проблемы презентуются как общие вызовы, а не как результат ошибок власти. Оговоримся, что в нашей работе мы не ставили целью получить представление об образе власти в КНР.

Мы не можем подтвердить полностью *H4*: результаты частично подтверждают гипотезу, но во многом опровергают ее. Россия действительно изображается главным образом в позитивном ключе, однако существует несоответствие между большой абстрактной глобальной ролью нашей страны и минимальной региональной. Россия, как и другие страны, не играет значимой роли в образе современного и будущего Китая, но присутствует на рисунках респондентов, когда они изображают другие страны. Противоречие между вербальным и визуальным заметно и в случае, когда речь идет о статусе России в иерархии стран мира.

В интервью респонденты — как профессора, так и студенты — продолжают воспроизводить устоявшийся дискурс о том, что Россия занимает второе место в международной политике (после США), а Китай ей уступает — прежде всего в плане своих амбиций. Россию отмечают как важного геополитического игрока, позиционируют как надежного партнера и друга Китая — как в контексте соперничества Китая с США и коллективным Западом, так и в контексте двусторонних отношений.

Психографический метод выявляет глубинное “ощущение” растущей мощи страны, которое пока не декларируется вербально. Россию респонденты рисовали в числе соседей Китая, но никак ее не выделяли — вне зависимости от того, изображены ли на картинках корабли или цыплята, только китайский “аватар” несоразмерно больше остальных. То есть на словах Россия — номер два в мире, а на картинках — один из маленьких соседей Китая.

В отношении США мы наблюдаем различные мнения: большинство респондентов называют США соперником, некоторые — врагом, однако ки-

тайцы не выражают стремления победить США — они стремятся возобновить сотрудничество¹⁵.

Помимо верификации гипотез мы делаем четыре частных вывода в отношении образов, полученных в ходе исследования. Первый — в образе будущего преобладают темы технологий и потребления, и образы зачастую вписываются в оба контекста. Жизнь рисуется более благополучной, чем сегодня, и это говорит о высоких ожиданиях респондентов от будущего уровня жизни.

Второй — экология занимает важное место в сознании респондентов и в настоящем, и в будущем. Респонденты признают важность проблемы, но отмечают усилия руководства страны по ее решению — в образах будущего, которые попали в категорию “экология”, преобладают оптимистичные мотивы. Однако участники опросов менее позитивны, когда изображают развитие демографической ситуации. Они верят, что темпы рождаемости останутся низкими, снизится количество браков — и это приведет к старению населения. В сознании респондентов Китай в будущем войдет в категорию “старых” стран.

Третий — рисунки респондентов расходятся с их вербальными образами, когда речь идет о роли Китая в мире. Часть респондентов осознают превосходство своей страны как минимум над соседями, изображая ее больше, чем остальные предметы/животные. При этом в разговоре респонденты отрицают тезис о том, что Китай стремится стать “номером один”, утверждая, что страна еще уступает России и США по большинству параметров, если не считать экономику и уровень развития технологий.

Респонденты настаивают на мирном характере внешней политики Китая, изображая страну в образе панды. Осознавая гигантские масштабы и растущую мощь своего государства, китайцы озабочены популярностью дискурса о “китайской угрозе” за рубежом. Чаше остальных участники фокус-групп упоминают в этом контексте концепцию “сообщества судьбы” — она призвана развеять страхи других государств перед Китаем, доказать, что экономический рост Китая несет благо всему человечеству, а также обозначить соответствующий характер позиционирования страны как глобального игрока.

Четвертый — китайцы чувствительны в отношении изображения территории своей страны. Они не забывают упоминать острова, более того, они рисуют Южно-Китайское море как территорию Китая. Участники опроса не дают однозначного и последовательного объяснения, считают ли они китайской всю акваторию или только острова и прилегающие воды, однако образ морской границы отпечатан в сознании китайцев.

Верификация большей части гипотез и частные выводы позволяют подвести итог: Китай продолжит наращивать свою активность в области внешней политики в Азии — как на пространстве Евразии, так и на морских пространствах Тихого и Индийского океанов, будет наращивать экономическое влияние как в регионе, так и далеко за его пределами, в случае угрозы собственным интересам готов применить силу. Такая внешняя политика базируется не только на курсе конкретных руководителей — она опосредует мнение китайцев о месте своей страны в мире. Главные инструменты продвижения китаеццентричной международной системы — не военная сила, а экономическая и культурно-цивилизационная привлекательность.

¹⁵ Данное исследование фокусируется на изучении визуальных образов. К тому же интервью проводились на разных языках: слово враг в родном “敌人/敌国” и иностранном “враг”/“enemy” языках для китайцев может иметь разную коннотацию.

Восприимчивость населением и ретрансляция официального дискурса, как по внутренней, так и по внешней тематике, свидетельствует о высоком уровне доверия к руководству страны, что дает ему основания рассчитывать на поддержку значительной части граждан при проведении внешней политики. Высказываемое раздражение политикой США и даже причисление некоторыми респондентами их к категории врагов показывает, насколько быстро может поменяться общественное мнение, несмотря на прочные связи. Это важно учитывать нашей стране: за безусловным позитивным имиджем России мы не увидели прочного фундамента российско-китайских отношений, а как региональный игрок Россия и вовсе отсутствует. Это повышает риск непредсказуемости развития двусторонних отношений в случае смены политической конъюнктуры.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.05

CHINESE FOREIGN POLICY REFLECTED IN IMAGES OF THE PRESENT AND THE FUTURE: PSYCHOGRAPHIC METHOD

A.A. Tokarev¹, A.Yu. Prikhodchenko¹, A.R. Margojev¹, A.A. Tseleshchev¹

¹ Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Moscow, Russia

TOKAREV, Alexey Aleksandrovich, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Senior Research Fellow, Institute for International Studies, MGIMO University, email: a.tokarev@inno.mgimo.ru; **PRIKHODCHENKO, Alexey Yurievich**, graduate student, MGIMO University, email: prikhodchenko.a.yu@my.mgimo.ru; **MARGOEV, Adlan Ramzanovich**, Junior Research Fellow, Institute for International Studies, MGIMO University, email: a.margojev@inno.mgimo.ru; **TSELESHCHEV, Alexey Annatolievich**, graduate student, MGIMO University, email: alexey.tseleshchev@mail.ru

Tokarev A.A., Prikhodchenko A.Yu., Margojev A.R., Tseleshchev A.A. Chinese Foreign Policy Reflected in Images of the Present and the Future: Psychographic Method. — Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 58–77. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.05>

Acknowledgements. This work was supported by the Russian Science Foundation, project No. 19-78-10144. The authors are grateful for help with the text to MGIMO students A.V. Fedotov and I.Yu. Shchedrov.

Received: 16.03.2020. Accepted: 19.08.2020

Abstract. This article is the first attempt in the field of Chinese studies in Russia to apply the psychographic method to the study of Chinese society. The article considers the way Chinese citizens imagine the present and the future of their own country. During November–December 2019, when study was conducted by the authors, a database of 189 drawings was created, from which 785 images were extracted. These images were classified among 14 categories (“nature”, “war”, “culture”, etc.). The study shows that PRC citizens have high expectations of their future standards of living, strong faith in successfully resolving ecological problems, and concerns about China’s ageing population. Contrary to the expectations of the authors, images directly associated with socialism or communism are absent. The article concentrates on China’s image in the international arena and the role of Sino-Russian relations. Chinese citizens portray China as having tremendous potential and being supreme to other counterparts, while remaining a peaceful state. Russia does not play a key role, but is mentioned as an important geopolitical player and China’s partner (not ally). The study reveals a discrepancy between the images regarding China’s role in the world and verbal explanations thereof. Subconsciously, the respondents portray China as more powerful than other countries, yet at the same time deny the assumption that China is aspiring to become “number 1”. The same can be said about the image of Russia: respondents notice the importance of relations between the two countries, but in most drawings, Russia is depicted in the same way as other neighbors of China.

Keywords: China, Russia, USA, Chinese society, visual sociology, socioeconomic development, ecology, psychographic method, international politics, foreign policy.

References

- Callahan W.A. 2010. *China: The Pessimist Nation*. N.Y.: Oxford University Press. 266 p.
Feng H., He K., Li X. 2019. *How China Sees the World: Insights from China’s International Relations Scholars*. London: Palgrave Macmillan. 143 p.

- Friend J.M., Thayer B.A. 2018. *How China Sees the World: Han-Centrism and the Balance of Power in International Politics*. Lincoln: Potomac Books. 191 p.
- Jacques M. 2012. *When China Rules the World: The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World*. London: Penguin Books. 848 p.
- Nathan A.J., Scobell A. 2012. How China Sees America: the Sum of Beijing's Fears. — *Foreign Affairs*. Vol. 91. No. 5. P. 32-47.
- Schneider F. 2018. *China's Digital Nationalism*. N.Y.: Oxford University Press. 320 p.
- Shambaugh D. 2007. China's Propaganda System: Institutions, Processes and Efficacy. — *The China Journal*. No. 57. P. 25-58. <https://doi.org/10.1086/tcj.57.20066240>
- Ying Fu. 2016. How China Sees Russia: Beijing and Moscow Are Close, but Not Allies. — *Foreign Affairs*. Vol. 95. No. 1. P. 96-105.
- Zheng Y. 2010. *Discovering Chinese Nationalism in China: Modernization, Identity, and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press. 208 p.
- Chang K. 1977. *Food in Chinese Culture. Anthropological and Historical Perspectives*. New Haven, L.: Yale University Press. 429 p.
- Borokh O.N., Lomanova A.V. 2006. Cure for Doubts. — *Russia in Global Affairs*. Vol. 4. No. 4. P. 52-64. (In Russ.)
- Borokh O.N., Lomanova A.V. 2012. From "Soft Power" To "Cultural Power". — *Russia in Global Affairs*. Vol. 10. No. 4. P. 54-67.
- Boyarkina A.V. 2011. The Confucian Ideas in Chinese State Ideology. — *Russia and the Pacific*. No. 4. P. 126-134. (In Russ.)
- Gureev A.V. 2007. Drawings Analysis in Sociological Studies. — *Sociological Studies*. No. 10. P. 132-139. (In Russ.)
- Kochetkov V.V., Tsyun V. 2007. Self-Identification of China: Civilizational, Cultural and Historical Aspects. — *Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science*. No. 2. P. 27-44. (In Russ.)
- Korsun V.A. 2008. Identity with Chinese Specificity. — *Polis. Political Studies*. No. 3. P. 68-79. (In Russ.)
- Mel'nikova L.A. 2018. The Visual Representation of the Bodily Codes of the Russian and Chinese Youth. — *The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service*. No. 1. P. 146-155. (In Russ.) <https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2018-1/146-155>
- Okunev I.Yu. 2019. *Politicheskaya geografiya* [Political Geography]. Moscow: Aspect Press. 512 p. (In Russ.)
- Pirogov S.V. 2013. Horizons of Studying the Visual. — *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. No. 4. P. 124-130. (In Russ.)
- Semenov A.V., Tsvyk A.V. 2019. On the Meaning and Interpretation of "Community of Common Destiny for Mankind". — *Society and State in China*. Vol. 49. No. 1. P. 547-554. (In Russ.)
- Shestopal E.B. 2018. Psychological Methods in Political Perception Studies. — *Social Psychology and Society*. Vol. 9. No. 3. P. 81-90. <https://doi.org/10.17759/sps.2018090309>
- Shestopal Ye.B. 2005. New Tendencies of the Perception of the Power in Russia. — *Polis. Political Studies*. No. 3. P. 137-151. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2005.03.12>
- Sun Z. 2017a. Transformation of the Image of Authority in the Context of Chinese Citizens Political Mentality in 2016. — *Vlast'*. No. 3. P. 179-185. (In Russ.)
- Sun Z. 2017b. *Obraz vlasti v politicheskom mentalitete grazhdan sovremennoi Kitaiskoi Narodnoi Respublike* [The Image of Power in the Political Mentality of Citizens of the Modern People's Republic of China]. (In Russ.)
- Sztompka P. 2007. Visual Sociology (Russ. ed.: Sztompka P. *Vizual'naya sotsiologiya. Fotografiiya kak metod issledovaniya: uchebnik*. Moscow: Logos. 168 p.).
- Tokarev A.A. 2010. Obrazy demokratii v massovom soznanii (na primere g. Tuly) [Images of Democracy in Mass Consciousness (Based on the Example of the City of Tula)]. — *XI Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya GU VShE po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva* [HSE XI International Scientific Conference on Economy and Society Development Problems]. (In Russ.)
- Van B., Bokova N.B. 2016. Comparative Analysis of Rational and Unconscious Aspects of Power Perception in China (Results of Empirical Study). — *Political Science (RU)*. Special issue. P. 170-192. (In Russ.)
- Vlast' i lidery v vospriyatii rossiiskikh grazhdan. Chetvert' veka nablyudenii (1993-2008)* [Power and Leaders in the Perception of Russian Citizens. A Quarter Century of Observations (1993-2018)]. Ed. by E.B. Shestopal. Moscow: Ves' Mir. 656 p. (In Russ.)
- Voskresenskii A.D. 2004. China and the World by the Eyes of China. — *The Free Thought*. No. 10. P. 146-150. (In Russ.)
- Voskresenskii A.D. 2010. *Bol'shaya Vostochnaya Aziya: mirovaya politika i regional'nye transformatsii* [The Big East Asia: World Politics and Regional Transformation]. Moscow: MGIMO University. 444 p. (In Russ.)

Литература на русском языке

- Борох О.Н., Ломанова А.В. 2006. Лекарство от сомнений. — *Россия в глобальной политике*. Т. 4. № 4. С. 52-64.

Борох О.Н., Ломанова А.В. 2012. От “мягкой силы” к “культурному могуществу”. — *Россия в глобальной политике*. Т. 10. № 4. С. 54-67.

Бояркина А.В. 2011. Идеи конфуцианства в государственной идеологии КНР. — *Россия и АТР*. № 4. С. 126-134.

Ван Б., Бокова Н.Б. 2016. Сравнительный анализ рациональных и бессознательных аспектов восприятия власти в Китае (по результатам эмпирического исследования). — *Политическая наука*. Специальный выпуск. С. 170-192.

Власть и лидеры в восприятии российских граждан. Четверть века наблюдений (1993-2008). Отв. ред. Е.Б. Шестопал. 2019. М.: Весь Мир. 656 с.

Воскресенский А.Д. 2004. Китай и мир глазами Китая. — *Свободная мысль*. № 10. С. 146-150.

Воскресенский А.Д. 2010. *Большая Восточная Азия: мировая политика и региональные трансформации*. М.: МГИМО-Университет. 444 с.

Гуреев С.В. 2007. Анализ рисунков в социологических исследованиях. — *Социологические исследования*. № 10. С.132-139.

Корсун В.А. 2008. Идентичность “с китайской спецификой”. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 68-79.

Кочетков В.В., Цюн В. 2007. Самоидентификация Китая: цивилизационно-культурный и исторический аспекты. — *Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология*. № 2. С. 27-44.

Мельникова Л.А. 2018. Репрезентация визуальных телесных кодов российской и китайской молодежи. — *Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса*. № 1. С. 146-155. <https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2018-1/146-155>

Окунев И.Ю. 2019. *Политическая география*. М.: Аспект Пресс. 512 с.

Пирогов С.В. 2013. Горизонты исследований визуального. — *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. № 4. С. 124-130.

Семенов А.В., Цвык А.В. 2019. К вопросу о понятии и интерпретации концепции “сообщества единой судьбы человечества”. — *Общество и государство в Китае*. Т. 49. № 1. С. 547-554.

Сунь Ц. 2017а. Трансформация образа власти в структуре политического менталитета граждан КНР в 2016 г. — *Власть*. № 3. С. 179-185.

Сунь Ц. 2017б. *Образ власти в политическом менталитете граждан современной Китайской Народной Республики*.

Токарев А.А. 2010. Образы демократии в массовом сознании (на примере г. Тулы). — *XI Международная научная конференция ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества*.

Шестопал Е.Б. 2005. Новые тенденции восприятия власти в России. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 137-151. <https://doi.org/10.17976/jpps/2005.03.12>

Шестопал Е.Б. 2018. Особенности использования психологических методов для изучения политического восприятия. — *Социальная психология и общество*. Т. 9. № 3. С. 81-90. <https://doi.org/10.17759/sps.2018090309>

Штомпка П. 2007. *Визуальная социология. Фотография как метод исследования*. М.: Логос. 168 с.

Литература на китайском языке

宋晓军 (著), 中国不高兴 大时代、大目标及我们的内忧外患, 南京, 江苏人民出版社, 2009年. 295. [под ред. Сун Сяоцзюнь и др. 2009. Чжунго бу гаосин. Да шидай, да мубяо цзи омэн дэ нэййоу вайхуань. — *Цзянсу жэньминь чубаньшэ* (Китай недоволен. Великая эпоха, великие цели и наши внутренние и внешние неурядицы. Нанкин: Цзянсу жэньминь чубаньшэ. 295 с.)].

赵汀阳, 天下体系 世界制度哲学导论, 南京, 江苏人民出版社, 2005年, 271. [Чжао Тинян 2005. Тянься тиси Шицзе чжиду чжэсюэ даолунь. — *Цзянсу жэньминь чубаньшэ* (Система Тянься: введение в философию международных институтов. Нанкин: Цзянсу жэньминь чубаньшэ. 271 с.)].

王帆, 凌胜利 (主编) 人类命运共同体 全球治理的中国方案, 长沙, 湖南人民出版社, 2017年, 281. [под ред. Ван Фаня и Лин Шэнли. 2017. *Жэньлэй минъюнь гунтунти Цюаньцю чжили дэ Чжунго фань*. Хунань жэньминь чубаньшэ (Сообщество судьбы человечества: китайский проект глобального управления. Чанша: Хунань жэньминь чубаньшэ. 281 с.)].

陈翔, 负责任大国: 中国的新身份定位, 世界经济与政治论坛, 6, 2016年, 18. [Чэн Сян. 2016. Фуцзэжэнь даго: Чжунго дэ синь шэньфэн динвэй. — *Шицзе цзинцзи юй чжэньчжи таолунь* (Ответственная держава: новый статус Китая. — *Беседы о мировой экономике и политике*. № 6. 18 с.)].

李慎明 (主编) 中国民众的国际观, 北京, 社会科学文献出版社, 2009年, 200 [под ред. Ли Шэньмина. 2009. *Чжунго миньчжун дэ гоцзигуань*. Шэхуэй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ (Международный взгляд китайского народа. Пекин: Шэхуэй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ. 200 с.)].

АМЕРИКАНСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ И ВЫЗОВ ПОПУЛИЗМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Л.М. Соколыщик

СОКОЛЫЩИК Лев Маркович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ), Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Москва, email: lsokolshchik@hse.ru

Соколыщик Л.М. Американский консерватизм и вызов популизма: теоретический и идеологический аспекты. — Полис. Политические исследования. 2021. № 1. С. 78-93. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.06>

Статья поступила в редакцию: 19.12.2019. Принята к публикации: 24.11.2020

78

Аннотация. Вызов, который правый популизм бросил в США и консерватизму, и либеральной демократии, заслуживает самого внимательного рассмотрения сквозь призму идеологического подхода. На основе метода “идеологической морфологии” Майкла Фридена автор статьи анализирует идейные структуры американского консерватизма и популизма. Методология исследования предполагает разделение идеологий на несамостоятельные “с разреженным идейным центром” (thin-centred ideology) и “основные” (host ideology). Первые, в число которых входит популизм, формируют свой дискурс, заимствуя концепты у более универсальных “основных” идеологий, таких как консерватизм. Автор разбирает идейное содержание основных типов американского консерватизма (традиционализм, либертарианизм, социальный консерватизм, неоконсерватизм, палеоконсерватизм) и популизма, исследует развитие интеллектуального консервативного движения в США во взаимосвязи с идейной эволюцией популизма, выявляет соотношение американского консерватизма и популизма на различных исторических этапах, рассматривает роль консерватизма в формировании “трампизма” как современного варианта популизма в США, ушедшего, возможно, на время с политической сцены. Исследуются базовые элементы идеологической системы “трампизма”: антитеза “благородного американского народа” и “корруптированной вашингтонской элиты”, концепт “единой воли народа”. Автору удалось выявить, что “трампизм”, с одной стороны, создает угрозу для либеральной демократии в США, но с другой — несет потенциал для ее корректировки. Прослеживается акцепция “трампизмом” палеоконсервативных идей внешнеполитического изоляционизма и экономического протекционизма, определяется соотношение “трампизма” с умеренным традиционализмом во внутриполитической повестке в период президентства Д. Трампа. Результаты состоявшихся в 2020 г. президентских выборов проанализированы в контексте идейно-политической эволюции республиканской партии.

Ключевые слова: американский консерватизм, республиканская партия, популизм, трампизм, либеральная демократия, идеология, плюрализм, элитизм, Дональд Трамп.

Неоднозначные последствия глобализации и технологической революции, проблемы переноса производства за рубеж, ухудшения положения так называемых синих воротничков и среднего класса, иммиграции, разбаланси-

рованности системы здравоохранения, усиления политической поляризации и “культурных войн” входят в число наиболее актуальных проблем США. Кризисные явления создали условия для взлета “трампизма” как одной из версий популизма [Мюллер 2018: 122].

Дискуссия, развернувшаяся в правом лагере США, указывает на стремление консерватизма сформулировать адекватные ответы на изменение политических, социокультурных и экономических условий. Поскольку популизм потенциально бросает вызов демократическим ценностям в их американской трактовке, “трампизм” можно считать одной из нешуточных проблем для США. В этом контексте небезынтересно проследить, как соотносятся между собой довольно близкие идеологические системы консерватизма и правого популизма, а также понять, какую роль сыграл американский консерватизм в эволюции правого популизма.

Исследование базируется на методе “идеологической морфологии” Майкла Фридена, который подразделяет идеологии на несамостоятельные “с разрезанным центром” (*thin-centred ideology*) и “основные” (*host ideology*) [Freeden 1998: 748]¹, а поскольку возможности первых недостаточны для интерпретации социально-политической реальности, они заимствуют идеи “основных” идеологий. Применение разработок Фридена позволяет выявить структуру всякой идеологии через анализ совокупности ее ядерных, смежных, периферийных идейных концептов [Freeden 2013: 124-128]. Идеологический подход обладает эвристическим потенциалом для соотнесения понятий “американский консерватизм”, “популизм”, “трампизм”, а также проведения типологического анализа рассматриваемых идейно-политических объектов на различных уровнях и в динамике развития [Oxford Handbook... 2017: 34].

79

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСЕРВАТИЗМА И ПОПУЛИЗМА В США

Многомерность американского консерватизма и популизма порождает сложности в их определении, поэтому кратко осветим ключевые теоретические подходы к разрешению проблемы. Я.-В. Мюллер осмысляет консерватизм в рамках четырех направлений: 1) как идеология или политическая программа определенной социальной группы, стремящейся сохранить свое положение в социуме; 2) как процесс политических изменений, в котором время от времени проводятся реформы для сохранения или улучшения существующего порядка; 3) как культурно-психологическое стремление людей к особой форме прошлого, стабильности и устоявшимся формам общественно-политического взаимодействия; и 4) как метод воспроизводства некоего набора ценностей [Muller 2006: 361-363].

В литературе представлены различные типологии американского консерватизма, состоящие из разных частей в зависимости от избранного критерия. В.Р. Золотых, фокусируя внимание на проблеме иммиграции, делит консерваторов на рестрикционистов и иммиграционистов [Золотых 2015: 41]. Рассматривая американский консерватизм в оптике имперской идеи, П.Ю. Рахшмир выявляет три типа: либерально-реформистский, традиционалистский и экстремистский [Рахшмир 2007: 227]. Историк Дж. Нэш в ранних

¹ Идеология здесь рассматривается как “совокупность представлений о природе человека и общества, а также о формах организации и целях общества” [Oxford Handbook... 2017: 30].

работах также придерживается трехчастной типологии, однако ключевыми элементами он называет традиционализм, либертарианизм и антикоммунизм [Nash 1996: XV-XVI]. Дж. Сизар выделяет так называемые четыре головы консерватизма в США: традиционализм, либертарианизм, неоконсерватизм и “религиозные правые” [Ceaser 2011: 141]. Пятичастная типология добавляет к обозначенным четырем типам палеоконсерватизм [Mudde 2010: 588-589]. Эти типологии наиболее полно отражают сложность структуры американского консерватизма в контексте задач настоящей работы.

Популизм в свою очередь исследуется как общественно-политическое движение, политический стиль, дискурс [Populism in Europe... 2012: 3]. Эта классификация дополняется акцентом на то, что популизм еще и политическая стратегия [Anselmi 2018: 3]. Схожего мнения придерживаются наши ученые, определяющие популизм не как идеологию, а как “стратегию политической борьбы, основанную на противопоставлении элиты остальному населению” [Осколков, Тэвдой-Бурмули 2018: 20]. Анализ коллективных эмоций через специфику дискурса выводит на взаимоотношения субъектов популизма (“народ”, “элита”) с общественной проблематикой [Skonieczny 2018: 64].

Идеологический подход дает ключ к выделению трех основных концептов (“народ”, “элита”, “общая воля”) идейной системы популизма и его антитезы (элитизм — плюрализм) [Anselmi 2018: 9]. Д. Албертаззи и Д. Макдоннел определяют популизм как “идеологию, противопоставляющую ‘добродетельный’ и однородный народ элите и опасным ‘другим’, которые вместе изображаются как лишаящие (или пытающиеся лишить) ‘суверенный народ’ его прав, ценностей, благополучия, идентичности и голоса” [Twenty-First... 2008: 3]. Среди признаков популизма, под каким бы углом зрения его ни рассматривали, “благородный народ”, понимаемый как некая “символическая сущность”, противопоставлен “коррумпированной элите” [Мюллер 2018: 44, 50]. К. Мюдде и К.Р. Кальтвассер констатируют, что большинство теорий популизма разделяют идею о столкновении “народа” и “истеблишмента” [Populism in Europe... 2012: 8]. При этом популизм апеллирует к идее об узурпировании политической элитой народного суверенитета [ibid.: 5]. В стремлении популистов “восстановить” народный суверенитет политологи видят не только исключаящую, но и антиплюралистскую черту их идеологии [Крастев 2018: 94].

В этой системе координат популизм можно концептуализировать как идеологию “с разреженным центром”, которая предполагает разделение общества на две однородные и антагонистические группы — “благородный народ” и “коррумпированная элита”, а политика выражает некую общую “народную волю” [Populism in Europe... 2012: 8]. Несмотря на то, что “основные” идеологии также базируются на противопоставлениях (в частности, социализм использует концепцию классов), ключевая антитеза популизма носит абсолютный и при этом моральный характер, что приводит к идеализации “народа” и демонизации всех “других”.

В институциональном измерении популизм тяготеет более к плебисцитарным формам принятия решений, нежели репрезентативным. По мнению А. Пелинки, идеология популизма перекликается с радикальной трактовкой демократии — народного правления без учета интересов меньшинства и ограничения воли большинства — и (в понимании Авраама Линкольна) как “правительства народа, избранного народом и для народа” [Right-Wing...

2013: 3], а для реализации воли народа институты — парламент и политические партии — в этой схеме имеют второстепенное значение.

Комплексный взгляд на популизм и либеральную демократию позволяет выявить, что они во многом противоположны друг другу. В рамках либеральной демократии народ (электорат) может быть представлен только институционально, при этом большинство не подвергается дискриминации меньшинство [Мюллер 2018: 106]. Одна из ключевых характеристик современного популизма в том, что он, будучи производным от либеральной демократии, использует для реализации своих антидемократических установок демократические механизмы. Представление популистов о том, что лишь они выражают “подлинную” волю народа, вступает в противоречие с демократическим принципом выборов, на которых важна не некая моральная воля, а измеримый результат голосования [там же]. Принимаемые на основании выборов решения не абсолютны и не означают, будто всякая оппозиция безнравственна и не имеет права на существование. Таким образом, популизм, будучи продуктом либерально-демократической системы, в то же время несет угрозу правам и свободам граждан.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ КОНСЕРВАТИЗМА И ПОПУЛИЗМА В США

Американский консерватизм, представляя собой с момента своего конституирования совокупность различных идейно-политических течений², “был и остается коалицией, элементы которой в большинстве случаев согласны с желаемым результатом политики, хотя зачастую по совершенно разным причинам” [Glenn, Teles 2009: 9]. Первоначально, во второй половине 1940-х и в 1950-е годы, он сочетал традиционализм и либертарианизм, объединительным мотивом для которых стал антикоммунизм. Идеологов традиционалистского течения (наиболее видными среди которых были Р. Кирк, Ф. Мейер, П. Вирек, Р. Уивер) волновал диссонанс между материально-техническим прогрессом и нравственной деградацией человечества, проявившейся в двух мировых войнах. Ключевой задачей консервативного движения Р. Кирк называет восстановление иудео-христианской этики и моральных ценностей, на которых “зидается всякая благочестивая жизнь” [Kirk 2003: 119].

Либертарианцы в первую очередь были обеспокоены вмешательством государства в экономическую и социальную сферы. Вдохновленные идеями М. Фридмана и Ф. Хайека, они призвали вернуться к либеральным традициям XIX в. и принципу *laissez-faire*, а также выступили против этатизма и планового хозяйства. Хайек, развивая идеи А. де Токвиля и лорда Актона, усматривал причину несвободы в коллективной собственности [Хайек 2005: 40].

Во второй половине 1960-х — в 1970-е годы в ответ на социокультурные сдвиги, сексуальную революцию, подъем женского и молодежного движений, расширение гражданских прав и появление контркультуры начал формироваться социальный консерватизм. Его идеологи Р.А. Вигери, П. Вайрих, Х. Филипс, Ф. Шлефлай, Дж. Фолуэлл и П. Робертсон под лозунгом защиты моральных устоев, семейных и христианских ценностей боролись с легализацией абортов, распространением порнографии и наркотиков, отказом от религиозного компонента в образовании [Соколышник 2015: 250-251].

² Nash G.H. American Conservatism and the Problem of Populism. — *The New Criterion*. 2016. Vol. 35. No. 1. P. 4. URL: <https://newcriterion.com/issues/2016/9/populism-i-american-conservatism-and-the-problem-of-populism> (accessed 30.03.2020).

В 1970-е годы правый идейно-политический фланг США дополнился неоконсерватизмом, “отцом-основателем” которого по праву считается И. Кристол. В его ряды влились бывшие либералы и даже троцкисты, выступившие против морального релятивизма, за активный интервенционистский внешнеполитический курс на утверждение принципов демократии по всему миру. Как позже разъяснял неоконсервативный сенатор-республиканец Л. Грэм, внешняя политика США должна делать “мир лучше, и иногда для этого требуется применение силы, а зачастую достаточно только угрозы ее применения”³. Кроме того, неоконсерваторы тогда стояли на позициях поддержки иммиграции [American Conservatism... 2006: 652].

Наиболее поздним элементом американского консерватизма стал палеоконсерватизм, появление которого на рубеже 1980-х — 1990-х годов исторически совпало с окончанием холодной войны и возвышением США в качестве мирового лидера. В пик неоконсерваторам идеологи палеоконсерватизма, среди которых значились П. Бьюкенен, П. Готфрид, Т. Флеминг, призвали вернуться к республиканской традиции XIX в., отказаться от любого рода внешнеполитического интервенционизма, ограничить иммиграционные потоки из стран третьего мира. В экономических вопросах палеоконсерваторы отстаивали идеи протекционизма и антиглобализма [ibid.: 651-652].

Очертив концептуальное ядро современного американского консерватизма, перейдем к анализу идейной структуры популизма в США. На раннем этапе существования, в конце XIX в., популизм как идеология “с разреженным центром” преимущественно заимствовал концепты из левого идейного спектра и был сосредоточен на критике банковской системы, крупного капитала и корпораций. В первой половине XX в. связь популизма с левыми и либеральными идеями получила своеобразное выражение в форме борьбы У.Дж. Брайана против золотого стандарта, апелляции президента Ф.Д. Рузвельта к “забытым людям, находящимся в основании экономической пирамиды”, деятельности в период Великой депрессии популистских лидеров Х. Лонга и Ч. Кохлина⁴.

Однако с появлением широкого консервативного движения во второй половине XX в. популизм стал акцептировать правые установки. Одним из первых правопопулистские идеи использовал в своей президентской предвыборной кампании в 1964 г. сенатор Б. Голдуотер⁵. Другие республиканские политики подхватили тенденцию. Р. Никсон апеллировал к “работающей Америке, которая оказалась забыта”. В предвыборных кампаниях 1968 и 1972 гг. он опирался на концепт “тихой Америки”, очерчивая границы “правильного” народа, несогласного с либеральной политикой правящих кругов [Patenaude 2019: 803-804]. Для закрепления симпатий консервативно настроенных избирателей их фаворит Р. Рейган и его команда в избирательной кампании 1980 г. с успехом использовали концепт “морального большинства”⁶.

³ Toward a Libertarian Foreign Policy. — *Cato Institute*. 2015. URL: <https://www.cato.org/policy-report/julyaugust-2015/toward-libertarian-foreign-policy> (accessed 30.03.2020).

⁴ Nash G.H. American Conservatism and the Problem of Populism. — *The New Criterion*. 2016. Vol. 35. No. 1. P. 10. URL: <https://newcriterion.com/issues/2016/9/populism-i-american-conservatism-and-the-problem-of-populism> (accessed 30.03.2020).

⁵ Edwards L. Constitutional Populism: A Strain of the Politics that Runs from Goldwater to Trump. — *The American Conservative*. 2019. Vol. 18. No. 3. P. 14.

⁶ Ibid. P. 16.

Продолжателем правопопулистской линии стал кандидат от третьей партии Р. Перо, набравший на выборах в 1992 г. почти 19% голосов, тем самым не позволив переизбраться преемнику Р. Рейгана Дж. Бушу-ст. на второй срок⁷.

По мнению Д. Албертаззи и Д. Макдоннелла, не только исторические корни популизма создают предпосылки для его роста в США на современном этапе, но и классическая демократическая политическая культура, поскольку она не обладает достаточным “иммунитетом” против популизма, а акцент на роли большинства снижает возможность критики популистских идей, которые обращаются не к парламентскому большинству, а к некому “тихому большинству” [Twenty-First... 2008: 22]. “Отец неоконсерватизма” И. Кристол приходит к выводу, что в период 1960–1980-х годов возник “новый популизм” [Kristol 1995: 359], в интерпретации историка Л. Эдвардса – “консервативный популизм” [Edwards 2019: 14]. Кристол видит причины в том, что люди были справедливо встревожены неумелыми действиями правительства во время войны во Вьетнаме, вмешательством судов в социальную политику, снижением уровня образования, а также неэффективностью правосудия в борьбе с преступностью [ibid.: 360]. Я.-В. Мюллер, говоря о специфических свойствах популизма, подчеркивает: “Популисты исходят из того, что ‘голос народа’ един и он оглашает некий императивный мандат” [Мюллер 2018: 52]. В этом плане консервативная волна середины 1990-х годов, ключевым моментом которой стало принятие программного документа “Контракт с Америкой”, имеет определенные популистские черты, а относя одного из авторов “Контракта”, спикера Палаты представителей Н. Гингрича к популистам, он утверждает, что популистам свойственно выступать от лица всего народа, заключая с ним некий договор, пункты которого они уже заранее разработали [там же: 52].

Очередной всплеск популизма “справа” в начале XXI в. связан с Движением чаепития, которое стало обретать сторонников после финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Его идейную основу составили либертарианские требования сокращения государственного вмешательства в экономическую и социальную сферы, эффективного использования средств налогоплательщиков, формирования сбалансированного федерального бюджета. Ключевая популистская черта Движения проявилась в его противопоставлении как “истинного” выразителя чаяний народа правительству⁸.

“ТРАМПИЗМ” КАК ПРАВОПОПУЛИСТСКИЙ ФЕНОМЕН

В идейном плане “трампизм” стал продолжением популистской традиции в США, что прослеживается в идеализации народа и демонизации элиты. Базовым элементом “трампизма” стала антитеза “благородного американского народа” и “космополитичной коррумпированной вашингтонской элиты”. Показательны слова в инаугурационной речи Трампа: “Мы не просто передаем власть от одной администрации к другой или от одной партии к другой, — но мы передаем власть от Вашингтона, округ Колумбия, и передаем ее вам, американскому народу”⁹.

⁷ The Life and Legacy of Ross Perot. — *Ross Perot's Official Website*. URL: <https://www.rossperot.com/life-story/presidential-candidate> (accessed 30.03.2020).

⁸ Ibid. P. 18.

⁹ Trump D.J. 2017. The Inaugural Address. — *The White House. Official Website*. 20.01.2017. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/> (accessed 30.03.2020).

Характерная черта риторики Трампа — перекладывание ответственности за собственные просчеты на “враждебных других”. Например, усиление преступности связывалось с ростом числа иммигрантов¹⁰, экономические дисбалансы — с деятельностью “элиты”¹¹, распространение коронавирусной инфекции — с представителями Китая¹². Причем с целью подчеркнуть тезис о том, что ответственность за пандемию несет Пекин, 45-й президент нередко использовал этнически окрашенное словосочетание “китайский вирус” или “вирус из Китая”¹³. “Элиту” как элемент, противостоящий популистскому лидеру и, следовательно, “народу”, идейная схема “трампизма” сделала главным источником всех невезений и провалов в США и в мире. Так, даже поражение на президентских выборах 2020 г. Трамп пытался объяснить стремлением “коррупцированной демократической машины” сфальсифицировать результаты голосования и украсть у него победу, которую, по его словам, он “легко одержал, если считать законные голоса”¹⁴.

В “трампизме” также нашли отражение антидемократические тенденции. Конструируя собственный концепт “подлинного американского народа”, который обладает “единой волей”, Трамп позиционировал себя как ее истинный выразитель. Популистские лидеры нередко прибегают к подобному приему, так как он позволяет им с легкостью уходить от ответственности за политические решения, поскольку в любой момент они могут заявить, что выступают лишь в качестве проводников “народной воли”. Таким образом, “трампизм” артикулирует чаяния части американцев (безусловно, значительной), возводя ее в ранг народа как целого, а в устоявшемся понимании американского народа он стремится заменить идентичность, основанную на ценностях, национальной принадлежностью.

84 От искаженного взгляда “трампизма” на народ проистекает его склонность к борьбе со свободой слова, плюрализмом, политическим разнообразием. Среди антидемократических признаков его идейного конструкта можно выделить стигматизацию меньшинств и любых “других”. Для политических противников он использует ярлык “враги народа”, для оппозиционных журналистов — “больные люди”, для нелояльных СМИ — “лживая пресса” [Boot 2018: 130-131]. Так, о некоторых оппонентах в конгрессе, относящихся к национальным и религиозным меньшинствам, Д. Трамп высказывался следующим образом: “Они ненавидят нашу страну и должны покинуть США, если чем-то недовольны”¹⁵. По мнению Д. Албертаззи и Д. Макдоннелла,

¹⁰ ‘Drug Dealers, Criminals, Rapists’: What Trump Thinks of Mexicans. — *BBC*. 31.08.2016. URL: <https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-37230916> (accessed 30.03.2020).

¹¹ Schneider D. Elites and the Economy. — *The National Affairs*. 2019. No. 41. URL: <https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/elites-and-the-economy> (accessed 30.03.2020).

¹² Gladstone R. Trump Demands U.N. Hold China to Account for Coronavirus Pandemic. — *The New York Times*. 22.09.2020. URL: <https://www.nytimes.com/2020/09/22/world/americas/UN-Trump-Xi-China-coronavirus.html> (accessed 04.11.2020).

¹³ Coronavirus: Trump Grilled on Use of Term ‘Chinese Virus’. — *BBC*. 18.03.2020. URL: <https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-51953315> (accessed 30.03.2020).

¹⁴ Trump D.J. Remarks by President Trump on the Election. — *The White House. Official Website*. 05.11.2020. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-election/> (accessed 05.11.2020).

¹⁵ Parker A., Bade R., Wagner J. Trump Says They “Hate Our Country.” The Democrats He Attacked Say the Country “Belongs to Everyone.” — *The Washington Post*. 15.07.2019. URL: https://www.washingtonpost.com/politics/trump-calls-on-minority-congresswomen-to-apologize-after-he-said-they-should-go-back-to-their-countries/2019/07/15/897f1dd0-a6ef-11e9-a3a6-ab670962db05_story.html (accessed 30.03.2020).

к существенным чертам популизма относится возложение ответственности за негативные явления на социальные группы, с точки зрения популистов, “виноватые в неприемлемой ситуации, в которой находят себя люди, элиты и все ‘другие’ (т.е. не ‘народ’)” [Twenty-First... 2008: 5].

Нельзя не отметить, что идеологический конструкт “трампизма” несет в себе мощный авторитарный посыл, проявляющийся как в ориентации на харизматического лидера, так и в пренебрежении демократическими институтами и процедурами. В анализе вышедшей в 2015 г. книги Д. Трампа отмечается: “Несмотря на то, что Трамп... постоянно делает реверансы в сторону Конституции и разделения властей, перед нами программная декларация не только популиста, но и человека, который явно собирается решать многие вопросы волюнтаристски” [Дробницкий 2016: 259].

Важной чертой “трампизма” можно считать то, что он “привнес в американскую систему исполнительной власти противоречие между двумя типами управления — бюрократическим и авторитарно-личностным”¹⁶. Трудно не согласиться с такой характеристикой “трампизма”: “Если ты против Трампа — ты против народа. Это глубоко авторитарная позиция, знакомая нам по таким лидерам, как Уго Чавес, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объявивший себя нелибералом, и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган” [Мюллер 2018: 9].

Несмотря на то, что для популизма принципиальное значение имеет харизма лидера, не менее серьезный вклад в теорию и практику “трампизма” внесли и представители интеллектуальной среды, такие как идеолог правого толка С. Бэннон, знаковая фигура для всего современного популистского движения. С 2011 г. он был неформальным советником Д. Трампа, а в августе 2016 г. официально возглавил его предвыборный штаб. Его опыт в области киноиндустрии помог ему в один из самых ответственных моментов избирательной кампании удачно выстроить “героический” образ республиканского кандидата, который борется за интересы народа против “темной клики” демократов [Alexander 2019: 147].

После победы босса на выборах Бэннон получил пост первого советника по вопросам политики и стратегии, и хотя проработал в этой должности недолго, заложил фундамент популистской идейной платформы “трампизма”. Разделяя ряд идей националистического движения “альтернативных правых” (*alt-right*), С. Бэннон выступил за переустройство либерально-демократического порядка [ibid.: 138], о радикальности которого можно судить из такого его высказывания: “Ленин хотел уничтожить государство, и это тоже моя цель. Я хочу сделать так, чтобы все рухнуло, и разрушить сегодняшний истеблишмент”¹⁷. С. Бэннон предпринял попытку создать своего рода “популистский интернационал”, сплотив идейно к нему близкие круги США и Европы, заявив, что намерен стать связующим звеном “для инфраструктуры глобального популизма”¹⁸.

¹⁶ Травкина Н.М. “Трампи́зм” во власти: противостояние продолжается. — *Перспективы*. Электронный журнал. 06.04.2017. URL: http://www.perspektivy.info/misl/idea/trampizm_vo_vlasti_protivostojaniye_prodolzhajetsja_2017-04-06.htm (accessed 30.03.2020).

¹⁷ Sebestyen V. 2017. Bannon Says He’s a Leninist: That Could Explain The White House’s New Tactics. — *The Guardian*. 06.02.2017. URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/06/lenin-white-house-steve-bannon> (accessed 30.03.2020).

¹⁸ Nossiter A., Horowitz J. Bannon’s Populists. — *The New York Times*. 24.05.2019. URL: <https://www.nytimes.com/2019/05/24/world/europe/steve-bannon-european-elections-paris.html> (accessed 30.03.2020).

Идейные установки С. Бэннона, как и популистской платформы в целом, базируются на упрощающих реальность бинарных оппозициях. Помимо ключевой антитезы “народ — элита” в его идейном конструкте выявляются следующие ключевые противопоставления: “истинные американцы — иммигранты”, “националисты — глобалисты”, “религия — секуляризм”, “христианство — другие конфессии”, “Запад — остальной мир”, “цивилизация — варварство” [ibid.: 142]. Категоричная моральная оценка, ставшая ядром этих оппозиций, помогает “трампизму” разводить по полюсам такие общности, как “американский народ” и “опасные другие”.

Как идеология “с разрезанным центром” “трампизм” воспринял ряд консервативных концептов, в частности палеоконсервативные идеи об изоляционизме и экономическом протекционизме. Изоляционизм во внешнеполитической стратегии “трампизма” проявился в критике либерального мирового порядка и наднациональных организаций, в том числе НАТО, ООН, Европейского союза. В его системе координат “коррупцированная элита” использует международные институты для продвижения своих интересов и ценностей, что противоречит экономическим интересам американского народа и приводит к “размыванию” его аутентичной культурной идентичности [Drolet, Williams 2018: 298-299].

Трамп стремился инкорпорировать свои идеи в конкретный политический курс США через законодательные полномочия исполнительной власти. В частности, исполняя свое обещание снизить миграционные потоки и укрепить контроль на границе, он попытался наложить запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран [Peterson 2018: 39] и инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Ряд изоляционистских мер получил закрепление в “Стратегии национальной безопасности США” (2017), которая возвела в ранг приоритетов внешней политики противодействие нелегальной иммиграции наряду с борьбой с терроризмом и распространением оружия массового поражения. Отметим, что, согласно документу, главными конкурентами США в мировой политике являются “бросившие вызов” американскому лидерству Китай и Россия, а в число самых серьезных угроз для США вошла опасность пандемии¹⁹. Однако, как показали темпы распространения новой коронавирусной инфекции в США в 2020 г., предписания были выполнены не в должной мере²⁰.

“ТРАМПИЗМ” В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ

Претворяя в жизнь лозунг “Америка прежде всего” и объявив императивом национальные интересы США, Трамп способствовал усилению изоляционистского унилатерализма во внешней политике. В частности, США в одностороннем порядке вышли из Иранской ядерной сделки, начали пересмотр отношений с союзниками в рамках НАТО, аннулировали действия Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности с Россией (ДРСМД), вышли

¹⁹ National Security Strategy of the United States of America. — *The White House. Official Website*. 18.12.2017. URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf> (accessed 30.03.2020).

²⁰ Robertson C., Sandoval E., Tompkins L., Romero S. U.S. Sets Coronavirus Case Record amid New Surge. — *The New York Times*. 23.10.2020. URL: <https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html> (accessed 01.11.2020).

из ЮНЕСКО и Парижского соглашения по климату [Wasko-Owsiejczuk 2018: 89-90]. Снижение вовлеченности США в мировые дела выразилось в редуцировании идеи “экспорта демократии” — от активного распространения либеральных ценностей и американского образа жизни к PR-рекламированию своего “успешного и процветающего общества” в качестве примера [ibid.: 87].

Защита экономических интересов народа предстала в концепции “трампизма” как стратегия протекционизма, переход к которой был продиктован не только стремлением улучшить положение “работающей Америки”, но и объективными причинами — нарастанием дефицита торгового баланса, усиливающейся деиндустриализацией, переносом производств в третьи страны. Инструментально эти проблемы стали решаться ужесточением санкций и тарифных ограничений в отношении ключевых визави Соединенных Штатов. В торговую войну с США оказались вовлечены ЕС и отчасти Индия, однако главное противостояние развернулось по линии Вашингтон — Пекин. Товарооборот между США и Китаем в 2017 г. составил примерно 636 млрд долл., из которых 505,6 млрд долл. составил китайский импорт в США, и только 130,4 млрд долл. — американский экспорт в Китай, при этом с 1990 по 2017 гг. отрицательное сальдо США в торговле с Китаем возросло с 10,4 млрд долл. до 375,2 млрд долл.²¹

Первое повышение импортных пошлин в январе 2018 г. коснулось стали, алюминия, солнечных панелей и некоторых промышленных товаров, произведенных в Китае. В период с июля по сентябрь 2018 г. резко увеличились таможенные пошлины с обеих сторон: средневзвешенный тариф (на уровень торговли в 2017 г.) на импорт из Китая в США вырос с 3,8% до 12,0%, аналогичный показатель в Китае для американских товаров — с 7,2% до 18,3%, новое обострение противостояния произошло в июне — сентябре 2019 г., когда средневзвешенный тариф в США на китайские товары увеличился до 21%, а в Китае на американскую продукцию — до 21,1%²².

Другим способом реализации протекционистского курса стал выход США из ключевых международных соглашений в области торговли. Яркой иллюстрацией подобной политики может служить сюжет о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), действовавшего между США, Канадой и Мексикой с 1994 г. Как и в случае с Китаем, важную роль сыграл фактор отрицательного торгового баланса США. Так, если на момент вступления этого договора в силу в американо-мексиканских торговых отношениях показатели экспорта и импорта были примерно равнозначны — 51,6 млрд долл. и 54,7 млрд долл., то в 2015 г. отрицательное сальдо США в торговле с Мексикой составило 121,8 млрд долл. [Школяр 2017: 45]. Кроме того, за время президентства Д. Трампа было прекращено действие договора о свободной торговле между США и Южной Кореей, прерваны переговоры по Трансатлантическому торгово-инвестиционному и Транстихоокеанскому партнерствам (ТТП). Вместо ТТП Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, а также десять стран АСЕАН (но без США) подписали в ноябре 2020 г. документ о Всестороннем региональном

²¹ China-U.S. Trade Issues. — *Congressional Research Service*. 30.07.2018. URL: <https://fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf> (accessed 30.03.2020).

²² US-China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart — *The Peterson Institute for International Economics*. 14.02.2020. URL: <https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart> (accessed 30.03.2020).

экономическом партнерстве (ВРЭП), самой крупной в мире зоне свободной торговли, охватывающей треть мирового ВВП.

ПРИОРИТЕТЫ “ТРАМПИЗМА” ВО ВНУТРЕННЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Во внутренней политике “трампизм” нашел опору в идеях традиционализма, в особенности по широкому кругу “социальных вопросов” (*social issues*). Отметим, что “социальные вопросы” в американской интерпретации включают проблемы аборт, однополых браков, отношения церкви и государства, места религии в публичном пространстве, общественной морали, владения огнестрельным оружием и ряд других. Важным инструментом в отстаивании консервативных подходов к этим проблемам стала судебная власть. По инициативе президента Д. Трампа и с одобрения республиканского большинства в сенате почти на треть был обновлен федеральный судейский корпус, причем предпочтение отдавалось кандидатам с правыми взглядами, а в общей сложности с 2016 по 2020 гг. таким способом были одобрены кандидатуры 217 федеральных судей²³.

Изменения коснулись Верховного суда, от позиции которого зависит решение таких чувствительных вопросов, как право на аборт, молитва в школе, однополые браки, владение оружием. Д. Трампу удалось назначить трех новых его членов — Н. Горсача, Б. Кавано, А.К. Баррет, — что позволило сформировать консервативное большинство (шесть против трех судей). Благодаря этому перевесу впервые за долгое время высший судебный орган США стал проводником консервативной политики и принял постановления о разрешении президенту ограничивать въезд в США из отдельных стран²⁴, строить стену на границе с Мексикой²⁵, ограничивать предоставление убежища мигрантам²⁶. Верховный суд поддержал Д. Трампа в запрете на службу в армии трансгендеров²⁷. Принятие legislatures штатов Алабама, Арканзас, Джорджия, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Огайо, Юта законов, ограничивающих аборт, может в перспективе поставить под вопрос это право на всей территории США, если соответствующие апелляционные дела дойдут до Верховного суда²⁸.

Во внутривластном курсе администрации 45-го президента нашли воплощение и установки консервативного мейнстрима. В декабре 2017 г. была одобрена налоговая реформа, которая облегчала налогообложение в первую очередь для бизнеса и физических лиц. Ставка корпоративного налога была

²³ Shubber K. How Trump Has Already Transformed America's Courts. — *The Financial Times*. 25.09.2020. URL: <https://www.ft.com/content/032b3101-9b8b-4566-ace4-67b86f42370b> (accessed 01.11.2020).

²⁴ Liptak A., Shear M.D. Trump's Travel Ban Is Upheld by Supreme Court. — *The New York Times*. 26.06.2018. URL: <https://www.nytimes.com/2018/06/26/us/politics/supreme-court-trump-travel-ban.html> (accessed 30.03.2020).

²⁵ Ladin D. Can Anyone Stop Trump's Border Wall? — *The Atlantic*. 31.07.2019. URL: <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/07/trump-border-wall-supreme-court/595108/> (accessed 30.03.2020).

²⁶ Williams P. Supreme Court Allows Trump to Return Immigrants to Mexico while They Await Asylum. — *NBC News*. 11.03.2020. URL: <https://www.nbcnews.com/news/us-news/supreme-court-allows-trump-return-immigrants-mexico-while-they-await-n1155766> (accessed 30.03.2020).

²⁷ Vogue A., Cohen Z. Supreme Court Allows Transgender Military Ban to Go into Effect — *CNN*. 22.01.2019. URL: <https://edition.cnn.com/2019/01/22/politics/scotus-transgender-ban/index.html> (accessed 30.03.2020).

²⁸ Iati M., Paul D. Everything You Need to Know about the Abortion Ban News. — *The Washington Post*. 17.05.2019. URL: <https://www.washingtonpost.com/health/2019/05/17/havent-been-following-abortion-ban-news-heres-everything-you-need-know/> (04.12.2020).

снижена с 35% до 21%, вводилась новая налоговая шкала для доходов физических лиц от 10% до 37%, аналогичные ставки устанавливались на доходы семей²⁹. Наибольшее снижение налоговой нагрузки произошло для людей с невысокими доходами и самых богатых граждан.

Значимой консервативной инициативой президента Д. Трампа была попытка реформы системы здравоохранения с целью усиления в ней рыночных принципов. Несмотря на то, что предвыборное обещание о полной отмене *Obamacare* Трампу выполнить не удалось, одно из ключевых ее положений о штрафе для тех, кто отказывается самостоятельно обеспечивать себя страховкой, утратило силу закона. Дополнительными шагами для корректировки действующей системы стали решения об удешевлении базовых страховок и расширении участия работодателей в обеспечении сотрудников медицинскими полисами³⁰. Однако события 2020 г., связанные с распространением в США коронавирусной инфекции (на начало декабря было зарегистрировано почти 14 млн случаев заражения и свыше 270 тыс. летальных исходов)³¹, а также предвыборные баталии вокруг проблемы пандемии явственно показали, что американская система здравоохранения требует гораздо более глубоких преобразований.

В целом электоральный потенциал идеологии “трампизма” наглядно проявился во время президентской избирательной кампании 2020 г. Несмотря на негативный исход общенационального голосования для Д. Трампа, он набрал почти на 11,2 млн голосов избирателей больше, чем четырьмя годами ранее³². Ему также удалось привлечь на свою сторону часть избирателей латиноамериканского происхождения, которые традиционно в большинстве отдают предпочтение демократической партии³³. В то же время победа демократического кандидата высветила долгосрочные демографические тренды, которые серьезно влияют на политические процессы.

Структура электората в США постепенно, но неуклонно перестраивается. В политике более значимую роль стали играть поколения миллениалов и “зумеров”, чье взросление пришлось на период информационно-технологической революции и чьи предпочтения в большинстве на стороне либеральной идеологии, особенно по ряду “социальных вопросов”³⁴. Картину демографических изменений дополняют, с одной стороны, укрепление условной электоральной базы демократической партии, которую во многом составляют этнонациональные меньшинства, а с другой — сокращение числа

²⁹ Trump Tax Plan: The Key Points from the Final Bill. — *The Guardian*. 19.12.2017. URL: <https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/19/trump-tax-plan-whats-in-the-final-bill> (accessed 30.03.2020).

³⁰ Jost T. Trump Executive Order on ACA. — *Health Affairs*. 21.01.2017. URL: <https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hllog20170121.058405/full/> (accessed 30.03.2020).

³¹ Centers for Disease Control and Prevention COVID Data Tracker. — *Centers for Disease Control and Prevention*. 04.12.2020. URL: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#cases_casesinlast7days (accessed 04.12.2020).

³² Data Archive Elections. — *The American Presidency Project*. 16.12.2016. URL: <https://www.presidency.ucsb.edu/statistics/elections/2016> (accessed 04.12.2020); Presidential Results. — *CNN*. 11.11.2020. URL: <https://edition.cnn.com/election/2020/results/president> (accessed 04.12.2020).

³³ Medina J. How Democrats Missed Trump’s Appeal to Latino Voters. — *The New York Times*. 09.11.2020. URL: <https://www.nytimes.com/2020/11/09/us/politics/democrats-latino-voters.html> (accessed 04.12.2020).

³⁴ Inglehart R.F. 2020. Giving Up on God: The Global Decline of Religion. — *Foreign Affairs*. No. 5. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-08-11/religion-giving-god> (04.12.2020)

традиционных сторонников республиканской партии — белых американцев протестантского вероисповедания. По прогнозам Бюро переписи населения США, при сохранении текущих тенденций к 2044 г. последняя категория перестанет быть самой значительной среди американского населения³⁵. Так, перед республиканской партией встает серьезная проблема выбора между сохранением поддержки “ядерного” электората и расширением электоральной базы за счет других групп избирателей.

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Рассмотрение популизма в оптике идеологического подхода позволяет сделать вывод о том, что в своей концептуально-содержательной основе он во многом противоположен не только либерализму, но и консерватизму. Атакую либерально-демократический порядок, популизм пытается его демонтировать на внутривнутриполитическом и международном уровнях, тогда как консервативная идеология поощряет поддержание статус-кво и сохранение существующего устройства общества. Можно констатировать, что популизм, с одной стороны, несет угрозу либеральной демократии, а с другой — популистский потенциал может быть использован для ее корректировки и проведения реформ. В сфере международных отношений популизм бросает вызов либеральному мировому порядку и ставит под сомнение эффективность глобального управления и коллективной безопасности.

Сосуществование консерватизма и правого популизма в общем идейно-политическом поле приводит не только к их конкуренции, но и к концептуальной диффузии. С появлением в США широкого интеллектуального консервативного движения популизм стал заимствовать правые идейные концепты, а консервативные политические деятели, в свою очередь, энергично использовали популизм для мобилизации электората и формирования коалиций в период выборов. Однако усиление радикального компонента в идеологии правого популизма стимулировало поляризацию в консервативном лагере.

Американский вариант правого популизма — “трампизм” — во многом основывается на системе бинарных оппозиций, ключевой из которых является антитеза “благородный народ” и “коррупцированная элита”. При этом идеология “трампизма” имеет ярко выраженную моральную окраску, что позволяет ей конструировать гомогенные общности “истинных американцев” и всех “других”. Артикулируя чаяния части американцев (безусловно, значительной), “трампизм” возводит воображаемую идеализированную общность в ранг народа как целого, тем самым дискриминируя различные меньшинства, интеллектуалов, политических оппонентов, нелояльные СМИ. Антидемократизм идеологического конструкта “трампизма” проявился в его ориентации на авторитарный и харизматический тип лидерства, а также на достижение политических целей, минуя институциональные процедуры.

В последние годы предпосылками для роста популистских настроений в обществе послужили специфическая политическая культура и давняя традиция популизма в США. Благоприятные условия для его взлета создали экономические, социокультурные, технологические последствия глобализации

³⁵ Americans are More Positive about the Long-Term Rise in U.S. Racial and Ethnic Diversity than in 2016. — *Pew Research Center*. 01.10.2020. URL: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/01/americans-are-more-positive-about-the-long-term-rise-in-u-s-racial-and-ethnic-diversity-than-in-2016/> (accessed 04.12.2020).

и политика идентичности, которая сформировала “демаркационные” линии внутри социума.

Как идеология “с разреженным центром”, “трампизм” воспринял отдельные консервативные концепты. Его идеологическую структуру дополнили палеоконсервативные идеи изоляционизма и экономического протекционизма во внешней политике и традиционалистские подходы к социальным и экономическим вопросам — во внутренней. Несмотря на противодействие оппозиции, правый популизм у власти во многом сумел реализовать свою программу, задействовав политические механизмы — решения исполнительной власти, законодательную активность на федеральном и региональном уровнях, ротацию кадров в судебных органах.

Инструментально внешнеполитические установки “трампизма” реализуются через укрепление государственного суверенитета и оборонного потенциала США, пересмотр в одностороннем порядке международных соглашений, выход из наднациональных организаций, расширение торговых войн, тарифных ограничений и санкций. Во внутренней политике были проведены преобразования в миграционной сфере, налогообложении, здравоохранении, в области так называемых социальных вопросов.

Поражение республиканского кандидата на президентских выборах в 2020 г., конечно, может стать для партии стимулом к поиску идейных альтернатив. Однако выработка консолидирующей консервативной платформы даже с уходом Д. Трампа с политической арены будет осложняться тем, что правый популизм останется одним из ключевых элементов идейно-политического спектра США. Кроме того, объективная динамика экономического и технологического развития американского общества, негативно отражающаяся на положении так называемого социального слоя “лузеров глобализации”, в ближайшей перспективе продолжит формировать благоприятные условия для популизма.

Избирательная кампания 2020 г. показала, что правопопулистские идеологические конструкторы оказались достаточно эффективными в плане консолидации и мобилизации “ядерного” электората республиканской партии. В то же время долгосрочные фундаментальные демографические тенденции развития американского общества уже сейчас становятся вызовом для партии, справиться с которым ей будет все сложнее без коренной идейно-политической трансформации.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.06

AMERICAN CONSERVATISM AND THE CHALLENGE OF CONTEMPORARY POPULISM: THEORETICAL AND IDEOLOGICAL ASPECTS

L.M. Sokolshchik¹

¹ National Research University Higher School of Economics. Moscow, Russia

SOKOLSHCHIK, Lev Markovich, Cand. Sci. (Hist.), Research Fellow, Centre for Comprehensive European and International Studies (CCEIS), National Research University Higher School of Economics, email: lsokolshchik@hse.ru

Sokolshchik L.M. American Conservatism and the Challenge of Contemporary Populism: Theoretical and Ideological Aspects. — Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 78-93. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.06>

Received: 19.12.2019. Accepted: 24.11.2020

Abstract. The challenge right-wing populism poses to conservatism and liberal democracy in the United States deserves the most accurate of analyses, especially through the prism of an ideological approach. The author investigates ideological structures of American conservatism and populism using Michael Frieden's method of "ideological morphology". The methodology of the paper divides ideologies into a thin-centered ideology and a host ideology. The former category, which includes populism, shapes their discourse using the concepts of more universal host ideologies such as conservatism. The ideological contents of American conservatism in most areas (traditionalism, libertarianism, social conservatism, neoconservatism, paleoconservatism) and various types of populism are under examination in the research. The development of the intellectual conservative movement in the United States in correlation with the ideological evolution of populism is investigated. The interrelatedness of American conservatism and populism at different historical stages is revealed. The author defines the basic elements of Trumpism, such as the contrast between 'pure Americans' and the 'corrupt elite' and the concept of the 'common people's will, and considers the role of American conservatism in the formation of Trumpism as a contemporary type of populism in the United States, although, due to the 2020 elections, it is at least temporarily exiting the political scene. Trumpism, on the one hand, creates a threat to liberal democracy in the United States, and, on the other hand, it is not devoid of the potential to correct it. The author has discovered that Trumpism accepts the paleoconservative ideas of foreign policy isolationism and economic protectionism, and has also identified the correlation between Trumpism and traditionalism in the domestic political agenda that existed during the presidency of Donald Trump. The 2020 presidential election results are analyzed in the article in the context of the ideological and political evolution of the Republican Party.

Keywords: American conservatism, Republican Party, populism, Trumpism, liberal democracy, ideology, pluralism, elitism, Donald J. Trump.

References

- Alexander J.C. 2019. Raging Against the Enlightenment: The Ideology of Steven Bannon. — *Politics of Meaning/Meaning of Politics: Cultural Sociology of the 2016 U.S. Presidential Election*. Ed. by J.L. Mast, J.C. Alexander. Cham: Palgrave Macmillan. P. 137-148. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-95945-0>
- American Conservatism: An Encyclopedia*. 2006. Ed. by B. Frohnen, J. Beer, N.O. Jeffrey. Wilmington: ISI Books. <https://doi.org/10.1080/15588740802269265>
- Anselmi M. 2018. *Populism: An Introduction*. London, New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315268392>
- Boot M. 2018. *The Corrosion of Conservatism: Why I Left the Right*. New York, London: Liveright Publishing Corporation.
- Ceaser J.W. 2011. *Designing a Polity: America's Constitution in Theory and Practice*. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers. <https://doi.org/10.1086/666324>
- Drolet J.-F., Williams M.C. 2018. Radical Conservatism and Global Order: International Theory and the New Right. — *International Theory*. Vol. 10. No. 3. P. 285-313. <https://doi.org/10.1017/S175297191800012X>
- Edwards L. 2019. Constitutional Populism: A Strain of the Politics that Runs from Goldwater to Trump. — *The American Conservative*. Vol. 18. No. 3. P. 14.
- Freedman M. 1998. Is Nationalism a Distinct Ideology? — *Political Studies*. Vol. 46. No. 4. P. 748-765. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00165>
- Freedman M. 2013. The Morphological Analysis of Ideology. — *The Oxford Handbook of Political Ideologies*. Ed. by M. Freedman, M. Stears. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxford-hb/9780199585977.013.0034>
- Glenn B.J., Teles S.M. 2009. *Conservatism and American Political Development*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1002/j.1538-165X.2010.tb00687.x>
- Kirk R. 2003. The Conservative Mind. — *Conservatism in America since 1930*. Ed. by G. Schneider. New York: New York University Press. P. 107-121.
- Kristol I. 1995. *Neoconservatism: The Autobiography of an Idea*. New York: Free Press.
- Mudde C. 2010. The Rise (and Fall?) of American Conservatism. — *The Journal of Politics*. Vol. 72. No. 2. P. 588-594. <https://doi.org/10.1017/s0022381609990995>
- Muller J.W. 2006. Comprehending Conservatism: A New Framework for Analysis. — *Journal of Political Ideologies*. Vol. 11. No. 3. P. 359-365. <https://doi.org/10.1080/13569310600924012>
- Nash G.H. 1996. *The Conservative Intellectual Movement in America since 1945*. Wilmington: Intercollegiate Studies Institute.

Oxford Handbook of Populism. 2017. Ed. by C.R. Kaltwasser, P. Taggart, P.O. Espejo, P. Ostiguy. Oxford: Oxford University Press. <http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198803560.001.0001>

Patenaude W. 2019. Modern American Populism: Analyzing the Economics Behind the “Silent Majority”, the Tea Party, and Trumpism. — *The American Journal of Economics and Sociology*. Vol. 78. No. 3. P. 787-834. <https://doi.org/10.1111/ajes.12281>

Peterson J. 2018. Present at the Destruction? The Liberal Order in the Trump Era. — *The International Spectator*. Vol. 53. No. 1. P. 28-44. <https://doi.org/10.1080/03932729.2018.1421295>

Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective to Democracy? 2012. Ed. by C. Mudde, C.R. Kaltwasser. New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139152365>

Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse. 2013. Ed. by R. Wodak, M. Khosravinik, B. Mral. London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury. <http://dx.doi.org/10.5040/9781472544940>

Skonieczny A. 2018. Emotions and Political Narratives: Populism, Trump and Trade. — *Politics and Governance*. Vol. 6. No. 4. P. 62-72. <http://dx.doi.org/10.17645/pag.v6i4.1574>

Twenty-First Century Populism. 2008. Ed. by D. Albertazzi, D. McDonnell. New York: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230592100>

Wasko-Owsieczek E. 2018. The Tenets of Trumpism — From Political Realism to Populism. — *Przegląd Politologiczny*. No. 3. P. 83-93. <https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.3.6>

Drobnitski D.O. 2016. Charismatic Business on His Way to Washington. — *Essays on Conservatism*. No. 1. P. 253-261. (In Russ.)

Zolotykh V.R. 2015. American Conservatives and Immigration Reform: Political and Electoral Aspects; Issue of Amnesty. — *Perm University Herald. History*. Vol. 29. No. 2. P. 41-49. (In Russ.)

Krastev I. 2018. *After Europe*. Moscow: Izdatel'skiy dom “Delo” RANEPА. (In Russ.)

Muller J.W. 2018. *What is Populism?* Moscow: HSE Publishing House. (In Russ.) <https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1710-9>

Oskolkov P.V., Tverdoy-Burmuli A.I. 2018. European Right-Wing Populism and Nationalism: Revisiting the Correlation of Features. — *Bulletin of Perm University. Political Science*. No. 3. P. 19-33. (In Russ.) <https://doi.org/10.17072/2218-1067-2018-3-19-33>

Rakhshmir P.Yu. 2007. *Amerikanskije konservatory i imperskaya ideya* [American Conservatives and the Idea of Empire]. Perm: Perm State University. (In Russ.)

Sokolshchik L.M. 2015. The Rise of Social Conservatism in the USA (the 1970s — 1980s). — *Perm University Herald. History*. No. 1. P. 249-258. (In Russ.) URL: <http://press.psu.ru/index.php/history/article/view/3334/2418>

Hayek F.A. 2005. *Road to Serfdom*. Moscow: Novoe Izdatel'stvo. (In Russ.)

Shkolyar N.A. 2017. Revision of NAFTA is a Threat for Mexico. — *Latinskaia Amerika*. No. 3. P. 43-49. (In Russ.)

Литература на русском языке

Дробницкий Д.О. 2016. Бизнесмен-харизматик на пути в Вашингтон. — *Тетради по консерватизму*. № 1. С. 253-261.

Золотых В.Р. 2015. Американские консерваторы и иммиграционная реформа: политические и электоральные аспекты, проблема амнистии. — *Вестник Пермского университета. Сер. История*. Вып. 29. № 2. С. 41-49.

Крастев И. 2018. *После Европы*. М.: Издательский дом “Дело” РАНХиГС.

Мюллер Я.-В. 2018. *Что такое популизм?* М.: Издательский дом Высшей школы экономики. <https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1710-9>

Осколков П.В., Тэвдой-Бурмули А.И. 2018. Европейский правый популизм и национализм: к вопросу о соотношении функционала. — *Вестник Пермского университета. Сер. Политология*. № 3. С. 19-33. <https://doi.org/10.17072/2218-1067-2018-3-19-33>

Рахшмир П.Ю. 2007. *Американские консерваторы и имперская идея*. Пермь: ПГУ.

Соколышчик Л.М. 2015. Подъем социального консерватизма в США (1970-1980-е гг.). — *Вестник Пермского университета. Сер. История*. № 1. С. 249-258. <http://press.psu.ru/index.php/history/article/view/3334/2418>

Хайек Ф.А. 2005. *Дорога к рабству*. М.: Новое издательство.

Школяр Н.А. 2017. Пересмотр NAFTA: угроза для Мексики. — *Латинская Америка*. № 3. С. 43-49.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.07

В ПОИСКАХ ИСТОКОВ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

А.Н. Мочалов

МОЧАЛОВ Артур Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права, Уральский государственный юридический университет, Екатеринбург, email: artur.mochalov@usla.ru

Мочалов А.Н. В поисках истоков многонационального федерализма. — Полис. Политические исследования. 2021. № 1. С. 94-109. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.07>

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00697. Автор выражает признательность за содержательные рекомендации профессору А.-Г. Ганьону (г. Монреаль, Канада), профессору Ф. Палермо (г. Больцано, Италия), профессору Б. Ароре (г. Нью-Дели, Индия), профессору К.К. Суан Хаусингу (г. Хайдарабад, Индия) и профессору Н. Стейтлеру (г. Кейптаун, Южно-Африканская Республика).

Статья поступила в редакцию: 04.09.2018. Принята к публикации: 16.10.2020

Аннотация. В статье представлена авторская позиция по вопросу происхождения и политико-правовой природы многонационального федерализма. Опираясь на российские и зарубежные исследования по теории демократии, а также проблемам национализма и этнической идентичности, автор приходит к выводу, что многонациональный федерализм является закономерным результатом развития концепции государства-нации. Будучи ответом на вызовы регионального этнического национализма, федерализм позволяет создать институциональную структуру, при которой регион концентрированного проживания культурно обособленной общности получает ограниченную государственность, но при этом остается под суверенитетом более крупного государственного образования (федерации). В результате представители этнической группы, составляющие региональное большинство, но являющиеся меньшинством в масштабах страны, получают дополнительные возможности не только для реализации своих культурных прав, но и для политического участия в решении публичных дел, особенно на уровне своего субъекта федерации. Сам же такой субъект в рамках националистического дискурса вполне может рассматриваться как подобие государства-нации, а образующий его обособленный в культурном отношении территориально-политический коллектив — как “внутренняя нация”. Многонациональность, по мнению автора, представляет собой неклассическую форму государственности, альтернативу концепции государства-нации. Она исходит из того, что национальная идентичность человека не может быть статичной, она подвижна и может приобретать множественный характер. Государство с этой точки зрения не тождественно нации; оно может включать в себя несколько “внутренних” наций. Многонациональный федерализм создает условия для многоуровневого гражданства и многоуровневой гражданской и национальной идентичностей. Автор полагает, что российский федерализм следует также переосмыслить, акцентировав внимание на развитии его демократического потенциала.

Ключевые слова: многонациональный федерализм, этнический федерализм, этничность, национализм, идентичность, государство-нация, нация, дискурс, демократия, меньшинства.

ВВЕДЕНИЕ

Многонациональный (или этнический) федерализм¹ на протяжении последних десятилетий остается одной из наиболее обсуждаемых тем в отечественной федералистике и при этом — одной из самых неоднозначных. Его изучение в большинстве случаев связано с поиском ответа на вопрос, должны ли существовать в составе Российской Федерации “этнические” субъекты. Высказываются кардинально противоположные мнения. Авторы, постулирующие в качестве основного тезиса “сохранение самобытности народов России” и *status quo* “этнических” регионов, считают наличие таких субъектов необходимой гарантией культурного многообразия и защиты интересов этнических групп [Абдулатипов, Михайлов 2014; Болтенкова, Рябова 2016]. Ряд ученых рассматривают этнический федерализм как форму самоопределения этнических групп [Фарукшин 2017; Хабриева 2010].

Другие авторы акцентируют внимание на укреплении территориальной целостности России, в связи с чем приходят к убеждению о необходимости отказаться от этнического (национального) принципа федеративного устройства [Авксентьев, Васильченко 2013; Старостина 2016]. В нем они видят фактор этнизации власти, разгула этнического фаворитизма и угрозы единству страны. Критика этнического федерализма получила мощную поддержку со стороны последователей конструктивистской школы, ставящих под сомнение наличие у этнических групп коллективных прав, в том числе права на самоопределение [Мартьянов 2011; Филиппов 2003]. Опираясь на тезис (впрочем, весьма уязвимый) о теоретической несвязанности индивидуальных культурных прав, обусловленных этнической принадлежностью человека, и территориального устройства государства, конструктивисты полагают, что федерализм “эссенциализирует этничность”, переводя неустойчивые во времени и не имеющие четких границ “статистические совокупности” людей в разряд коллективных субъектов политического действия.

Увлекаясь решением прикладных задач, отечественные ученые, как правило, обходят стороной вопрос о природе многонационального федерализма и его происхождении. В результате в обществоведческих науках утвердилась довольно узкая этнократическая трактовка данного явления, часто характеризуемого в терминах “советского наследия”. Критика — порой заслуженная — советской и российской моделей федеративного устройства нередко экстраполируется на многонациональный (этнический) федерализм вообще и используется в качестве доказательства его несостоятельности [Авксентьев, Васильченко 2013; Филиппов 2003]. Такая трактовка не только оставляет вне поля зрения канадский, швейцарский, индийский, бельгийский и другие не связанные с “советским прошлым” федерализмы, но и приводит к крайне спорному выводу, что в “успешных” федерациях границы между субъектами непременно должны конструироваться в отрыве от территорий проживания населяющих страну народностей, языковых и религиозных групп.

В западной политологической и конституционно-правовой литературе многонациональный (этнический) федерализм тоже занимает далеко не

¹ В литературе термины “этнический федерализм”, “национальный федерализм”, “многонациональный федерализм” обычно используются как синонимы. Далее я поясню, почему и в каких ситуациях термин “многонациональный федерализм” видится более предпочтительным, пока же буду употреблять эти термины в качестве равнозначных.

последнее место в исследовательской повестке (примечательно, что российский федерализм представлен в зарубежных сравнительных исследованиях значительно скромнее, чем, например, канадский, индийский или бельгийский). Среди представителей зарубежной науки также встречаются как те, кто настроен по отношению к этническому федерализму скептически или по крайней мере сдержанно [Anderson 2016; Erk, Anderson 2009; Horowitz 1985], так и те, кто видит в нем наиболее логичный способ территориальной организации государств, имеющих выраженное разделение на этнотерриториальные сегменты [Gagnon 2014; Kymlicka 2001; McGarry, O’Leary 2007]. Кардинальное отличие от российского исследовательского ландшафта состоит в том, что в западной литературе многонациональный федерализм оценивается не с этнократических, а с демократических позиций, в том числе с точки зрения его способности выступать инструментом демократического урегулирования межэтнических противоречий, встраивания (аккомодации) меньшинств в структуру государства, их вовлечения в функционирование институтов публичной власти. Разработанная Р. Далем [Dahl 1983], А. Лейпхартом и другими влиятельными теоретиками концепция демократического федерализма применительно к сложносоставным обществам получила развитие в более поздних работах специалистов по многонациональным федерациям [Burgess 2012; Hechter 2001; Keating 2001; Watts 2007].

Демократическая интерпретация многонационального федерализма в известной степени представляет собой альтернативу его этнократическому пониманию и требует иных подходов к определению его исторических истоков и идейных оснований.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ИЛИ ЭТНИЧЕСКИЙ?

Начать разговор следует с важного терминологического замечания. В литературе, как правило, не проводится различия между категориями “этнический федерализм” (“этнофедерализм”), “национальный федерализм”, “многонациональный федерализм”. Выбор в пользу того или иного термина считается делом вкуса конкретного исследователя и редко выступает предметом специального обсуждения. Отсутствию единого подхода к терминологии обычно не придается значения: применительно к трудам ученых, работающих на постсоветском пространстве, оно часто списывается на распространенное еще с советского времени “этническое” понимание нации. Однако “терминологический хаос” (как это охарактеризовал Уолкер Коннор) присущ не в меньшей степени и западной науке [Barrington 1997: 712; Connor 1994: 89–117]. Выражения “этнический федерализм” (*ethnic federalism*) [Anderson 2016; Erk, Anderson 2009], “многонациональный федерализм” (*pluri-national federalism*) [Keating 2001], “мультинациональный федерализм” (*multinational federalism*) [Burgess 2012; Watts 2007] используются различными зарубежными авторами как очень близкие и даже тождественные по смыслу.

В поисках выхода из лабиринта понятий необходимо вновь обратиться к не раз поднимавшемуся в литературе [Barrington 1997; Connor 1994; Kymlicka 2001; Альтерматт 2000; Семененко 2015; Тишков 2003; 2009] вопросу о соотношении таких категорий, как нация и этническая группа (этническая общность).

То, что “этническое” и “национальное” принадлежат разным категориальным полям, в современной науке вряд ли ставится кем-то под сомнение. Этнические группы понимаются как общности, базирующиеся прежде всего на культурной самоидентификации индивидов. В отличие от других культурных общностей они объединяют людей, принадлежащих нескольким поколениям и разделяющих не только общие элементы культуры, но и миф об общем происхождении, придающий членам группы чувство солидарности [Дробижева 2001: 170; Як 2017]. Инструментом сплочения этнической группы выступает этническая идентичность, вбирающая в себя широкий спектр различных видов социально-культурной идентификации (язык, религия, происхождение и т.д.) [Ethnicity... 1975: 18], хотя и не сводящаяся к какому-то одному из них. В современных интерпретациях термин “этничность” часто приобретает предельно широкое значение, охватывающее собой все типы более-менее устойчивой межпоколенческой культурной идентификации на основе исторической памяти (о многообразии подходов к пониманию этничности см. [Семененко 2015; Тишков 2003: 95-111; 2016]). В противоположность этнической группе нация не может быть осмыслена вне политического контекста. Как заметил Э. Хобсбаум, она “есть социальное образование лишь постольку, поскольку связана с определенным типом современного территориального государства, с ‘нацией-государством’” [Хобсбаум 1998: 19]. Нация не является ни синонимом этнической группы, ни ее разновидностью, ни ступенью в ее эволюции. Нация — качественно иная общность, “государственно-территориальная и политико-правовая” [Тишков 2009: 34].

Парадокс состоит в том, что разделение национального и этнического, столь очевидное в аналитических построениях, в реальности оказывается непростой задачей, если вообще возможной. Несмотря на очевидные различия, нации и этнические группы имеют довольно много схожих черт. Как те, так и другие обычно связаны в представлениях людей с определенными географическими территориями и предполагают культурную общность своих членов. Будучи “воображаемыми сообществами”, они формируют в индивидуальном сознании устойчивые наборы маркеров, задающих условные границы “своей” нации или этнической группы. Воспроизводясь в повседневных практиках на протяжении нескольких поколений, данные маркеры обеспечивают относительную стабильность общности во времени, узнавание и признание ее членами друг друга; олицетворяют коллективное “мы”. Все это позволяет широко использовать в конструировании национальной идентичности мифы, символы и ценности, изначально принадлежащие области этнического. Причем этнические маркеры нередко приобретают для национальной идентификации ведущее значение. В результате эти два типа идентичностей могут соприкасаться, пересекаться, дополнять, а иногда — вопреки теоретическим построениям — подменять друг друга или сливаться в конгломератную этнонациональную идентичность.

В свете сказанного заслуживает внимания взгляд на национализм как дискурсивную практику [Пушкарева 2017; Як 2017]. В различных ситуациях в зависимости от исторического и социально-политического контекста в символическом пространстве национальной идентичности могут доминировать различные ценности, смыслы и идеи, в том числе те, которые имеют “этническое” происхождение. И.С. Семененко приходит к выводу, что само понятие

нации в зависимости от контекста получает разные трактовки, особенно в культурно неоднородных обществах [Семененко 2015: 95].

Таким образом, использование прилагательных “этнический”, “национальный”, “многонациональный” применительно к федерализму вряд ли можно считать простым следствием терминологической путаницы в текстах отдельных исследователей. Причина сложившейся ситуации лежит гораздо глубже. Распутывая терминологический клубок, мы не можем обойти стороной концепцию государства-нации, которая служит отправной точкой для понимания того, что есть “национальное”. Именно эта концепция в конце XVII в. задала своего рода “золотой стандарт” государственности и определила вектор развития представлений о государственной территории и ее структуре на последующие два века. Поэтому ее анализ поможет приблизиться к ответу на вопрос о природе и происхождении многонационального (этнического) федерализма. Впрочем, даже беглого знакомства с государством-нацией уже достаточно, чтобы еще раз убедиться в том, что границы между национальным и этническим весьма подвижны и условны.

ГОСУДАРСТВА-НАЦИИ И “БЕЗГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЦИИ”

Большинство исследователей национализма — в какой бы парадигме они ни работали — сходятся во мнении, что едва ли не каждое современное государство-нация формировалось не с чистого листа, а на базе определенного культурно-этнического субстрата [Connor 1994; Альтерматт 2000; Андерсон 2016; Брубейкер 2012; Геллнер 1991; Хобсбаум 1998; Як 2017]. Суть политического проекта государства-нации можно описать как помещение некоторого территориального сообщества людей, принадлежащих одной культуре (или по крайней мере близким друг другу культурам) в политико-правовое лоно государства с наделением данного сообщества свойствами коллективного субъекта (народа), выступающего в границах государства носителем суверенной власти и источником ее легитимности.

Э. Хобсбаум делает любопытное наблюдение: в старых европейских словарях слово “нация” определялось как общность рода, происхождения, т.е. имело именно этническое значение, и лишь с распространением идей Французской буржуазной революции появилась гражданская трактовка нации как “великой солидарности” (Э. Ренан), “совокупности граждан, чей коллективный суверенитет образует государство, представляющее собой реализацию их политической воли” [Хобсбаум 1998: 34]. Но и “гражданские” нации никогда не были индифферентны культурным различиям: культурная гомогенность продолжала рассматриваться в качестве их необходимого состояния [Альтерматт 2000: 127; Геллнер 1991: 108; Малахов 2011; Як 2000: 117]. Поэтому к началу XX в. “все более важными, решающими (и даже единственными) критериями национальной государственности становились этнос и язык” [Хобсбаум 1998: 163], а национализм выступил “теорией политической законности”, означающей, что “этнические границы не должны пересекаться с политическими” [Геллнер 1991: 24].

Неотъемлемым атрибутом любого государства-нации является территория. Причем ее роль двояка. Во-первых, с политико-правовой точки зрения она служит пространственным выражением суверенитета народа. “Принадлежность” государственной территории определенной политически

организованной общности лежит в основе Вестфальской системы мироустройства [Моогс 2004; Палермо 2017]. Во-вторых, территория, занимаемая нацией, рассматривается как ареал распространения ее культуры, осмысленное культурное пространство [Тишков 2003: 286, 296], включающее в себя “осязаемые этнокультурные ориентиры”, с помощью которых утверждается потребность национального самостояния [Семененко 2013: 119]. Политико-правовая и культурная ипостаси территории создают для государства “абсолютное пространство”, выступающее важной предпосылкой для политического самоопределения нации и поддержания ее групповой идентичности [Murphy 1989: 414; Як 2017: 124]. Безусловное моральное и юридическое право нации не только осуществлять политический контроль над “принадлежащей” ей территорией, но и распространять на нее свой “культурный суверенитет”, долгое время выступало в качестве общепризнанного стандарта [Малахов 2011].

В действительности практически ни одно государство не было однородным в культурном отношении. В большинстве стран существовали регионы или местности концентрированного проживания относительно обособленных групп, оказавшиеся в ситуации культурных меньшинств². Инаковость таких групп, по тем или иным причинам (например, в силу значительной численности или географической изоляции) не поддавшихся приведению в соответствие с национальным культурным образцом и не желавших мириться с уготованным им подчиненным статусом, все чаще оборачивалась “этническим противостоянием культурным проектам национальных государств” [там же: 89] как реакцией на ассимиляционистское давление или угнетение (реальное или воображаемое) со стороны последних [McGarry, O’Leary 2007; Хобсбаум 1998: 161-173].

Этничность, облекаясь в националистический дискурс, становилась ключевым ресурсом политической мобилизации местного населения и конструирования национального самосознания этнических групп, которые прежде не проявляли интереса к государственным формам социальной организации. Обретение статуса “нации” рассматривалось ими как естественный путь к преодолению подчиненного положения и сохранению идентичности, поскольку только будучи “нацией” такая группа имела возможность вступать в отношения с другими нациями на равных. Культурно-этнические движения меньшинств стали преобразовываться в национально-политические, сопровождающиеся требованиями создания собственного национального государства [Ян 2000: 116], поскольку, как заметил Э. Хобсбаум, именно государство представляло собой тот самый механизм, “который непременно следовало пускать в ход для того, чтобы превратить ‘национальность’ в ‘нацию’” [Хобсбаум 1998: 153]. Так возникают фламандский и ирландский, позднее каталонский, баскский, шотландский, валлийский, квебекский и другие национализмы.

Таким образом, в границах одного государства могло возникнуть несколько конкурирующих национализмов: во-первых, официальный государственный национализм и, во-вторых, национализм меньшинств, рассматривающих себя в качестве *потенциальных наций* (называемых в западной литературе также “безгосударственными нациями”, “внутренними нациями”, “малыми нациями”, “побочными нациями” [Connor 1994; Gagnon 2014; Keating 2001; Kymlicka

² Термин “меньшинство” появился в политическом и правовом лексиконе в начале XX в.

2001; Watts 2007]). Вряд ли существуют раз и навсегда заданные критерии, по которым можно было бы провести четкую границу между территориально концентрированными культурными общностями, даже выдвигающими определенные политические требования, и “безгосударственными нациями”. Отличия между ними ситуативны, в чем-то даже иллюзорны (что, впрочем, совершенно не дает поводов говорить об их надуманности), а восприятие той или иной территориально обособленной группы в качестве общности не просто культурной, а культурно-политической, складывается в конкретном социальном и историческом контексте и зависит от многих факторов. “Безгосударственные нации” воспроизводят в представлениях людей те же признаки, что и “большие” нации, за исключением наличия собственного суверенного государства; его отсутствие рассматривается с точки зрения “безгосударственных наций” как следствие случайного стечения обстоятельств и исторической несправедливости. Очевидно, что далеко не все, но лишь некоторые культурно отличительные общности предпринимают выраженные попытки “стать нациями” [Геллнер 1991: 111] или добиваться официального признания своей идентичности, что в конечном счете и обуславливает их характеристику как “безгосударственных наций”.

В литературе национализм меньшинств часто характеризуется как “этнический” и порой противопоставляется государственному. Действительно, будучи реакционным и в чем-то враждебным по отношению к государственному, национализм “безгосударственных наций” обычно отличается повышенным радикализмом и сепаратистским уклоном, придавая решающее и даже абсолютное значение этнической принадлежности членов “нации”. Такой национализм всегда рассматривался — причем не без оснований — как представляющий серьезную угрозу Вестфальской миросистеме [Moore 2004: 1320-1321], ведь территория, которую этническая группа намеревается объявить своим “национальным” государством, уже является “принадлежностью” определенной нации, и на нее распространяется суверенитет соответствующего государства. Признание права этнической группы, объявившей себя “нацией”, контролировать территорию, которую она считает “своей”, легитимировало бы аналогичные притязания со стороны других групп, что привело бы к череде сецессий и территориальных споров. Поэтому противодействие национализму меньшинств рассматривалось на протяжении всей эпохи Модерна как проявление естественного права и обязанности всякого государства защищать нацию и “принадлежащую” ей территорию не только от внешнего вторжения, но и от внутреннего сепаратизма.

Стоит, однако, заметить, что “безгосударственные нации” нельзя воспринимать как аномалию. Как и государства-нации, они стали закономерным следствием национализма и продуктом националистического дискурса, центральным вопросом которого всегда оставался вопрос о том, какой нации “принадлежит” государство [Альтерматт 2000]. Националистический дискурс меньшинств повторял риторику “больших наций” и опирался на ранее сформулированные ими моральные основания. Поэтому и этнический национализм меньшинств, и государственный национализм (как правило, тоже не лишенный этнических черт) имеют одинаковую природу и подчиняются одним и тем же закономерностям [Connor 1994: 69; Брубейкер 2012: 245-253].

В XX в., особенно после Второй мировой войны, утвердилось понимание, что подчинение инокультурных общностей вопреки их воле интересам той или иной нации вступает в противоречие с принципами демократии и верховенства права. Государство, объявляющее себя демократическим, более не могло придавать абсолютный приоритет императивам государственного единства и целостности территории, пренебрегая при этом интересами культурных меньшинств и попирая права тех, кто им принадлежит. Кроме того, стало очевидно, что практики “нациестроительства”, основанного на принудительной ассимиляции или аккультурации, далеко не всегда приводили к формированию культурно однородных наций, а, напротив, делали межкультурные расколы еще сильнее (как это произошло, например, в Бельгии или Испании). Многие страны вступали в постнационалистическую эру, начавшуюся приблизительно с 1960-х годов, имея глубокие размежевания по этнотерриториальным линиям.

Постепенно значительная часть государств стала более терпимо относиться к присутствию в своем составе территориальных сегментов с культурно обособленным населением. Вся вторая половина XX в. ознаменовалась возрастанием интереса к так называемым правам меньшинств и механизмам урегулирования межэтнических конфликтов, а также появлением большого числа теоретических концепций, предлагающих способы организации демократического сосуществования в одном государстве различных сегментов, где меньшинство не подчиняется большинству, а власть большинства конституционно ограничена в интересах меньшинств. Взоры ученых и политиков все чаще обращались в сторону федерализма.

101

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ КАК ОТВЕТ НА ПРИТЯЗАНИЯ “БЕЗГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЦИЙ”

Вопреки ожиданиям Э. Геллнера и других влиятельных мыслителей, закат эпохи Модерна не привел к утрате привлекательности национализма и националистического дискурса. Напротив, с размыванием национально-государственной идентичности и ослаблением роли национальных государств в конструировании политических и культурных ценностей наступил “ренессанс этничности”, одним из проявлений которого стал дальнейший рост национализма среди меньшинств [Альтерматт 2000: 203; Малахов 2011: 89; Семененко 2015: 92; Семененко, Лапкин, Пантин 2010: 41-42]. Для смягчения противоречий и разрешения конфликтов требовались инструменты, которые позволяли бы достичь компромисс: с одной стороны, хотя бы частично удовлетворить территориальные притязания “безгосударственных наций” и тем самым смягчить градус политической напряженности; с другой — сохранить территориальную целостность государства. Мировой политический опыт подсказывал, возможно, единственное демократическое решение, позволяющее достичь этих целей одновременно — федерализм, смысл которого в том и состоит, чтобы согласовывать интересы всего государства с интересами региональных сообществ. Изменится ли что-то, если одно или несколько таких сообществ оказываются выкрашенными в “этнические” цвета?

Роберт Даль, формулируя концепцию демократического федерализма, резонно заметил, что, если в условиях централизованного управления меньшинства, концентрированно проживающие в регионах, вынуждены подчиняться

воле общегосударственного большинства, то в условиях федерализма (при условии соблюдения демократических принципов) “общенациональное большинство не может превалировать над меньшинством, составляющим большинство в одной из наделенных конституционными привилегиями местных единиц” [Dahl 1983: 100]. Преобразуя группы, составляющие меньшинство в масштабах государства, в локальное большинство, федерализм в русле традиций классической мажоритарной демократии обеспечивает соответствие решений, принимаемых региональными органами власти, интересам этого локального большинства, и при этом гарантирует, что голоса меньшинств не растворятся в голосах общенационального большинства [Kymlicka 2001: 93; Палермо 2017: 56-57].

Такой подход в определенной степени противостоит встречающемуся в работах ряда отечественных авторов “группистскому” пониманию этнического федерализма. Бенефициарами федеративных инструментов в данном случае выступают не только сами меньшинства как группы (хотя, бесспорно, федерализм является значимой гарантией сохранения их идентичности), но и — причем даже в первую очередь — лица, принадлежащие меньшинствам, которые получают больше возможностей для реализации своих индивидуальных культурных прав и участия в процессах принятия решений, непосредственно затрагивающих их интересы.

Создавая институциональный каркас, в котором большинство и меньшинства получают возможность вступать в отношения друг с другом в качестве равных [Gagnon 2014: 73, 78], федерализм позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, наделение региона проживания культурно обособленной общности статусом субъекта федерации или национально-территориальной автономии означает предоставление ему права самостоятельно решать определенные вопросы — прежде всего в сферах, являющихся ключевыми для поддержания национальной идентичности соответствующей группы (использование языков, культура, образование, охрана окружающей среды, регулирование традиционных для региона отраслей хозяйства и т.д.). Во-вторых, поскольку федерализм не исчерпывается одной лишь децентрализацией властных полномочий, а предполагает участие политико-территориальных единиц государства в выработке решений на федеральном уровне (в том числе путем направления представителей в парламент, назначения части судей верховного суда), получивший определенную самостоятельность “этнический” регион не обособляется от остальной части государства и не исключается из сферы принятия общегосударственных решений. Тем самым создаются условия для предотвращения маргинализации “безгосударственных наций” и смягчения их требований предоставления полного суверенитета [Hechter 2001: 146]. В-третьих, федеративный принцип территориальной организации государства означает невозможность одностороннего изменения статуса субъекта федерации по решению центрального правительства. Благодаря этому региональные культурные общности получают конституционные гарантии сохранения территориального самоуправления в будущем [Moore 2004: 1337].

Тенденция децентрализации и федерализации государств с предоставлением регионам проживания “безгосударственных наций” территориального самоуправления получает достаточно бурное развитие, особенно в последние десятилетия XX в. В качестве ответа на “фламандский вопрос”

в 1993 г. федеративным государством провозглашает себя Бельгия. Политико-территориальное устройство Испании и Италии — формально унитарных государств — сегодня также основывается на принципах федерализма, обусловленных предоставлением автономии “этническим” регионам (таким, как Каталония и Страна Басков в Испании или Южный Тироль в Италии). В Великобритании, формально также не являющейся федерацией, децентрализация власти и расширение самостоятельности Шотландии и Северной Ирландии фактически привели к установлению в конце XX в. квазифедеративной формы государственного устройства. Федерализм был выбран в качестве принципа территориальной организации такого непростого с этнокультурной точки зрения образования, как Босния и Герцеговина. Наконец, и сам Европейский союз также не лишен определенных черт федерации.

За пределами Европы следует выделить Канаду. Федерализм возник здесь еще в XIX в. и уже тогда учитывал своеобразие двух исторически сложившихся частей страны — британской и французской. Рост квебекского национализма, вылившийся в так называемую “Тихую революцию”, привел в начале 1980-х годов к конституционной реформе и существенной трансформации федеративных отношений, в том числе повышению самостоятельности франкоязычной провинции Квебек. Другим интересным примером является Индия, перешедшая в ответ на вызовы внутреннего национализма — хотя и не без колебаний — к использованию лингвистического, а затем и этнического критерия формирования субъектов федерации.

Следует обратить внимание на статус субъектов федеративного государства. Это не просто самоуправляемые единицы, а “государствоподобные” образования, обладающие определенной политической самостоятельностью [Kinsaid 2011: xxii; Чиркин 2019: 111–112]. У них есть многие атрибуты, характерные в первую очередь для государств — парламентские учреждения, законодательство, официальные символы; часто — конституции, судебные и партийные системы, официальные языки. Предоставление “этническому” региону статуса субъекта федерации или автономии всегда означает юридическую фиксацию (открытую или подразумеваемую) определенной связи между территорией региона и населяющей ее культурной общностью, причем логика Вестфальской системы и националистический дискурс обуславливают восприятие этой связи именно в терминах “принадлежности” [Палермо 2017: 55–57, 63]. “Безгосударственная нация”, населяющая такой регион, в результате “получает” *нечто*, хотя и не являющееся государством, но весьма на него похожее — *подобие* государства, *суррогат* национальной государственности. В системе координат, где базовой единицей политического устройства мира по-прежнему считается государство-нация, “этнический” субъект федерации становится несuverенной “облегченной версией” государства-нации, помещенной под суверенитет “настоящего” государства (даже притом, что большинство государств по-прежнему избегают использования слова “нация” применительно к внутренним культурно обособленным территориально-политическим коллективам). Таким образом, *именно государство-нацию можно считать прообразом субъектов федеративного государства (а также территориальных автономий), образованных по этническому признаку*. Появление таких субъектов не только не является аномалией или политикоправовым недоразумением (как это иногда утверждается в литературе), а, на-

против, выступает закономерным продуктом национализма и результатом развития концепции государства-нации и полностью вписывается в логику Вестфальской системы. Соединение двух концепций — государства-нации и демократии — и следует считать идейными истоками многонационального федерализма. В этом отношении он имеет гораздо больше оснований считаться европейским, нежели советским, наследием.

Можно сделать вывод, что федерализм выступил способом достижения компромисса между большинством и меньшинством путем воспроизводства свойств государства-нации в более мелком масштабе. Он не просто учитывает этнические различия между людьми, населяющими разные регионы, а создает каркас для территориальной аккомодации нескольких наций, в том числе “внутренних наций”, под суверенитетом одного государства, и в этом случае его правильнее называть именно “многонациональным”³.

Феномен многонациональных государств — проявление неклассической интерпретации государственности [Keating 2001: 19]. В отличие от классической концепции государства-нации, исходящей из одномерности национального сознания и исключительности принадлежности гражданина только к одной нации [Ян 2000: 123], концепция многонациональности постулирует, что этническая и национальная идентичности человека не являются статичными; они подвижны и могут приобретать множественный характер. В отличие от государства-нации, многонациональное государство допускает существование в одном государстве нескольких наций и как результат — многоступенчатое национальное сознание и многоуровневую национальную и гражданскую идентичность. Индивид может одновременно разделять ценности как своей “внутренней нации”, так и всего государства как целого. Он может считать себя квебекцем (и даже в первую очередь им) и одновременно канадцем; каталонцем и благодаря этому — испанцем (или наоборот). Важно в данном случае то, что в условиях демократического федерализма общегосударственный национализм не может подчинять себе “малые” национализмы или доминировать над ними, поскольку, как верно заметил Майкл Берджесс, федеральная нация-согражданство не заменяет собой “внутренние нации” и не поглощает их, но существует над ними и поверх них (*over and above*) [Burgess 2012: 25-26].

Впрочем, привычное “вестфальское” восприятие политических границ играет с нами злую шутку, обуславливая известную подмену понятий. Как известно, в условиях демократии носителем власти в субъекте федерации должно выступать все его население, а не только “титульная” этническая или языковая группа. В странах с развитыми демократическими традициями данное противоречие обычно себя не проявляет: “внутренние нации” эволюционировали в них в том же направлении, что и государства-нации, став в большей степени “гражданскими”, нежели “этническими”. Не отказавшись от использования этнических маркеров национальной идентичности в символическом пространстве, они связывают принадлежность к “нации” (например, к шотландской, квебекской или каталонской) прежде всего с постоянным проживанием гражданина государства в пределах соответствующего региона. Иная ситуация наблюдается в традиционных обществах, где мотивы

³ “Многонациональным”, однако, можно назвать не любой этнический или лингвистический федерализм. Так, не является многонациональным федерализм в Швейцарии, где ни для языковых групп, ни для образованных на их базе кантонов не характерны проявления национализма.

кровного родства и общего предка более сильны для культурной идентификации. Они могут препятствовать включению в круг членов “внутренней нации” людей, происходящих из других культур, поэтому национальная идентичность здесь фактически сливается с этнической. В результате власть в образованном по этническому признаку регионе сконцентрирована в руках лидеров “владеющей” им (в прямом смысле) титульной группы, представители же остальных групп становятся людьми “второго сорта”. Именно в этих условиях федерализм приобретает выраженные этнократические черты, не совместимые с принципами демократии. Такая же ситуация наблюдается в странах с недостаточно развитыми демократическими институтами, не способными противостоять этнократическим проявлениям региональных элит.

Сказанное позволяет сделать вывод, что федерализм не является универсальным средством для решения межнациональных конфликтов или гарантией от сецессий. Он не устраняет саму сегментацию общества, а наоборот, “замораживает” межгрупповые различия [Erk, Anderson 2009: 192–193], институционализирует их, придавая им правовое измерение, в результате может создавать новые условия для этнической мобилизации и оказаться не альтернативой сецессии, а лишь очередным шагом на пути к ней. Парадокс федерализма состоит в том, заключает Дональд Горовиц, что в разных ситуациях он “может как усугублять, так и смягчать этнические конфликты” [Horowitz 1985: 603].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В академических кругах, вероятно, еще долго будут продолжаться споры о том, чем же в действительности оказался многонациональный федерализм — единственно возможной демократической альтернативой сецессии или “ящиком Пандоры”, открытие которого не решило проблему “безгосударственных наций”, а лишь на время ее смягчило (в пользу последнего предположения говорят недавние попытки сецессии Шотландии и Каталонии). Представляется, однако, недопустимым описывать многонациональный федерализм исключительно черной краской, считая его неправильным, тупиковым или порочным. Если принять во внимание, что назначение любого федерализма заключается в “формировании некоторой степени единства при сохранении некоторой степени разнообразия” [Kincaid 2011: xxii], многонациональный федерализм перестает быть чем-то из ряда вон выходящим, а, наоборот, выглядит как вполне логичный способ сосуществования в одном государстве нескольких культурно и политически обособленных сегментов [Gagnon 2014; Hechter 2001; Moore 2004; Палермо 2017].

Итальянский правовед Франческо Палермо высказывает предположение, что постнационалистическое мировосприятие с присущим ему признанием множественной принадлежности индивидов и динамического характера идентичности рано или поздно заставит отказаться от восприятия территорий “этнических” регионов как “принадлежности” титульных групп; на смену ему придет их понимание как инструмента управления сложностью (*management of complexity*), направленного на “создание подходящих условий для реализации прав меньшинств и урегулирования вопросов, связанных с этническим многообразием” [Палермо 2017: 65–66].

Представляется вполне резонным переосмысление отечественного федерализма в контексте мирового опыта. Безусловно, федеративные эксперименты

советского периода внесли существенный вклад в становление многонационального федерализма во всем мире, послужив для многих стран если не образцом, то источником вдохновения (именно Россия первой в истории открыто провозгласила себя в 1918 г. “союзом свободных наций”). Вместе с тем, советский федерализм не следует рассматривать изолированно от общеевропейского контекста. Лежащая в основе его нормативной модели идея национальной государственности субъектов, несмотря на ее новаторский характер, находилась в русле тенденций европейского национализма того времени и вполне вписывалась в логику Вестфальской системы. Главной же причиной провала советского федеративного проекта следует признать то, что акцент в нем был сделан именно на этнократической стороне, в жертву которому была принесена демократическая сторона, в результате чего сформировался огромный разрыв между конституционными декларациями и реальными практиками административного управления. Чтобы избавить Российскую Федерацию от ярлыка “советского наследия”, следует, вероятно, рассуждать не о том, необходимо ли упразднить “этнические” регионы, а о том, как сделать федерализм более демократическим, а региональные национализмы (которые, вероятно, следует воспринимать как объективную данность) – более “гражданскими”.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.07

IN SEARCH OF THE ORIGINS OF MULTINATIONAL FEDERALISM

A.N. Mochalov¹

¹ Ural State Law University. Yekaterinburg, Russia

MOCHALOV, Artur Nikolaevich, Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Constitutional Law Department, Ural State Law University, email: artur.mochalov@usla.ru

Mochalov A.N. In Search of the Origins of Multinational Federalism. – Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 94-109. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.07>

Acknowledgements. The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research, grant No. 19-011-00697. The author is grateful for the informative recommendations to Professor A.-G. Gagnon (Montreal, Canada), Professor F. Palermo (Bolzano, Italy), Professor B. Arora (New Delhi, India), Professor K.K. Suan Hausing (Hyderabad, India) and Professor N. Steitler (Cape Town, South Africa).

Received: 04.09.2018. Accepted: 16.10.2020

Abstract. In the article, the author’s approach to multinational federalism through its political and legal understanding of is presented. The author’s considerations are built on a broad set of studies by Russian and foreign scholars as well as theorists of democracy on nationalism and ethnic identity. As a result, the author concludes that multinational federalism is not an anomaly but an outcome of the development of a conception of the nation-state. As a response to the challenges of regional ethnic nationalism, multinational federalism creates an institutional framework which provides limited statehood for a region where a minority ethnic group is concentrated. At the same time, such a region remains within a federal state as its sub-national entity. As a result, individuals belonging to this ethnic group obtain more opportunities in realization of cultural rights and democratic participation in decision-making processes, especially at the regional level. In a discourse of nationalism, a sub-federal entity with a dominant separate ethnic group can be regarded as a semblance of nation-state; its population with its own cultural distinctions can be described in terms of “internal nation”. The author states that multinationalism (or pluri-nationalism) is a non-classic mode of statehood. In contrast to a nation-state, this means that national identity is not static, but can change over time and can be multitudinous. From this point of view, a state is not the same as a nation and can compress several “internal” nations. Multinational federalism

creates a framework for multiple citizenship and a plural civil and national identity. The author also believes that Russian federalism should be rethought in the light of abovementioned considerations. In the growing understanding of federal arrangements, attention must be paid to their democratic potential.

Keywords: multinational federalism, pluri-national federalism, ethnic federalism, ethnicity, identity, nationalism, nation-state, nation, state territory, democracy, minorities, discourse.

References

- Anderson L. 2016. Ethnofederalism and the Management of Ethnic Conflict: Assessing the Alternatives. — *Publius. The Journal of Federalism*. Vol. 46. No. 1. P. 1-24. <https://doi.org/10.1093/publius/pjv019>
- Barrington L.W. 1997. "Nation" and "Nationalism". The Misuse of Key Concepts in Political Science. — *Political Science and Politics*. Vol. 30. No. 4. P. 712-716. <https://doi.org/10.1093/publius/pjv019>
- Burgess M. 2012. Multinational Federalism in Multinational Federation. — *Multinational Federalism. Problems and Prospects*. Ed. by M. Seymour, A.-G. Gagnon. London, New York: Palgrave Macmillan. P. 23-44. https://doi.org/10.1057/9781137016744_2
- Connor W. 1994. *Ethnonationalism. The Quest for Understanding*. Princeton: Princeton University Press. 234 p.
- Dahl R. 1983. Federalism and the Democratic Process. — *Nomos*. Vol. 25. P. 95-108.
- Erk J., Anderson L. 2009. The Paradox of Federalism: Does Self-Rule Accommodate or Exacerbate Ethnic Divisions? — *Regional & Federal Studies*. Vol. 19. No. 2. P. 191-202. <https://doi.org/10.1080/13597560902753388>
- Ethnicity: Theory and Experience*. 1975. Ed. by N. Glazer, D.P. Moynihan. Cambridge: Harvard University Press. 531 p.
- Gagnon A.-G. 2014. *Minority Nations in the Age of Uncertainty. New Paths to National Emancipation and Empowerment*. Toronto: University of Toronto Press. 176 p. <https://doi.org/10.3138/9781442621251>
- Hechter M. 2001. *Containing Nationalism*. N.Y.: Oxford University Press. 256 p.
- Horowitz D. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkley: University of California Press. 698 p.
- Keating M. 2001. *Plurinational Democracy. Stateless Nations in a Post-Sovereignty Era*. Oxford: Oxford University Press. 198 p.
- Kincaid J. 2011. Editor's Introduction: Federalism as a Mode of Governance. — *Federalism. Vol. 1. Historical and Theoretical Foundations of Federalism*. Ed. by J. Kincaid. L.: Sage Publ. P. xxi-xxxv. <http://dx.doi.org/10.4135/9781446261620>
- Kymlicka W. 2001. *Minority Nationalism and Multinational Federalism*. — *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship*. Oxford: Oxford University Press. P. 91-119. <https://doi.org/10.1093/019924098.1.003.0006>
- McGarry J., O'Leary B. 2007. Federations and Managing Nations. — *Multinational Federations*. Ed. by M. Burgess, J. Pinder. L., N.Y.: Routledge. P. 180-211.
- Moore M. 2004. Sub-State Nationalism and International Law. — *Michigan Journal of International Law*. Vol. 25. No. 4. P. 1319-1340.
- Murphy A.B. 1989. Territorial Policies in Multiethnic States. — *Geographical Review*. Vol. 79. No. 4. P. 410-421. <https://doi.org/10.2307/215115>
- Watts R. 2007. Multinational Federations in Comparative Perspective. — *Multinational Federations*. Ed. by M. Burgess, J. Pinder. L., N.Y.: Routledge. P. 225-247. <https://doi.org/10.4324/9780203964514>
- Abdulatipov R.G., Mikhailov V.A. 2014. Federal Democracy and the Multinational Country Unity. — *Publichnoe i chastnoe pravo*. No. 3. P. 7-18. (In Russ.)
- Altermatt U. 2000. Das Fanal von Sarajevo. Ethnonationalismus in Europa (Russ. ed.: Altermatt U. *Emonatsionalizm v Evrope*. Moscow: Russian State University of Humanities. 367 p.).
- Anderson B. 2016. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Russ. ed.: Anderson B. *Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniya ob istokakh i rasprostranenii natsionalizma*. Moscow: Kuchkovo pole. 416 p.).
- Avksent'ev V., Vasil'chenko V. 2013. The Impasses of Ethnic Federalism. — *Observer*. No. 10. P. 6-15. (In Russ.)
- Boltenkova L.F. Ryabova E.I. 2016. Federalism as a Guarantee of Stability of the Russian Nationhood. — *Emosotsium i mezhnatsional'naya kul'tura*. No. 5. P. 90-104. (In Russ.)
- Brubaker R. 2012. Ethnicity without Groups (Russ. ed.: Brabaker R. *Etnichnost' bez grupp*. Moscow: HSE Publ. 408 p.).
- Chirkin V.E. 2019. *Territorial Organization of Public Governance*. Moscow: Norma, Infra-M. 208 p. (In Russ.)

- Drobizheva L.M. 2001. Ethnicity in the Modern Society. Ethnic Policy and Social practices in the Russian Federation. — *Mir Rossii*. No. 2. P. 167-180. (In Russ.)
- Farukshin M.Kh. 2017. Institutional Foundations of Ethnic Federations. — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 103-107. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.07>
- Filippov V.R. 2003. *Kritika etnicheskogo federalizma* [Critics of Ethnic Federalism]. Moscow: Centre for Civilisational and Regional Studies of the Russian Academy of Sciences. 379 p. (In Russ.)
- Gellner E. 1991. Nations and nationalism (Russ. ed.: Gellner E. *Natsii i natsionalizm*. Moscow: Progress. 319 p.).
- Hobsbawm E. 1998. Nations and Nationalism since 1780 (Russ. ed.: Hobsbawm E. *Natsii i natsionalizm posle 1780 goda*. Saint Petersburg: Aletheia. 306 p.).
- Khabrieva T.Ya. 2010. *Sovremennye problemy samoopredeleniya etnosov. Sravnitel'no-pravovoe issledovanie* [The Modern Problems of Ethnic Self-Determination. A Comparative-Law Study]. Moscow: Institute of Legislation and Comparative Law. 288 p. (In Russ.)
- Malakhov V.S. 2011. National State, National Culture and Cultural Sovereignty. — *Voprosy filosofii*. No. 9. P. 87-94. (In Russ.)
- Mart'yanov V.S. 2011. The Rhetoric on Identity in the Conditions of Modern: Who Benefits from It? — *Sotsium i vlast'*. No. 4. P. 61-65. (In Russ.)
- Palermo F. 2017. Territories, Ownership, Minorities: Back to Basics and the Way Forward. — *Russian Juridical Journal*. No. 6. P. 49-69. (In Russ.)
- Pushkareva G.V. 2017. Ideas and Values as a Method of Constructing Symbolic Space of the National Identity. — *Polis. Political Studies*. No. 5. P. 156-173. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.11>
- Semenenko I.S. 2013. Social and Cultural Modernization and a Conflict of Identities. — *The "Rossiya reformiruyushchayasya" Yearbook*. Vol. 12. P. 111-131. (In Russ.)
- Semenenko I.S. 2015. Nations, Nationalism, National Identity: New Dimensions in Academic Discourse. — *World Economy and International Relations*. No. 11. P. 91-102. (In Russ.)
- Semenenko I.S., Lapkin V.V., Pantin V.I. 2010. Identity in the System of Coordinates of World Development. — *Polis. Political Studies*. No. 3. P. 40-59. (In Russ.) URL: <https://www.politstudies.ru/article/4278> (accessed 05.12.2020).
- Starostina I.A. 2016. Political and Legal Issues of Ethnic Federalism in the Way of Formation of the Russia's National Development Strategy: Constitutional and Legal Aspects. — *Constitutional and Municipal Law*. No. 11. P. 47-49. (In Russ.)
- Tishkov V.A. 2003. *Rekviem po etnosu: issledovaniya po sotsial'no-kul'turnoi antropologii* [Requiem for an Ethnos: The Social and Cultural Anthropology Studies]. Moscow: Nauka Publ. 544 p. (In Russ.)
- Tishkov V.A. 2009. National Identity (on the Sense of the Debates). — *Vestnik rossiiskoi natsii*. No. 1. P. 33-43. (In Russ.)
- Tishkov V.A. 2016. From Ethnos to Ethnicity and After. — *Etnograficheskoe obozrenie*. No. 5. P. 5-22. (In Russ.)
- Yack B. 2017. Nationalism and the Moral Psychology of Community (Russ. ed.: Yack B. *Natsionalizm i moral'naya psikhologiya obshchestva*. Moscow: Izd-vo Instituta Gaidara. 520 p.).
- Yan E. 2000. State and Ethnic Understanding of Nation: Contradictions and Similarities. — *Polis. Political Studies*. No. 1. P. 114-123. (In Russ.)

Литература на русском языке

- Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А. 2014. Федеративная демократия и единство многонациональной страны. — *Публичное и частное право*. № 3. С. 7-18.
- Авксентьев В., Васильченко В. 2013. Тупики этнического федерализма. — *Обозреватель — Observer*. № 10. С. 6-15.
- Альтерматт У. 2000. *Этнонационализм в Европе*. М.: РГГУ. 367 с.
- Андерсон Б. 2016. *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: Кучково поле. 416 с.
- Болтенкова Л.Ф., Рябова Е.И. 2016. Федерализм как гарантия устойчивости российской государственности. — *Этносоциум и межнациональная культура*. № 5. С. 90-104.
- Брубейкер Р. 2012. *Этничность без групп*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики. 408 с.
- Геллнер Э. 1991. *Нации и национализм*. М.: Прогресс. 319 с.
- Дробизева Л.М. 2001. Этничность в современном обществе. Этнополитика и социальные практики в Российской Федерации. — *Мир России*. № 2. С. 167-180.

Малахов В.С. 2011. Национальное государство, национальная культура и культурный суверенитет. — *Вопросы философии*. № 9. С. 87-94.

Мартыанов В.С. 2011. Риторика идентичности в условиях модерна: кому выгодно? — *Социум и власть*. № 4. С. 61-65.

Палермо Ф. 2017. Территории, меньшинства и “право владения”: взгляд в прошлое и путь в будущее. — *Российский юридический журнал*. № 6. С. 49-69.

Пушкарева Г.В. 2017. Идеи и ценности как способ конструирования символического пространства национальной идентичности. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 156-173. <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.11>

Семененко И.С. 2013. Социокультурная модернизация и конфликт идентичностей. — *Россия реформирующаяся*. № 12. С. 111-131.

Семененко И.С. 2015. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 11. С. 91-102.

Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. 2010. Идентичность в системе координат мирового развития. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 40-59. URL: <https://www.politstudies.ru/article/4278> (accessed 05.12.2020).

Старостина И.А. 2016. Политико-правовые проблемы этнического федерализма на пути формирования стратегии национального развития России: конституционно-правовые аспекты. — *Конституционное и муниципальное право*. № 11. С. 47-49.

Тишков В.А. 2003. *Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии*. М.: Наука. 544 с.

Тишков В.А. 2009. Национальная идентичность (о смысле дебатов). — *Вестник российской нации*. № 1. С. 33-43.

Тишков В.А. 2016. От этноса к этничности и после. — *Этнографическое обозрение*. № 5. С. 5-22.

Фарушкин М.Х. 2017. Институциональные основы этнических федераций. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 103-107. <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.07>

Филиппов В.Р. 2003. *Критика этнического федерализма*. М.: ЦЦИ РАН. 379 с.

Хабриева Т.Я. 2010. *Современные проблемы самоопределения этносов. Сравнительно-правовое исследование*. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 288 с.

Хобсбаум Э. 1998. *Нации и национализм после 1780 года*. СПб.: Алтейя. 306 с.

Чиркин В.Е. 2019. *Территориальная организация публичной власти*. М.: Норма, Инфра-М. 208 с.

Як Б. 2017. *Национализм и моральная психология сообщества*. М.: Изд-во Института Гайдара. 520 с.

Ян Э. 2000. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 114-123.

“ВООБРАЖАЕМАЯ ГЕОПОЛИТИКА” В РОССИЙСКОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ О КОРОНАВИРУСЕ

Н.К. Радина

РАДИНА Надежда Константиновна, доктор политических наук, профессор, профессор департамента социальных наук, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Нижний Новгород, email: rasv@yandex.ru

Радина Н.К. “Воображаемая геополитика” в российском медийном дискурсе о коронавирусе. — Polis. Политические исследования. 2021. № 1. С. 110–124. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.08>

Автор статьи благодарит компьютерных лингвистов А.В. Козлову, В.С. Баженову, Д.Б. Липскую и М.А. Мокрову, выпускников образовательной программы “Фундаментальная и прикладная лингвистика” НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, за помощь в работе с эмпирикой.

Статья поступила в редакцию: 12.05.2020. Принята к публикации: 17.07.2020

110

Аннотация. В статье в контексте популярной критической геополитики анализируются образы стран в новостях российских медиа о пандемии COVID-19. 465 текстов российских СМИ (01.01.2019–20.03.2020) были идентифицированы на основании ключевого слова “коронавирус” и обработаны методами компьютерной лингвистики. Для восточных стран (Китай, Иран, Южная Корея и Япония) и западных (США, Италия, Испания, Франция), а также для России были реконструированы семантические поля, на основе анализа которых были проинтерпретированы образы стран. Выяснилось, что о Востоке пишут в контексте границы, за которой возникает опасность заражения. Образ восточных стран в новостях о коронавирусе согласуется со сложившимися медийными образами Востока как далекого и малоизвестного геополитического пространства. Медийный дискурс о пандемии в Китае содержит в качестве акторов повествования людей и вирусы, что может свидетельствовать о сохранении устаревшей стратегии “демонизации” Китая (как места обитания инфекции). Западные страны выстраиваются в иерархии: США и Франция получают персонифицированную репрезентацию, непосредственно связанную со своими политическими лидерами. В медийном дискурсе о пандемии в США все внимание сосредоточено на президенте, а образ США конструируется как образ гегемонистской страны. Образ Франции семантически оказывается одним из наиболее сложных и амбивалентных. Образ Испании конструируется через страдания людей в условиях пандемии, а также посредством участия государства в защите граждан от инфекции. Образ Италии выстраивается как образ близкой, вызывающей сочувствие и уязвимой страны. Россия представляется как сопротивляющаяся (не зараженная) территория. Заключается, что геополитический медийный дискурс в условиях пандемии сохраняет наиболее типичные для данного дискурса интенции.

Ключевые слова: популярная критическая геополитика, геополитический образ, СМИ, пандемия, коронавирус, COVID-19.

В последнее время поговорка “тесен мир” обрела особое значение: пандемия COVID-19 показала, насколько страны близки, открыты и уязвимы друг перед другом. Геополитическое измерение пандемии стало неотъемлемой составляющей ежедневных новостей.

Геополитическая проблематика, формирующая новые направления исследований, новые концепции и подходы и затрагивающая область медиа, является одним из наиболее популярных объектов анализа. Кроме классической геополитики, сосредоточенной на “объективных” проблемах мировой политики и международных отношений, сформировалась критическая геополитика, представляющая геополитическую реальность как реальность политического дискурса: не только дискурса официальных документов, но и дискурса, порожденного СМИ, а также коммуникацией населения [Колосов 2011]. В научных публикациях достаточно часто анализируется имидж стран, транслируемый через символы и образы в медиа [Kolossoff 2013; Pjesivac, Luther, Imre 2018]; характеризуется роль медиа в создании образов стран [Entman 2008], включая “геополитические акценты” дискурса российских медиа [Petersson, Persson 2011] и конструирование образа России в зарубежных СМИ [Bayulgen, Arbatli 2013; Tsygankov 2017].

Популярная критическая геополитика, анализирующая воздействие геополитических образов на массовую культуру и формирование в обществе геополитических стереотипов [Ильин 2011, Окунев 2012], в качестве основных источников для сбора эмпирики использует медиадискурс, “культурные тексты”, а также опросы населения. Реконструируемые геополитические образы медиа схожи с “воображаемыми сообществами” Б. Андерсона [Андерсон 2001]: из-за дискурсивности и зависимости от субъекта порождения медиатекста они в большей мере раскрывают интенции и ценностные координаты акторов, конструирующих медиареальность, по-своему репрезентируют “объективную реальность” классической геополитики.

В российском академическом дискурсе традиции изучения образов стран на уровне общественного сознания сложились во многом благодаря исследованиям поля гуманитарной географии [Замятин 2012], а на уровне медийного дискурса — в лингвистической интерпретации [Собиянэк 2010]. Популярная критическая геополитика позволяет привнести в поле геополитических образов глубину, присущую социальным наукам, стремящимся не только к описанию реальности, но и к пониманию закономерностей ее устройства, особенностей “сконструированности”.

МЕДИАДИСКУРС КРИЗИСНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Информационное поле общества, охваченного пандемией, представляет уникальный материал для исследований. С выходом COVID-19 на первый план обнажились правила и стереотипы по другим тематикам, раскрывающие базовую матрицу аксиологических координат, по стандартам которой медиа реконструируют социальную реальность. Будь то новости или аналитика — медийные стратегии означивания событий вместе с “объективной информацией” транслируют читателям медиатекстов культурные коннотации, имплицитно встроенные в тексты и скрытые от привычной рефлексии, поскольку сам язык и организация текста имеют социокультурную природу.

Выбор теоретической рамки в процессе исследования медийного влияния в условиях пандемии задает горизонты и способы реконструкции реальности, стоящей за медиатекстами. Так, теоретизирование посредством “моральных паник”, направленных на анализ панических настроений, транслируемых СМИ в обыденной жизни [Cohen 2011], посредством “конструирования социальных

проблем”, позволяющего осознать, как вербальная артикуляция формирует проблему [Ibarrá 2009], или при помощи теории “повестки дня”, раскрывающей причины доминирования определенных новостей [McCombs 2004] уместно при исследованиях “повседневных” социальных вызовов. Эти теории помогают понять, как медиа превращают в панику и “кризисные проблемы” обычные жизненные ситуации или скрывают “локальные” кризисные события [Wang 2016]. Но как теоретизировать информационное сопровождение действительной паники, охватившей все общество и представленной в медиавоздействии?

В теоретическом поле фейковых/ложных новостей (форма умышленного искажения реальности в условиях цифровой коммуникации [Cooke 2018]) активно разрабатываются технические вопросы (например, строятся алгоритмы идентификации ложных новостей в цифровой коммуникации, создаются классификации таких новостей [Третьяков и др. 2018]). Благодаря техническим инструментам возможно изучать количественные характеристики, условный “объем лжи” в медийном дискурсе, не отвечая на вопрос о специфике дезинформации, сложной структуре мишеней и целей, и тем более о контексте, репрезентирующем дискурсивную геополитику.

Для исследования медийного дискурса кризисных обстоятельств представляется продуктивным теоретическое поле пропаганды [Herman, Chomsky, Mullen 2009; Ellul 1973], и прежде всего концепция Ж. Эллюля, определяющего пропаганду как набор методов, используемых группой, желающей при помощи психологических манипуляций добиться от общества активного или пассивного участия в своих акциях [Ellul 1973]. Ж. Эллюль считает пропаганду необходимым условием существования демократического общества, поскольку общества тоталитарные, полагаясь на иные средства воздействия, не нуждаются в том, чтобы “уговаривать население”.

В этом прочтении пропаганда предполагает использование различных способов убеждения и/или вербального психологического манипулирования, включая косвенное воздействие при помощи коммуникации и в целом языка. Анализ пропагандистских методов воздействия на общество, находящееся в состоянии паники, раскрывает установки (более или менее осознанные) и ценности (цели) медиа, характеристики которых способны указать на продуктивность решения проблем обществом и выход из данного состояния.

Анализируя медиавоздействие в русле теоретического поля пропаганды, следует учитывать, что медиа не просто несут “знания о мире”: эти знания отражают точку зрения транслятора и сил/актеров, направляющих работу медиа. Образы стран, предлагаемые медиа своим читателям, при отсутствии собственных впечатлений о других регионах и странах, становятся основой для конструирования мира, включая ценностные координаты, которые оказываются “вшитыми” в медийные тексты.

При анализе медийного воздействия теоретические поля концепции пропаганды Ж. Эллюля и популярной критической геополитики могут пересекаться: медиа, конструирующие геополитическую реальность в обычном повседневном режиме (актеры популярной критической геополитики), профессионально используют язык для целенаправленного воспроизводства определенных стереотипов и установок в отношении регионов и стран, создавая управляемый мир воображаемой (медиатизированной) геополитики (используют язык для управления геополитическими образами).

Но что происходит в панических обстоятельствах, когда главные цели информационного сопровождения смещены на кризис, например, пандемию, а геополитические образы служат лишь фоном медийного дискурса? Какой геополитический мир воссоздают медиа, озабоченные угрозой мировой эпидемии вместо привычного воспроизводства повседневных стереотипов?

Цель статьи — в контексте популярной критической геополитики реконструировать дискурсивную геополитическую реальность русскоязычных медийных текстов о пандемии COVID-19 и проанализировать образы стран, представленные в медийном дискурсе пандемии коронавируса начального этапа (конец января 2019 — середина марта 2020).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретическую основу исследования составляют поля медийного конструирования реальности (Ж. Бодрийяр, Т. ван Дейк и др.) и популярной критической геополитики (К. Доддс, Ф. Келли и др.). Для интерпретации медийного дискурса используется концепция пропаганды Ж. Эллюля.

Инструментально исследование обращено к теоретическому полю семантических полей [Новиков 2001], а также к идеям исследовательской методологии культуромики, согласно которой анализ частотности (статистика) словоупотреблений в текстовых массивах позволяет идентифицировать темы и проблемы, типичные для сообщества, которое эти тексты представляют/репрезентируют [Бонч-Осмоловская 2015].

С точки зрения организации и формирования выборки, отличительной чертой данного исследования является ориентация на анализ временного периода (начало информационного сопровождения пандемии), в отличие от фокусирования на дискурсе одного или нескольких медиа. Предполагается, что медийное конструирование реальности — это разделенная ответственность медиа, создающих доступное информационное поле. Для полной реконструкции медийного поля недостаточно анализировать одно или несколько медиа — необходим анализ общего медийного дискурса, что делает востребованными методы компьютерной лингвистики.

В данном исследовании были использованы 465 текстов новостей объемом 323 729 слов за период с 1 января 2019 г. по 20 марта 2020 г., идентифицированные на основании присутствия в тексте ключевого слова “коронавирус” для определения специфики медийного дискурса, описывающего проблемы стран в контексте пандемии COVID-19. В выборку вошли статьи следующих интернет-изданий (первые 10 в рейтинге, общий список — более 20): *Lenta.ru*, *Lt.sputniknews.ru*, *Medialeaks.ru*, *Ria.ru*, *Gazeta.ru*, *Kommersant.ru*, *Interfax.ru*, *Rbc.ru*, *Vedomosti.ru*, *Vesti.ru*, *Tjournal.ru*, *Tass.ru*.

При помощи ПО *AntConc* (v. 3.4.3) коллекция текстов была стандартным образом обработана. На первом этапе на основании анализа семантического поля ключевого слова “коронавирус” был проанализирован дискурс о коронавирусе (извлечены биграммы для ключевого слова — статистически значимо связанные слова). На втором этапе посредством биграмм были реконструированы семантические поля для стран, представляющих “Восток” (наиболее частотные в текстовом массиве: Китай, Япония, Иран, Южная Корея) и “Запад” (наиболее частотные в текстовом массиве: США, Франция, Италия и Испания), а также для ключевого слова “Россия”.

Для определения статистически значимых показателей использовались коэффициент *ipm* (*instances per million words*), показывающий, насколько частотным является то или иное словоупотребление на миллион слов и коэффициент PMI (*Pointwise Mutual Information*) для статистики биграмм (статистической значимостью обладают биграммы, имеющие значения более PMI 3 [Michel et al. 2011]). Для реконструкции сравнительного контекста частотности лексем при описании дискурса пандемии использовался “Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)” [Ляшевская, Шарова 2009].

ПАНДЕМИЯ В ДИСКУРСЕ МЕДИА

Читатели — потребители новостей, погружаясь в новостной дискурс, имеют возможность получать сведения о пандемии коронавируса из разных источников, поэтому для анализа значимо все доступное информационное поле, конструирующее реальность пандемии.

В соответствии с реальностью пандемии в медийном дискурсе представлена центральная тема — “опасность заражения”, а ключевое слово (группа тематических слов), вошедшее в десятку наиболее частотных в медийных текстах и указывающее на источник эпидемии, — коронавирус 2019-nCoV (“коронавирус”: абс. частота — 4 046 слов, *ipm* 12 498; “вирус”: абс. частота — 1 962 слов, *ipm* 6 061; “covid”: абс. частота — 1 225 слов, *ipm* 3 784). Среди наиболее частотных слов в данном массиве медийных текстов, не типичных для словаря общей лексики (не вошедших в первую 1 000 существительных), — “инфекция” (абс. частота — 1 177 слов, *ipm* 3 636) и “карантин” (абс. частота — 1 332 слов, *ipm* 4 115).

О чем же повествует медийный дискурс о коронавирусе? Эпидемия коронавируса пришла неожиданно и стихийно (в первой десятке частотных — “случай”: абс. частота — 1 699 слов, *ipm* 5 248 / *ipm* общей лексики 709.7). Это новый вирус, неизвестная инфекция, обуславливающая ситуацию неопределенности (в первой десятке частотных — “новый”: абс. частота — 1 259 слов, *ipm* 3 889 / *ipm* общей лексики 1 217.5). Данный инфекционный вызов вызывает сопротивление (в первой десятке частотных — “мочь”: абс. частота — 1 241 слов, *ipm* 3 833 / *ipm* общей лексики 255.1 (“смочь”)), тем не менее он поражает часть населения (в первой десятке частотных — “заболевание”: абс. частота — 1 113 слов, *ipm* 3 438 / *ipm* общей лексики 109.6 (“болезнь”); в первой десятке частотных — “заболеть”: абс. частота — 1 063 слов, *ipm* 3 283 / *ipm* общей лексики 33.8 (“заболеть”)).

Вирус захватывает страны, это не частная, локальная, а глобальная геополитическая проблема (в первой десятке частотных — “страна”: абс. частота — 1 586 слов, *ipm* 4 899 / *ipm* общей лексики 725.7). Наиболее включенная в проблему страна (на момент проведения исследования) — Китай (в первой десятке частотных — “Китай”: абс. частота — 1 291 слов, *ipm* 3 987).

Таким образом, сформированный текстовый массив действительно ориентирован на представление мировой эпидемии как главной темы. Следовательно, геополитические акценты медийного дискурса в конструировании реальности пандемии будут проявляться косвенно и контекстно, что и позволит определить аксиологические координаты и интенции геополитики русскоязычного медийного дискурса.

КАК КОНСТРУИРУЕТСЯ “ВОСТОК”

Дальнейший анализ 465 текстов новостей о коронавирусе более десятка цифровых медиа за период с конца января по 20 марта 2020 г. показал, что “восточная тема” в новостях была представлена, как правило, событиями в четырех странах: Китай (1 291 включение, ipm 3 988), Южная Корея (292 включения, ipm 902), Иран (253 включения, ipm 782), Япония (144 включения, ipm 445). Статистика текста показывает, что Китай среди всех регионов, представляющих Восток, занимает особое место уже потому, что именно он оказывается в роли главного объекта новостного дискурса о коронавирусе.

Семантическое поле “Китай” в массмедийном дискурсе представлено глаголами “распространяться” (MPI 4.9) (о вирусе), “прибывать” (MPI 5.4) (о людях, прибывающих из Китая), “умирать” (MPI 4.8) (о людях, заразившихся коронавирусом), “инфицировать” (MPI 4.3) (о распространяющемся вирусе). Акторами действий становятся “вирус” (MPI 3.5), “коронавирус” (MPI 3.6), “болезнь” (MPI 3.7), “заражение” (MPI 3.8), “вспышка” (MPI 4.6), “инфекция” (MPI 3.0), а также “гражданин” (MPI 5.3) и “человек” (MPI 3.6). Граждане в новостных нарративах “прибывают” и “убывают”, а люди (человек) — “заражаются” и “умирают”. Китай в медийном дискурсе предстает как область мобильности/транзита и блокирования транзита/мобильности (карантин) — для инфекции (коронавируса) и людей, при этом мобильный, перемещающийся вирус — работает (инфицирует, поражает), а люди гибнут: *“В январе Китай начал изолировать обширные зоны, сегодня карантин лишил свободы передвижения почти полмиллиарда человек — тем не менее эпидемия продолжается”*¹.

Семантические поля “Южной Кореи” и “Ирана” в медиадискурсе о пандемии оказались схожими и представлены доминирующими глаголами “прибывать” (MPI 6.2 в новостях о Южной Корее и MPI 7.2 в новостях об Иране), “заболевать” (MPI 4.3 и MPI 3.9) и “выявлять” (MPI 4.4 в новостях о Южной Корее). Акторы медийных новостных нарративов — “случай” (MPI 3.4 в новостях о Южной Корее), “вирус” (MPI 3.3 в новостях о Южной Корее), “заболевание” (MPI 3.4 в новостях об Иране), “гражданин” (MPI 5.4 в новостях об Иране).

В целом семантические поля Южной Кореи и Ирана схожи, за исключением небольшой детали: акцент в новостях о коронавирусе в Южной Корее — на выявлении инфицированных, а в новостях об Иране — на транзите/мобильности граждан (точнее, о запрете мобильности): *“С воскресенья, 1 марта, гражданам Южной Кореи и Ирана запрещен въезд в Россию”*².

Семантическое поле “Японии” в новостном дискурсе оказалось сформированным во многом благодаря ситуации с океаническим лайнером *Diamond Princess*, блокированным у берегов Японии в режиме карантина из-за COVID-19: “лайнер” (MPI 8.8), “пассажир” (MPI 6.8), “заболевать” (MPI 4.7), “зафиксировать” (MPI 5.6), “заражаться” (MPI 5.0), “сообщать” (MPI 4.7), “гражданин” (MPI 5.4), “россиянин” (MPI 5.8): *“Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, вернулись в РФ бортом МЧС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова”*³.

¹ Сорокин А. Коронавирус не сдержат: в 2020 году мы все им переболеем. — *Republic.ru*. 03.03.2020. URL: <https://republic.ru/posts/96050> (accessed 04.12.2020).

² Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают. — *МК*. 28.02.2020. URL: <https://www.mk.ru/social/2020/02/28/koronavirus-poslednie-novosti-28-fevralya-ogorchayut.html> (accessed 04.12.2020).

³ Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ. — *Коммерсантъ*. 23.02.2020. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4267279> (accessed 04.12.2020).

Согласно идентифицированным семантическим полям, новостной дискурс о коронавирусе, представляющий восточные регионы, разводит страны на активных участников, более страдающих и масштабно задействованных в карантинных мероприятиях (Китай) и менее активных (Южная Корея, Иран и Япония), включенных в новостной дискурс в качестве “вирусного фронта”, размечающего опасные для россиян территории.

КАК КОНСТРУИРУЕТСЯ “ЗАПАД”

За изучаемый период четыре страны, традиционно маркированные как западные, оказались в топе медийного новостного дискурса. Это Италия (746 включений, ipm 2 304), США (298 включений, ipm 921), Франция (186 включений, ipm 575) и Испания (145 включений, ipm 448), следовательно, медийная активность за изучаемый период в описании новостей соотносимо была направлена и на Восток, и на Запад.

Чаще всего российские медиа писали о ситуации с COVID-19 в Италии (чаще, чем об Италии (ipm 2 304), только о Китае (ipm 3 988)).

Италия в новостном контексте также, как и Китай, предстает в качестве территории мобильности и транзита, но не вируса, а граждан России (в семантическом поле: вернуться (МРІ 6.3), прибывать (МРІ 5.8), приезжать (МРІ 6.1), посещать (МРІ 5.7), гражданин (МРІ 5.7)). Все частотные глаголы, описывающие перемещения, связанные с Италией, касаются движения людей. Что же касается действий, описывающих специфическую активность во время пандемии, статистически значимым является использование глагола “заражать” (МРІ 4.7) (о вирусе), а также глаголов “умирать” (МРІ 4.6), “заболеть” (МРІ 4.4) и “заражаться” (МРІ 4.4).

Италия на глазах превращается из территории желания (которую многие “посещают”) в закрытую зону карантина: карантин (МРІ 3.2), мера (МРІ 3.7), закрывать (МРІ 4.1): “*Пациент с коронавирусом, вернувшийся из Италии в Россию, чувствует себя удовлетворительно (...) заявил министр здравоохранения России (...)*”⁴.

Пандемия в США (ipm 921) в медийном дискурсе конструируется принципиально иначе. И люди, и коронавирус отступают на второй план, а в семантическом ядре новостного дискурса оказывается государственная власть во главе с президентом, определяющая, заявляющая, затмевающая проблемы пандемии: государство (МРІ 7), объявлять (МРІ 5.6), заявлять (МРІ 4.7), президент (МРІ 7.5), Трамп (МРІ 8.9), правительство (МРІ 4.2). Дискурс пандемии служит фоном для самовыражения власти, присутствуя стереотипно, как клише: “заражение” (МРІ 4), “заболеть” (МРІ 3.6): “*Обнадеживал публику и президент США Дональд Трамп, заверивший, что благодаря проделанной работе эпидемия имеет низкую степень риска для его страны, в которой официально количество зараженных пока не превышает 59 человек, из них 42 пассажира с круизного лайнера Diamond Princess*”⁵.

“Этатический акцент” в медийном дискурсе присутствует и в новостях о пандемии коронавируса во Франции (ipm 575), однако медийный

⁴ Глава Минздрава рассказал о состоянии пациента с коронавирусом. — *РИА Новости*. 03.03.2020. URL: <https://ria.ru/20200303/1567829866.html> (accessed 04.12.2020).

⁵ Моисеев Д. Коронавирус заразил планету паникой. — *Независимая газета*. 27.02.2020. URL: https://www.ng.ru/world/2020-02-27/6_7805_virus.html (accessed 04.12.2020).

дискурс российских цифровых СМИ о Франции более объемён и сложен. Гуманитарный контекст здесь представлен описанием ситуации с COVID-19 (“случай” (МРІ 4.3), “заболеть” (МРІ 4.3), “covid” (МРІ 3.7), “скончаться” (МРІ 6.3), “подтверждать” (МРІ 5.1), “коронавирусный” (МРІ 3.7), “инфекция” (МРІ 3.4), “ситуация” (МРІ 4.0)). Попытка управлять сопротивлением пандемии со стороны власти представлена в дискурсе частотными коллокациями “президент” (МРІ 6.5), “Макрон” (МРІ 10.3), “власть” (МРІ 3.3). Кроме того, в дискурсе о пандемии на материале Франции появляется экономическая тема, которая не пробила в лидеры в медийном дискурсе других стран: “напугать” (МРІ 8.0), “экономика” (МРІ 5), “критический” (МРІ 6.2), “катастрофический” (МРІ 8.8): “*Влияние коронавируса на рост экономики Франции будет в 2020 году серьезным*”, — предупредил министр”⁶.

Русскоязычный медийный дискурс о пандемии в Испании (ipm 448) описывает вовлечение людей в мировую коронавирусную эпидемию (“заболеть” (МРІ 3.9), “заражаться” (МРІ 5.0), “скончаться” (МРІ 6.2), “заражать” (МРІ 4.4), “умирать” (МРІ 4.3), “гражданин” (МРІ 4.6)) и проблемы государственного здравоохранения (“карантин” (МРІ 3.7), “вводить” (МРІ 5.5), “чрезвычайный” (МРІ 6.9), “здравоохранение” (МРІ 4.5)): “*Первый случай смерти из-за заражения коронавирусом COVID-19 признали в Испании*”⁷.

Семантические поля медийного дискурса о коронавирусе на западе разделяют страны на те, где новости о коронавирусной пандемии оказываются фоном для повествования о персонифицированной власти (США и отчасти Франция), и страны, о которых российские медиа рассказывают, воссоздавая контекст эпидемиологической угрозы, акцентируя внимание на жертвах и страданиях (Италия и Испания). В то же время в отношении каждой страны, включенной в медийный дискурс о коронавирусе (и независимо от этого дискурса), присутствуют элементы, указывающие на устоявшиеся клише и стереотипы медиа в репрезентации геополитической реальности “Запада”.

РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ

Начальный этап информирования о пандемии коронавируса в самой России (1 018 включения, ipm 3 144) российские медиа описывают как “борьбу на границе” (“гражданин” (МРІ 5.0), “зарегистрировать” (МРІ 5.4), “территория” (МРІ 5.2), “зафиксировать” (МРІ 4.6), “выявлять” (МРІ 3.8), “регион” (МРІ 4.1), “граница” (МРІ 3.4), “возвращение” (МРІ 6.2), “въезд” (МРІ 4.3)), а российские власти оказываются в роли пограничников. Власть, “охраняющая границы”, представлена достаточно разнопланово (“правительство” (МРІ 4.2), “вводить” (МРІ 3.4), “посольство” (МРІ 6.5), “минздрав” (МРІ 3.9)), кроме того, в медийном дискурсе начала пандемии статистически значимо часто упоминаются и другие (более или менее активные и/или жертвующие) участники (“банк” (МРІ 5.6), “ФАС” (МРІ 6.4), “туроператор” (МРІ 6.1)). Обсуждение собственно угрозы коронавируса в России уходит на второй и третий план (“инфекция” (МРІ 1.1), “коронавирус” (МРІ 1.9) — собственно

⁶ Минфин Франции считает, что ЕС нужен план перезагрузки экономики в связи с коронавирусом. — ТАСС. 09.03.2020. URL: <https://tass.ru/ekonomika/7928797> (accessed 04.12.2020).

⁷ В Испании объявили о смерти пациента от COVID-19, умершего 13 февраля. — Интерфакс. 03.03.2020. URL: <https://www.interfax.ru/world/697653> (accessed 04.12.2020).

“пандемические коллокации” для ключевого слова “Россия” статистически не значимы): “Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV ‘следует считать высоким’” (...)”⁸.

В медийном дискурсе начала пандемии коронавируса Россия предстает не зараженной, а сопротивляющейся территорией, собирающей своих граждан (разбросанных по другим странам) под свою защиту, активно оказывающей сопротивление мировой эпидемии на государственном уровне.

С точки зрения конструирования медийного дискурса, стратегия позитивной самопрезентации страны в кризисных условиях, направленная на совладание с информационной и социальной паниками, может быть оценена как адекватная и релевантная. Однако это не означает, что данная стратегия является достаточной для совладания с негативными информационными последствиями пандемии (слухами и дезинформацией), это основа для дальнейшей более сложной информационной работы.

“ВООБРАЖАЕМАЯ ГЕОПОЛИТИКА” РОССИЙСКИХ МЕДИА: ДИСКУССИИ О КОНСТРУИРОВАНИИ МЕДИЙНОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Популярная критическая геополитика позволяет увидеть геополитическую реальность глазами не политиков, а обычных граждан, голосующих и поддерживающих (или не поддерживающих) своих политических лидеров, действующих в “реальном” геополитическом поле. Во многом зависимость от медиа, “воображаемая реальность” популярной критической геополитики хоть и соткана из клише и стереотипов, однако содержит очень разные по содержанию и проработанности “геополитические знания”.

Научная рефлексия позволяет реконструировать российское медийное поле геополитических образов. Так, в ряде медийных исследований доказывалось, что в дискурсе СМИ США предстают как сверхдержава, претендующая на мировое господство [Ищенко 2014]. Франция описывается в контексте культуры, туризма, проблем миграций и прав человека [Колосов и др. 2003], а Италия — в контексте культуры, мафиозных кланов и итальянских селебрити [Клименко 2010]. Что же касается Испании, в российских СМИ она предстает как страна, относящаяся с большим вниманием к национальной идентичности, стремящаяся укрепить свои позиции в качестве одной из ведущих европейских держав [Ларионова 2010].

Восточные страны в медийной геополитике проработаны менее детально. Медийный образ Ирана характеризуется противоречивостью, но доминированием позитивного имиджа как “друга, партнера, военного союзника” России [Липина 2018]. Республика Корея представлена как далекое и непонятное государство, которое укрепляет военную мощь и стремится к объединению нации [Щецхладзе 2016], а Япония — как опасный, но культурно притягательный сосед [Воробьева 2018]. Образ Китая оказывается наиболее сложным и динамичным, прошедшим от этапа демонизации Китая российскими медиа до признания интереса к культуре Китая и ориентации на экономическое сотрудничество [Цзинцзин Цзинь 2016; Ши Ся 2007].

⁸ Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России. — РБК. 29.01.2020. URL: <https://www.rbc.ru/society/29/01/2020/5e306de89a7947e1857fd351> (accessed 04.12.2020).

Важной особенностью всех исследований, рассматривающих с филологической, исторической или политологической точек зрения медийный дискурс о других странах, является их ориентация, как правило, на одно медиа и/или на качественные методы. Данное же исследование опирается на общий медийный дискурс российских СМИ, в котором отражается не редакционная политика какого-то конкретного издания, а общие, разделенные всеми медиа, стереотипы и социокультурные клише. Это означает, что читатели российских медиа, перемещаясь со страниц одного российского издания на страницы другого, в начале информационного сопровождения пандемии наиболее вероятно получали именно те знания о геополитическом устройстве мира, охваченного эпидемией коронавируса (конструировали реальность популярной критической геополитики в условиях пандемии), которые статистическими методами были выявлены в представляемом исследовании.

Как же устроен этот мир и насколько создаваемая геополитическая реальность в медийном дискурсе, посвященном коронавирусу, близка типичным медийным геополитическим образам?

Очевидна проевропейская направленность российского медийного дискурса. Если по числу упоминаний восточные и западные страны соотносимы, то по детализации содержания историй о западных странах очевидно, что они медиа более интересны. О Востоке — будь то Иран или Южная Корея — пишут в контексте границы, черты, за которой возникает опасность заражения коронавирусом (в условиях пандемии они становятся недоступными). Это вполне согласуется с уже сложившимися медийными образами восточных стран как далеких и малоизвестных, а также с определением фронта опасности (от коронавируса). Экзотическая Япония и в дискурсе пандемии проявляется нестандартно, на протяжении многих дней поддерживая новости о лайнере с инфицированными пассажирами.

Особая роль отводится Китаю. Медийный дискурс в отношении Китая содержит в качестве акторов, задающих интригу повествования, одновременно людей и вирусы. И если люди оказываются объектами наблюдения медиа в различных странах, то внимание коронавирусу как ключевому субъекту пандемии, значимо чаще проявляется в дискурсе новостей о Китае. Все другие страны, охваченные пандемией (включая страны с большими потерями населения), в дискурсе российских медиа конструируются в семантических полях страдания людей и/или контроля власти, и только в дискурсе о коронавирусе в Китае, вирус становится полноправным актором в новостном нарративе. Исследователи российских медиа “демонизацию Китая” относят в прошлое, однако особая роль коронавируса в медийном дискурсе о Китае, репрезентирующая страх общества перед разрушительным природным началом, может указывать на частичное сохранение устаревшей стратегии “демонизации”.

Западные страны в геополитических набросках медийного дискурса о коронавирусе выстраиваются в иерархии. Страны — “воображаемые конкуренты” (США и Франция) получают персонифицированную репрезентацию, непосредственно связанную с властью и политическими лидерами.

Отчуждение и негативное отношение к США в новостях российских медиа проявляется в том, что в медийном дискурсе о пандемии в США практически исчезают люди, страдающие от коронавируса. СМИ, представляя страну в эпицентре мировой эпидемии, воспроизводят исключительно фигуру прези-

дента, пытающего над всем установить контроль. Независимо от специфики дискурса (повседневный или кризисный), “воображаемые США” конструируются как не вызывающая сочувствия и гегемонистская страна.

Поскольку Франция в медийном дискурсе о коронавирусе — это не только президент, но и страдающие люди, и обрушивающаяся экономика, — образ Франции конструируется как более позитивный и близкий России, нежели образ США (образ Франции семантически оказывается одним из наиболее амбивалентных). С образами Франции и США связан феномен персонификации стран посредством позиционирования страны через ее политического лидера. Возможно, феномен медийной персонификации страны возникает только в отношении стран-конкурентов, однако для подтверждения или опровержения этого предположения требуются дальнейшие исследования.

Позитивное отношение российских медиа к Испании, описанное ранее в исследованиях, проявилось также и в медийном конструировании ситуации пандемии. Образ Испании реконструируется через страдания людей в условиях пандемии, а также посредством участия государства в защите от инфицирования (включение “минздрава” в значимые области упоминаний). Это позволяет предположить позиционирование Испании как близкой (к ней проявляется сочувствие) и сильной страны (указание на сопротивление через активность власти, при этом власть — “деловая”, претендующая не на геополитическое господство, а на решение проблем внутри страны).

Что же касается Италии, ее образ конструируется как близкой, вызывающей сочувствие и уязвимой страны. Если визуализировать дискурсивность Италии в геополитическом медийном дискурсе о пандемии, она оказалась бы буквально “в районе Подмосковья”, поскольку на начальном этапе мировой эпидемии российские медиа только и обсуждали, как “приехать”, “вернуться” и вообще “посещать” Италию, словно речь идет о территории, куда большинство россиян наведывается регулярно.

В итоге анализа российских медиа, информационно сопровождающих пандемию на начальном этапе, складывается дискурсивная геополитическая реальность, располагающая страны не в географической рациональности, а репрезентирующая отношение медиа (разделенные медийным сообществом стереотипы и аттитюды) к различным странам. “Объективная реальность” новостей неизбежно преломляется через интенциональность группового и/или индивидуального сознания, а результат конструирования медийной реальности представляет как “фактичность”, так и “отношения”, имплицитно встроенные в медийные тексты.

Данную субъективность все чаще называют пропагандой⁹, не учитывая, что субъективный взгляд (реконструкция события через свои интересы), как и интенциональность сознания, присущи всем акторам коммуникации — и людям, и странам, и медиа. В то же время, если использовать концепцию пропаганды Ж. Эллюля и рассматривать медийный дискурс как поле убеждающей коммуникации (предложение своей точки зрения и своего видения реальности для активизации населения), возможно работать над профессионализмом медиа, чтобы продукты их дискурсивной деятельности не обнажали буквально рос-

⁹ Casey M. Putin’s Magnificent Messaging Machine. *Politico*. 25.08.2015. URL: <https://www.politico.com/magazine/story/2015/08/25/putin-rt-soviet-propaganda-121734> (accessed 03.12.2020).

сийские геополитические стереотипы, не были бы очевидными маркерами общественных предпочтений и страхов. Таким образом, если субъективность и желание транслировать свое видение реальности со стороны медиа означивать как “пропаганда”, возможно порекомендовать медиа выстраивать более качественные и убедительные схемы дискурсивной работы.

ВЫВОДЫ

Дискурсивная геополитика СМИ, субъективно воспроизводящая геополитическую реальность в медийном дискурсе, в исследовательском фокусе может быть весьма информативна и способна раскрывать характеристики геополитических стереотипов и аттитудов общества, представленных посредством медиа. Инструменты компьютерной лингвистики обогащают методический инструментарий политолога, дают доступ к важной эмпирике, репрезентирующей политические процессы. Возможно, для прикладной российской политологии пришло время совершить “компьютерный лингвистический поворот”, чтобы значительная часть теоретического поля политологии, ориентированная на дискурсивность, обрела благодаря компьютерной лингвистике новую эмпирику и вышла бы на новый уровень осмысления социально-политической реальности.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.08

“IMAGINED GEOPOLITICS” IN THE RUSSIAN MEDIA DISCOURSE ON CORONAVIRUS

N.K. Radina¹

¹ National Research University Higher School of Economics. Nizhny Novgorod, Russia

RADINA, Nadezhda Konstantinovna, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor, National Research University Higher School of Economics in Nizhny Novgorod, email: rasv@yandex.ru

Radina N.K. “Imagined Geopolitics” in the Russian Media Discourse on Coronavirus. — Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 110-124. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.08>

Acknowledgements. The author thanks computer linguists A.V. Kozlova, V.S. Bazhenova, D.B. Lipskaya, and M.A. Mokrova, graduates of the educational program “Fundamental and Applied Linguistics” of the Higher School of Economics in Nizhny Novgorod, for their help in working with empirical data.

Received: 12.05.2020. Accepted: 17.07.2020

Abstract. This article analyzes, through seeing how Russian media reported about the COVID-19 pandemic, the images thus created of different countries. It approaches this issue in the context of popular critical geopolitics. 465 texts from Russian media (in the period 01.01.2019–03.20.2020) were identified based on the keyword “coronavirus” and processed using computer linguistics. For eastern countries (China, Iran, South Korea and Japan) and western ones (USA, Italy, Spain, France), as well as for “Russia”, semantic fields were reconstructed. Based on the analysis of semantic fields, the images the media created of countries facing the pandemic were interpreted. It turned out that the east was written about in the context of a border beyond which there is a danger of infection. The image of eastern countries in the news about the coronavirus is consistent with the prevailing media images of the east as a distant and little-known geopolitical space. The media discourse on the pandemic in China contains people and viruses as storytelling actors, which, according to the author of the article, may indicate that the outdated strategy of the “demonization” of China (as a habitat for the infection) remains strong. Western countries in the media discourse on coronavirus are lined up in a hierarchy. The United States and France are personified directly based on their political leaders. Ordinary people suffering from coronavirus disappear in the media discourse on the pandemic in the US; all media attention is focused on President Trump. The image of the United States is one of a hegemonic country.

The image of France is semantically one of the most complex and ambivalent. The image of Spain is being reconstructed through the suffering of people in a pandemic, as well as through the participation of the state in protecting citizens from the infection. The image of Italy is one of a close, sympathetic, and vulnerable country. Russia, in the discourse of Russian media at the initial stage of the pandemic, is constructed as not infected, instead resisting the pandemic. It turns out that the geopolitical media discourse in a pandemic preserves the most typical intentions.

Keywords: popular critical geopolitics, geopolitical image, media, pandemic, coronavirus, COVID-19.

References

- Bayulgen O., Arbatli E. 2013. Cold War Redux in US–Russia Relations? the Effects of US Media Framing and Public Opinion of the 2008 Russia–Georgia War. — *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 46. No. 4. P. 513–527. <https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2013.08.003>
- Cohen S. 2011. *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*. London: Routledge.
- Cooke N.A. 2018. *Fake News and Alternative Facts. Information Literacy in a Post-Truth Era*. Chicago: ALA Editions.
- Ellul J. 1973. *Propaganda: The Formation of Men's Attitudes*. N.Y.: Vintage. 352 p.
- Entman R.M. 2008. Theorizing Mediated Public Diplomacy: The U.S. Case. — *The International Journal of Press/Politics*. Vol. 13. No. 2. P. 87–102. <https://doi.org/10.1177/1940161208314657>
- Herman E., Chomsky N., Mullen A. 2009. The Propaganda Model after 20 Years: Interview with Edward S. Herman and Noam Chomsky. — *Westminster Papers in Communication and Culture*. Vol. 6. No. 2. P. 12–22. <https://doi.org/10.16997/wpcc.121>
- Ibarra P.R. 2009. Problematic Sociality: Uncertainty and the Study of Social Problems. — *American Sociologist*. Vol. 40. P. 79–88. <https://doi.org/10.1007/s12108-009-9063-4>
- Kolossov V. 2013. The Vision of Europe and the World from Large Powers: The Case of BRIC. — *Geografia Polonica*. No. 2. P. 89–98. <https://doi.org/10.7163/GPol.2013.10>
- McCombs M. 2004. *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*. Cambridge, MA: Polity Press.
- Michel J.B., Shen Y.K., Aiden A.P., Veres A., Gray M.K., Pickett J.P., Aiden E. L. 2011. Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books. — *Science*. Vol. 331. No. 6014. P. 176–182. <https://doi.org/10.1126/science.1199644>
- Petersson B., Persson E. 2011. Coveted, Detested and Unattainable? Images of the US Superpower Role and Self-Images of Russia in Russian Print Media Discourse. — *International Journal of Cultural Studies*. Vol. 14. No. 1. P. 71–89. <https://doi.org/10.1177/1367877910384185>
- Pjesivac I., Luther C. A., Imre I. 2018. Constructing an Image of the United States in the British and French Editorials about Wikileaks. — *The Journal of International Communication*. Vol. 24. No. 2. P. 216–237. <https://doi.org/10.1080/13216597.2018.1492432>
- Tsygankov A. 2017. The Dark Double: The American Media Perception of Russia as a Neo-Soviet Autocracy. 2008–2014. — *Politics*. Vol. 37. No. 1. P. 19–35. <https://doi.org/10.1177/0263395715626945>
- Wang Q. 2016. A Comparative Case Study: Network Agenda Setting in Crisis and Non-Crisis News. — *Global media and China*. Vol. 1. No. 3. P. 208–233. <https://doi.org/10.1177/2059436416668870>
- Anderson B. 2001. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Russ. ed.: Anderson B. Vobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniya ob istokakh i rasprostraneni natsionalizma. Moscow: KANON-Press-Ts; Kuchkovo pole).
- Bonch-Osmolovskaya A.A. 2015. Cultural Studies in the National Corps of the Russian Language, to the Statement of the Problem: Three Centuries of Russian Roads. — *Trudy instituta russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova*. No. 6. P. 605–641. (In Russ.)
- Czinczin Czin. 2016. The Historical and Symbolical Representation of China in the Russian Culture on Material of Printed Media. — *Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences*. No. 181. P. 45–49. (In Russ.)
- Ilyin M.V. 2011. Annular Model of the Global Geopolitical Expanse. — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 129–133. (In Russ.)
- Ischenko A.A. 2014. The Foreign Policy Component of the Image of the United States in the Mass Consciousness of Russian Citizens in 2001–2004 (Based on Materials from Domestic Media). — *Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta*. No. 1. P. 30–33. (In Russ.)
- Klimenko D.A. 2010. The Main Components of the Country Image and Technology of Its Promotion: On the Example of the Formation of the Image of Italy in Russia. — *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika*. No. 1. P. 165–181. (In Russ.)

- Kolosov V.A. 2011. Critical Geopolitics: The Basics of the Concept and the Experience of Its Application in Russia. — *Political Science (RU)*. No. 4. P. 31-52. (In Russ.)
- Kolosov V.A., Borodulina N.A., Vendina O.I., Galkina T.A., Zayatz D.V., Yur Ye.S. Geopolitical Vision of the World in Mass-Media. — *Polis. Political Studies*. 2003. No. 3. P. 33-49. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2003.03.04>
- Larionova M.V. 2010. Russia and Spain in the Mirror of Newspaper and Journalistic Discourse: Metaphors and Stereotypes. — *MGIMO Review of International Relations*. No. 2. P. 247-254. (In Russ.)
- Lipina M.A. 2018. Features of Iran's Image Formation in Modern Russian Media (Political Metaphor). — *Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philology. Journalism*. Vol. 18. No. 4. P. 403-407. (In Russ.) <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2018-18-4-403-407>
- Lyashevskaya O.N., Sharov S.A. 2009. *Chastotnyy slovar' sovremennogo russkogo yazyka (na materialakh Natsional'nogo korpusa russkogo yazyka)* [Frequency Dictionary of the Modern Russian Language (based on the materials of the National Corps of the Russian Language)]. Moscow: Azbukovnik. (In Russ.)
- Novikov L.A. 2001. Semanticheskoye pole kak leksicheskaya kategoriya. Semanticheskoye pole kak tekstovaya struktura [Semantic Field as a Lexical Category. Semantic Field as a Text Structure]. — *Izbrannyye trudy. Vol. II: Esteticheskiye aspekty yazyka. Miscellanea* [Selected Works. Vol. II: Aesthetic Aspects of Language. Miscellanea]. Moscow: Izdatel'stvo RUDN. P. 554-570. (In Russ.)
- Okunev I.Yu. 2012. Critical Geopolitics and the Postcritical Shift in the Research Paradigm of Geopolitics. — *Kul'turnaya i gumanitarnaya geografiya*. Vol. 1. No. 2. P. 152-158. (In Russ.)
- Shi Xia. 2007. Yazykovye sredstva demonizatsii obraza Kitaya v rossiiskikh SMI [Linguistic Means of Demonizing the Image of China in the Russian Media]. — *Yazyk, soznanie, kommunikatsiya*. Otv. red. V.V. Krasnykh, A.I. Izotov [Language, Consciousness, Communication: collected articles. Ed. by V.V. Krasnykh, A.I. Izotov]. Moscow: MAKS Press. P. 22-33. (In Russ.)
- Sobiyanek K.L. 2010. Image of Russia and Stereotypes of its Perception in Poland (On the Basis of Publications by Andrzej de Lazari). — *Political Linguistics Journal*. No. 4 (34). P. 166-171. (In Russ.)
- Tret'yakov A.O., Filatova O.G., Zhuk D.V., Gorlushkina N.N., Puchkovskaya A.A. 2018. Method for Determining Russian-Language Fake News Using Elements of Artificial Intelligence. — *International Journal of Open Information Technologies*. Vol. 6. No. 12. P. 99-105. (In Russ.)
- Tsetskhladze L.T. 2016. The Image of the Republic of Korea in the Russian-Language Media (On the Example of Online Newspaper Lenta.ru). — *Mediasreda*. No. 11. P. 120-125. (In Russ.)
- Vorobyova E.A. 2018. The Beautiful Country of Japan, the Beautiful Country of Russia: The Formation and Perception of the Image of the Enemy. — *Idei i idealy*. Vol. 1. No. 1. P. 164-182. (In Russ.) <https://doi.org/10.17212/2075-0862-2018-1.1-164-182>
- Zamyatin D.N. 2012. Humanitarian Geography: Main Directions, Categories, Methods. — *Kul'turnaya i gumanitarnaya geografiya*. Vol. 1. No. 1. P. 11-26. (In Russ.)

Литература на русском языке

- Андерсон Б. 2001. *Воображаемые сообщества*. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле.
- Бонч-Осмоловская А.А. 2015. Культуромика в национальном корпусе русского языка, к постановке задачи: три века русских дорог. — *Труды института русского языка им. В.В. Виноградова*. № 6. С. 605-641.
- Воробьева Э.А. 2018. Прекрасная страна Япония, прекрасная страна Россия: формирование и восприятие образа врага. — *Идеи и идеалы*. Т. 1. № 1. С. 164-182. <https://doi.org/10.17212/2075-0862-2018-1.1-164-182>
- Замятин Д.Н. 2012. Гуманитарная география: основные направления, категории, методы. — *Культурная и гуманитарная география*. Т. 1. № 1. С. 11-26.
- Ильин М.В. 2011. Кольцевая модель глобального геополитического пространства. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 129-133.
- Ищенко А.А. 2014. Внешнеполитическая составляющая образа США в массовом сознании граждан России в 2001-2004 гг. (по материалам отечественных СМИ). — *Вестник Череповецкого государственного университета*. № 1. С. 30-33.
- Клименко Д.А. 2010. Основные составляющие странового имиджа и технологии его продвижения: на примере формирования имиджа Италии в России. — *Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика*. № 1. С. 165-181.
- Колосов В.А. 2011. Критическая геополитика: основы концепции и опыт ее применения в России. — *Политическая наука*. № 4. С. 31-52.

Колосов В.А., Бородулина Н.А., Вендина О.И., Галкина Т.А., Заяц Д.В., Юр Е.С. 2003. Геополитическая картина мира в средствах массовой информации. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 33-49. <https://doi.org/10.17976/jpps/2003.03.04>

Ларионова М.В. 2010. Россия и Испания в зеркале газетно-публицистического дискурса: метафоры и стереотипы. — *Вестник МГИМО-Университета*. № 2. С. 247-254.

Липина М.А. 2018. Особенности формирования имиджа Ирана в современных российских СМИ (политическая метафора). — *Известия Саратовского университета. Серия Филология. Журналистика*. Т. 18. Вып. 4. С. 403-407. <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2018-18-4-403-407>

Ляшевская О.Н., Шаров С.А. 2009. *Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)*. М.: Азбуковник.

Новиков Л.А. 2001. Семантическое поле как лексическая категория. Семантическое поле как текстовая структура. — *Избранные труды. Т. II: Эстетические аспекты языка. Miscellanea*. М.: Издательство РУДН. С. 554-570.

Окунев И.Ю. 2012. Критическая геополитика и посткритический сдвиг в исследовательской парадигме геополитики. — *Культурная и гуманитарная география*. Т. 1. № 2. С. 152-158.

Собиянэк К.Л. 2010. Образ России и стереотипы ее восприятия в Польше (по материалам публикаций Анджея де Лазари) — *Политическая лингвистика*. № 4 (34). С. 166-171.

Третьяков А.О., Филатова О.Г., Жук Д.В., Горлушкина Н.Н., Пучковская А.А. 2018. Метод определения русскоязычных фейковых новостей с использованием элементов искусственного интеллекта. — *International Journal of Open Information Technologies*. Т. 6. № 12. Р. 99-105.

Цецхладзе Л.Т. 2016. Образ республики Кореи в русскоязычных СМИ (на примере интернет-газеты Lenta.ru). — *Медиасреда*. № 11. С. 120-125.

Цзинцзин Цзинь. 2016. Историко-символическое представление Китая в русской культуре на материале печатных СМИ. — *Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена*. № 181. С. 45-49.

Ши Ся. 2007. Языковые средства демонизации образа Китая в российских СМИ. — *Язык, сознание, коммуникация*. Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. М.: МАКС Пресс. С. 22-33.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.09

ИСПЫТАНИЕ РУССКИХ ГЕОПОЛИТИКОВ: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ПЕРСПЕКТИВЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

Н.Ю. Силаев

СИЛАЕВ Николай Юрьевич, ведущий научный сотрудник Института международных исследований, МГИМО МИД России, Москва, email: nikolai.silaev@gmail.com

Силаев Н.Ю. Испытание русских геополитиков: внешняя политика России в перспективе геополитических теорий. — Полис. Политические исследования. 2021. № 1. С. 125–141. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.09>

Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 17-78-20170 “Типология современных военно-политических союзов и модели отношений России с союзниками”.

Статья поступила в редакцию: 17.05.2020. Принята к публикации: 05.11.2020

Аннотация. Кризис в отношениях с Западом стал испытанием не только для российской внешней политики, но и для теорий, которые объясняли место России в мире и предлагали ей оптимальный политический курс. Кризис позволил судить об обоснованности этих теорий. Особое место среди них занимает геополитика Александра Дугина. Она не признана академическим сообществом в России, но на Западе Дугина многие наблюдатели и исследователи считают если и не прямым выразителем идей Кремля, то весьма влиятельным политическим философом. Его труды расцениваются как важный источник по современной российской внешнеполитической мысли и используются для объяснения российского внешнеполитического курса. Поэтому уместно проверить, в какой мере подходы Дугина — а вместе с ними и взгляды исследователей, которые оценивают российскую внешнюю политику, опираясь на его труды, — оправдали себя в ходе текущего кризиса. В статье теория Дугина проверяется в сопоставлении с работами другого известного в России (но не на Западе) геополитика — Вадима Цымбурского. Этот выбор обусловлен тем, что Цымбурский создал своеобразную и цельную теорию, объясняющую положение России в мире, которая, развиваясь в той же геополитической парадигме, что и дугинская, противоположна последней и по своим исходным посылкам, и по своим выводам. Это позволяет более рельефно проявить элементы теории Дугина, в наибольшей степени влияющие на западные оценки российской внешней политики. Оба эти подхода сопоставляются с влиятельной американской реалистской теорией баланса угроз Стивена Уолта. Увлечение трудами Дугина мешает западным аналитикам увидеть подлинную сложность российской дискуссии о месте страны в мире и точно реконструировать российскую внешнеполитическую стратегию. Поведение России в текущем кризисе более адекватно описывает теория Цымбурского, чем теория Дугина. Выводы о структурных географических факторах российского внешнеполитического курса, сделанные на основе теории Цымбурского, обнаруживают параллели с выводами, которые могут быть сделаны в рамках теории баланса угроз. Российская геополитика сохраняет свой аналитический потенциал, но он может быть усилен благодаря более пристальному анализу текущих сдвигов международного порядка.

Ключевые слова: геополитические теории, Цымбурский, Дугин, внешняя политика России, теория баланса угроз, международные союзы, отношения России и Запада.

Геополитика в постсоветской России пережила пик популярности в 1990-е годы, однако позже потеряла актуальность. С одной стороны, близкое знакомство с американскими и западноевропейскими теориями международных отношений побудило российских международников убрать геополитику “на дальнюю полку”, поскольку в российском варианте 1990-х она опиралась на старые зарубежные труды, которые давно не составляли мейнстрим дисциплины. С другой стороны, российская геополитика, за одним весьма значимым исключением в лице А.Г. Дугина, не вызывала интереса на Западе, и знакомство с ней не давало преимуществ для международных публикаций. Наконец, в российской геополитике нормативная составляющая была гипертрофирована по сравнению с аналитической, и это ограничивало перспективы ее академического признания.

С 2000-х годов в России активно развивалась критическая геополитика [Колосов 2011]. Она возникла как антитеза основополагающему для классической геополитики представлению о физическом пространстве как константе. В рамках критической геополитики неизменности физической географии были противопоставлены изменчивость и подвижность социально сконструированных представлений о пространстве [Ó Tuathail, Dalby 1998: 2]. Несмотря на продуктивность применения конструктивистских социальных теорий к области политической географии, критическая геополитика не избежала замечаний в свой адрес. Внимание к социально конструируемым представлениям о пространстве в ней подчас вытесняло изучение собственно физического пространства, ее упрекали в “недостаточной ‘географичности’” [Колосов 2011: 42]. На фоне этого реалистские исследования по международным отношениям сохраняют устойчивый интерес к собственно пространственным аспектам мировой политики [Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016], в том числе классической дихотомии континентальных и морских держав [Levy, Thompson 2010].

Подробный обзор современных российских и зарубежных геополитических подходов принадлежит И.Ю. Окуневу и А.М. Кучинову [Окунев, Кучинов 2013], впрочем, в этой работе геополитика трактуется гораздо шире, чем привычное для российского контекста ее понимание как влияние географических факторов на международные отношения. М.В. Ильин развивал геополитику как анализ структурных возможностей и ограничений, заданных политическим акторам физико-географическими характеристиками территории, на основе наследия Стейна Роккана и Вадима Цымбурского [Ильин 1995, 2015; Ильин, Мелешкина 2010]. В духе классической геополитики, близкой к идеям В.Л. Цымбурского, проводит исследования С.В. Хатунцев [Хатунцев 2011, 2015]. Однако, при заметном внимании к наследию Цымбурского¹, немногочисленность геополитических исследований не позволяет говорить о плодотворном развитии этого направления. Оно недостаточно известно даже среди российских международников. В недавней работе А.Ю. Мельвиля Цымбурский, академически признанный классик российской геополитики, упомянут как один из основателей постсоветского евразийства и “эзотерический” изоляционист, которого, впрочем, впоследствии затмил Дугин [Melville 2018: 100], притом что геополитические построения Цымбурского попросту противоположны дугинским и содержат прямую полемику с евразийством.

¹ В 2012 г. увидела свет книга Б.В. Межуева о наследии В.Л. Цымбурского [Межуев 2012], в 2015 г. был выпущен специальный номер альманаха “Тетради по консерватизму”, посвященный этому наследию.

Примечательно, что события в российской внешней политике последних пяти-шести лет практически не получили геополитического истолкования. Они изучаются в классической парадигме баланса сил [Караганов 2019] или с точки зрения развития международно-политической системы [Барановский 2017, 2019; Энтин, Энтина 2017]. Геополитическими можно назвать лишь несколько работ. Так, Б.В. Межуев в 2017 г. опубликовал статью, в которой предлагал подход к урегулированию кризисов в широком российско-западном пограничье, включающем, естественно, Украину, на основе принципов “цивилизационного реализма”. Этот принцип связывался с взаимным признанием, с одной стороны, различий между российской и европейской цивилизациями, а с другой — особых условий существования стран пограничной зоны [Межуев 2017]. Другая работа трактовала отношения России и Турции и их обеих с Европой сквозь призму подхода Цымбурского к российско-европейской исторической динамике [Межуев 2019]. С.В. Хатунцев опубликовал работу о перспективах альянса России, Китая, Индии и Ирана, опираясь на теорию Лимитрофа, которая разрабатывалась Цымбурским [Хатунцев 2015]. При всей ценности этих работ они либо были посвящены сравнительно узкой теме, либо носили преимущественно рекомендательный характер. Российская геополитика не дала широкого анализа текущих событий, который объяснял бы внешнеполитические шаги России и их результаты.

Означает ли это, что российская геополитическая традиция неплодотворна? Парадокс в том, что она используется для объяснения внешней политики России, но только не отечественными авторами, а западными. Причем теоретиком, который олицетворяет российскую геополитику в исследованиях по международным отношениям, написанных и опубликованных на английском языке, выступает не академически признанный Цымбурский, а его оппонент Дугин, в российской академии маргинальный.

Мы попытаемся разобрать этот парадокс, ответив на следующие вопросы. В чем причина популярности Дугина у западных исследователей? Какая из теорий — Дугина или Цымбурского — точнее предсказывает внешнеполитическое поведение России в последние годы? Поддаются ли выводы о внешней политике России, сделанные на основе теории Цымбурского, проверке иными теориями международных отношений, имеющих западное происхождение? Какие аналитические и стратегические ошибки вызывает отождествление российской геополитики с теорией Дугина? В каком направлении может развиваться российская геополитика, чтобы занять более заметное место в академических исследованиях по международным отношениям?

ГЕОПОЛИТИК ИМПЕРИИ

В российском академическом сообществе Александра Дугина не принято цитировать как равного. Он может выступать либо как пример идеологически ангажированных и вульгарных представлений о международных отношениях [Богатуров 2004], либо как апологет расизма и ксенофобии [Бикбов 2014; Шнирельман 2016]. Сложно было ожидать иного, учитывая, что Дугин возводит свою интеллектуальную родословную, среди прочего, к довоенным немецким геополитикам, чья репутация была безнадежно испорчена нацистской Германией. При этом американская классическая геополитика в лице Хэлфорда Маккиндера и Альфреда Мэхэна, позже Николаса Спайкмена

остается пусть и несколько старомодной, но вполне респектабельной частью дисциплины международных отношений.

Впрочем, в западных исследованиях России, российской внешней политики и международных отношений он занимает куда более престижную позицию. Политическую и интеллектуальную биографию Дугина в ряду других правых и ультраправых российских мыслителей и политиков довольно подробно реконструировала Марлен Ларюэль [Laguette 2009]. Исследователи на обширном фактическом материале опровергают мнение о большом влиянии взглядов Дугина на российскую политическую элиту [Kalinin 2019].

Но это не мешает существованию и развитию своеобразного “дугинского мифа”. Конечно, и на Западе Дугин не избегает репутации неонациста [Ingram 2001], однако ряд авторов разбирают его построения вполне серьезно. Андрей Толстой и Эдмунд Маккафрей пишут о нем как об интеллектуале, который как никто другой “представляет тактику нынешнего российского режима” и который обеспечивает ультраправое идеологическое обоснование для политики Кремля [Tolstoy, McCaffrey 2015: 28]. Дмитрий Шлапентох, хотя не признает за Дугиным статус “интеллектуального гуру” постсоветских элит, тем не менее полагает, что труды Дугина достойны изучения, поскольку показывают, какого рода идеи имеют хождение в российских верхах [Shlapentokh 2007]². В схожем духе высказался в одном из интервью и Андреас Умланд: хотя Дугина нельзя назвать идеологом Кремля, люди “из ближнего круга Путина” находятся под его интеллектуальным влиянием, и Кремль использует Дугина в своих пропагандистских кампаниях³. Есть и менее сдержанные оценки. По выражению Антона Барбашина и Ханны Тоберн, Дугин — сильный претендент на роль главного российского идеолога, и именно его философия стоит за присоединением Крыма к России⁴. Интернет-издание *Theory Talks* (главный редактор Пер Шутен из Датского института международных исследований) взяло подробное интервью у самого Дугина, причем он был отрекомендован как крупный российский теоретик международных отношений⁵. Помимо Дугина, на *Theory Talks* опубликованы интервью с такими исследователями, как Роберт Кеохэйн, Роберт Джервис, Джозеф Най, Александр Вендт, Джон Миршаймер, Джеймс Фирон. Другие российские авторы, кроме Дугина, в издании не представлены.

Мало кому из постсоветских интеллектуалов приписывают столь широкое политическое влияние. Политическая философия Дугина оказалась удобной рамкой, сквозь которую западные аналитики смотрят на Россию. Это объяснимо. По модулю, без учета позитивной или негативной коннотации, его нарратив о России неотличим от некоторых влиятельных нарративов, возникших на Западе. Например, дугинское описание России как страны,

² “Дугиниана” Дмитрия Шлапентоха насчитывает не менее четырех работ, кроме процитированной, посвященных разбору политических взглядов Дугина. См. [Shlapentokh 2008, 2014, 2016, 2017].

³ Umland A. Alexander Dugin — A Russian scarecrow. — *New Eastern Europe*. 20.03.2017. URL: http://neweasterneurope.eu/old_site/interviews/2295-alexander-dugin-a-russian-scarecrow (accessed 14.11.2020).

⁴ Barbashin A., Thoburn H. Putin's Brain: Alexander Dugin and the Philosophy Behind Putin's Invasion of Crimea. — *Foreign Affairs*. 31.03.2014. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-03-31/putins-brain> (accessed 16.04.2020).

⁵ Millerman M. Theory Talk #66: Alexander Dugin on Eurasianism, the Geopolitics of Land and Sea, and a Russian Theory of Multipolarity. — *Theory Talks*. 07.12.2014. URL: <http://www.theory-talks.org/2014/12/theory-talk-66.html> (accessed 14.11.2020). Перу Майкла Миллермана также принадлежит детальное исследование хайдеггеровских истоков философии Дугина [Millerman 2018].

в силу своих географических условий из века в век воспроизводящей одну и ту же модель консервативной идеократической империи с мощной авторитарной центральной властью, почти дословно совпадает с описанием, данным Ричардом Пайпсом, чьи работы по русской истории столь же сомнительны, сколь и популярны [Pipes 1974]. Влиятельный западный нарратив о русской истории через работы Дугина получил проекцию на внешнюю политику современной России. Антизападная политическая ангажированность философа придает этой проекции особую силу и убедительность.

Примечательно, что Аллен Линч, цитируя известную фразу Бжезинского, что без контроля над Украиной Россия не может вновь стать евразийской империей, тут же ссылается и на Дугина. Это один из аргументов, подтверждающих, по мнению Линча, неизменность внешнеполитической стратегии постсоветской России — добиваться гегемонии на пространстве бывшего СССР, чтобы максимизировать возможные выгоды от отношений с Западом. Российский “глубинный” политический режим, т.е. русское национальное государство имперского типа, как полагает Линч, прочно вошел в политическое мышление России; различия между Борисом Ельциным и Владимиром Путиным в этом отношении несущественны [Lynch 2016: 109-110]. Под многими из этих слов мог бы подписаться и Дугин, хотя сам он высказался энергичнее: “Суверенитет Украины представляет собой настолько негативное для российской геополитики явление, что, в принципе, легко может спровоцировать вооруженный конфликт. Без черноморского побережья от Измаила до Керчи Россия получает настолько протяженную прибрежную полосу, реально контролируемую неизвестно кем, что само ее существование в качестве нормального и самостоятельного государства ставится под сомнение” [Дугин 1997: 199].

ГЕОПОЛИТИК ОСТРОВА

В то время как для Дугина империя — это естественное и единственно возможное состояние России [Дугин 1997: 110-112], Вадим Цымбурский строил свои рассуждения о российской геополитике из антиимперских предпосылок. Исторический смысл распада Советского Союза он видел в том, что Россия, вернувшись к границам XVII в., завершила тем самым особый период своей истории, вернувшись на ту историческую развилку, где был когда-то избран имперский путь. Вопреки многим он видел в этом не поражение, а возможность. Отделенная от Западной Европы широкой полосой “сухопутного пролива”, территориями, которые в историко-культурном отношении не принадлежат ни русской, ни европейской цивилизациям, Россия может остановить длинные кровавые исторические циклы притяжения-отталкивания с Европой и сосредоточиться на внутреннем развитии, прежде всего на перемещении собственного центра тяжести в восточные регионы страны [Цымбурский 1993]. “Цымбурский, — пишет Б.В. Межуев, — единственный из теоретиков сделал ставку на Россию-РФ, на ее целостность и ее самостоятельность, и эта ставка себя оправдала” [Межуев 2011: 344], хотя куда более распространены в 1990-х были прогнозы о распаде страны или создании на ее основе новой империи.

Ключевое для нашей темы расхождение между теориями Дугина и Цымбурского состоит в том, как они трактуют роль Великого Лимитрофа — широкой полосы территорий, которые отделяют Россию от соседних с ней крупнейших цивилизаций. Сюда относятся Восточная Европа, включая восточноевропейскую часть постсоветского пространства, Кавказ, Центральная

Азия. Лимитроф истончается к востоку, и на границе России и Китая обнаруживаются лишь исторические следы прежнего пограничного пространства. Дугин считает контроль над этими территориями неотъемлемым свойством евразийской империи и залогом ее глобального могущества. Цымбурский полагал, что имперский порыв по установлению контроля над Лимитрофом и прямое соприкосновение с европейской романо-германской цивилизацией породил постоянно воспроизводящееся в имперской и советской истории искушение установления контроля над Европой (“похищения Европы”) с сопутствующим растворением в ней [Цымбурский 2016].

Геополитическое представление России как острова позволяет ей — казалось бы, эталонной сухопутной державе, — проводить внешнюю политику, характерную для островных держав [Цымбурский 1993]. Позже Цымбурский сформулировал это прямо: “Восприятие России как ‘острова’, окруженного физическими и географическими барьерами, такие метафоры, как ‘шельф’, ‘залив’ и многие другие, — все это имело очень важную задачу, выходящую за рамки соперничества с панконтинентализмом. Она заключалась в том, чтобы подтвердить возможность применения ‘британской’ модели ‘равноудаленности’ и ‘великолепной изоляции’” к континентальной стране, в результате чего она может самостоятельно выбирать союзников, чтобы противостоять нежелательной иностранной гегемонии в регионах, представляющих для России особую важность [Цымбурский 2016: 424].

Аналитически продуктивно было бы различать Цымбурского — геополитика, формулирующего закономерности внешней политики России, вытекающие из ее нового географического положения после 1991 г., и Цымбурского — исследователя геополитических учений. В данной статье предметом проверки или испытания выступает именно геополитическая теория Цымбурского. В то время как во втором качестве, обратившись к смыслу понятия “геополитика”, он пришел к выводу, что претензии геополитики на статус научной дисциплины едва ли состоятельны, поскольку она направлена скорее на политическое проектирование, чем на академическое изучение политики. Роль ученых — политологов и политических географов — по отношению к ней заключается в том, чтобы критиковать геополитические проекты и объяснять их истоки и исторический контекст [Цымбурский 1999]. По сути, Цымбурский согласился здесь с взглядами критической геополитики с ее интересом к конструированию представлений о пространстве. Впрочем, он отметил также, что сопоставление различных геополитических моделей, претендующих на описание страны, региона, международного порядка, может быть и средством познания этих объектов [там же]. Этот тезис важен, поскольку сопоставлению “евразийской” геополитики Дугина и “островной” геополитики Цымбурского и посвящена данная статья.

Перенос фокуса с геополитики России на изучение российских геополитических построений получил развитие в докторской диссертации Цымбурского, опубликованной уже после его кончины. В этой работе внимание исследователя сосредоточено не на географических факторах международной политики, а на истории российских геополитических учений. Стремясь избежать искажений, которые несет в себе как хронологический, так и проблемный (в соответствии с тем регионом, на который направлено геополитическое проектирование в конкретной доктрине) подходы, Цымбурский предложил оригинальное видение истории российской внешней политики XVIII–XX вв. Оно базировалось на понятии “конфликтная система”

как географически определенном международном балансе сил с устойчивым набором геополитических ролей и представлении о циклах существования конфликтной системы “Россия – Европа” [Цымбурский 2016: 61, 87-88]⁶. Отметим, что Цымбурский при этом не отвергал собственные геополитические представления о России как “острове”.

Нормативный уклон российской геополитики побуждает видеть в полемике геополитика Цымбурского с Дугиным спор о выборе того или иного внешнеполитического курса. Сам Цымбурский, наблюдая обострившееся соперничество России и Запада в постсоветском пространстве (т.е. на буферных, согласно его модели, нейтральных территориях), выражал опасения, что его теория может уступить геополитике Дугина [Цыганков 2015: 18]. Вместе с тем геополитика как способ рассуждать о международных делах претендует на выявление и описание наиболее фундаментальных и неизменных структур международной политики, которые, напротив, жестко задают рамки возможного политического курса. В этом ракурсе модель следует тестировать не с точки зрения буквального совпадения с ней текущего внешнеполитического поведения всех вовлеченных игроков (и тем более их риторики), но с точки зрения результатов столкновений между ними⁷.

ЧТО ПОКАЗАЛ КРИЗИС В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И ЗАПАДА?

Среди множества событий, в целом складывающихся в слом международного порядка (или его глубокую трансформацию), для нашего рассуждения важны следующие.

Соперничество России с коллективным Западом в лице США, НАТО за преобладание в восточно-европейском и закавказском сегментах постсоветского пространства, развивавшееся на протяжении десятилетия с 2004–2005 по 2014–2015 гг., закончилось тяжелой ничьей. России не удалось добиться включения Украины в Евразийский союз. Украина и Грузия поддерживают тесное военно-политическое сотрудничество с США и НАТО. Обе страны очень надолго, если не навсегда, потеряны в качестве возможных союзников. В то же время присоединение Крыма, сецессия Донбасса, российское военное присутствие в признанных Москвой независимыми Абхазии и Южной Осетии на обозримое будущее блокируют вступление Украины и Грузии в НАТО. Реформы на Украине не привели к укреплению ее экономики и государственных структур, и поэтому, несмотря на ее враждебность, она не может создать серьезной угрозы для России [Ofitserov-Belskiy, Sushenstov 2018: 288].

В перспективе дугинской геополитики потеря Украины без возможности восстановить влияние на эту страну означает катастрофу для России. Это крупнейшая и во многих отношениях ключевая страна постсоветской части Лимитрофа. Несмотря на потерю Крыма, Украина вместе с Грузией контролируют значительную часть черноморского побережья, связывая (теоретически) России руки на Черном море.

⁶ Хотя понятие конфликтной системы продемонстрировало свою аналитическую силу при исследовании истории геополитических учений в России, оно, к сожалению, не получило у своего автора достаточной разработки как теоретический инструмент анализа собственно международных отношений.

⁷ Строго говоря, модель “Острова России” не исключала, что либо Россия, либо коллективный Запад попытаются поставить под свой контроль разделяющие их лимитрофные зоны. Эти попытки не опровергают модель. Опровергнуть ее может лишь их успешный результат.

В результате украинского кризиса международное влияние России должно было значительно сократиться, однако этого не произошло. Успешное участие в сирийском конфликте вывело международное влияние и статус России на новый уровень. Вполне стандартным в последние годы стало утверждение, что, наряду с США и Китаем, Россия является третьим глобальным игроком [Chagar, Drennan, Noël 2017; Riddervold, Rosén 2018; Graham 2019]⁸. Томас Грэм называет факторами российского глобального влияния ее ядерный арсенал, природные ресурсы и центральное положение в Евразии [Graham 2019]. Можно, однако, заметить, что те же факторы действовали и раньше, однако общим местом были скорее указания на неспособность России поддержать даже региональное доминирование и ее ностальгию по статусу сверхдержавы⁹ [Rutland 1994].

Российское вмешательство на Ближнем Востоке развивается не по советским лекалам, когда Москва не имела дипломатических отношений с рядом влиятельных региональных игроков. Операция в Сирии включала в себя тесное сотрудничество с Ираном, однако Россия сохранила и укрепила при этом партнерские отношения с Израилем. Турция — несмотря на ряд серьезных сложностей в отношениях с ней, — стала одним из важных партнеров России в политическом урегулировании внутреннего сирийского конфликта; была достигнута договоренность о поставке в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Москва и Анкара развивают сотрудничество в таких стратегических областях, как энергетика, в том числе ядерная. Стоит подчеркнуть, что стороны добились этих результатов, несмотря на острые кризисы в конце 2015 г. — первой половине 2016 г. после того, как российский бомбардировщик Су-24 был сбит над Сирией турецкими ВВС, и в феврале 2020 г. в связи с обострением ситуации в Идлибе, а также войну в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. С Саудовской Аравией Россия не соглашается в подходах к урегулированию сирийского кризиса, между Москвой и Эр-Риядом есть и ряд других разногласий. Однако Россия координирует с Саудовской Аравией ценовую политику на мировом рынке нефти, что имеет стратегическое значение для обеих стран. Будучи вовлеченной в сирийский конфликт, Москва сохраняет пространство для маневра и потенциал для сотрудничества с большинством игроков ближневосточного региона — чем не мог похвастаться Советский Союз. При этом вовлечение в сирийские дела для России не связано с союзническими обязательствами, Москва и Дамаск остаются в рамках консультативного пакта.

В условиях глубокого кризиса в отношениях с Западом Россия сохранила свои союзы в постсоветском пространстве. В то же время эти союзы, которые, согласно геополитике Дугина, представляют собой инструмент контроля над Лимитрофом, не выступают в качестве инструмента укрепления глобального влияния России. Союзники оказывают России политическую поддержку, например в ходе голосований на Генеральной ассамблее ООН [Фомин и др. 2019], однако государства — члены ОДКБ не признали ни статус Абхазии и Южной Осетии как суверенных государств, ни принадлежность Крыма России. По словам Елены Кропачевой, “государства ОДКБ готовы оказывать России лишь номинальную поддержку, если это не приведет к негативным

⁸ См. также: Тренин Д.В. Как России удержать равновесие в посткризисном биполярном мире. — *Московский центр Карнеги*. 15.04.2020. URL: <https://carnegie.ru/commentary/81541> (accessed: 22.04.2020).

⁹ Rutland P. Has Democracy Failed Russia? — *The National Interest*. 01.12.1994. URL: <https://nationalinterest.org/article/has-democracy-failed-russia-998> (accessed 16.04.2020).

последствиям для их отношений с другими акторами международных отношений или если их интересы по стоящему на повестке дня вопросу сходятся с российскими” [Kropatcheva 2016: 1547]. Сирийская миссия армянских военных медиков и саперов¹⁰ представляет единственное исключение.

Долгосрочное ухудшение отношений с Западом стимулировало дальнейшее российско-китайское сближение. По словам Василия Кашина, Россия в отношениях с Китаем играет роль громоотвода для недовольства Запада и снижает его возможности по оказанию давления на Китай. Противодействие России односторонней политике Запада позволяет Китаю усилить свое экономическое присутствие в различных регионах мира, до определенного момента избегая прямого противостояния с Западом [Кашин 2015: 160, 164]. В последние годы к интенсивной торговле оружием между Россией и Китаем добавились крупномасштабные совместные военные учения. Александр Королев утверждает, что российско-китайское военное сотрудничество высоко институционализировано и от превращения в формальный альянс его отделяют лишь несколько небольших шагов [Korolev 2019]. Тем не менее ни Россия, ни Китай так и не делают этих шагов. А.А. Киреева считает, что состояние тесного сотрудничества без формального оборонительного союза представляет собой устойчивое состояние российско-китайских отношений [Киреева 2019].

Этот краткий обзор позволяет сделать три вывода. Во-первых, постсоветское пространство важно в плане обеспечения непосредственной безопасности России, однако для укрепления глобального влияния Москвы оно не имеет решающего значения. Утрата Украины как потенциального союзника на постсоветском пространстве не подорвала возможности России инициативно действовать в других регионах, наращивая свое международное влияние. Во-вторых, и Россия, и Запад предприняли попытку установить контроль над странами, входящими в балто-черноморскую часть Лимитрофа. Обе эти попытки оказались неудачными. Россия не смогла распространить свою интеграционную политику на Украину. Запад не смог вовлечь Украину и Грузию в НАТО и не смог добиться такого укрепления украинской государственности, при которой эта страна, выступая на стороне Запада, могла бы представлять серьезную угрозу для России. “Сухопутный пролив” сохранил свою пограничную, “ничейную” природу. В-третьих, паттерн российского союзничества в удаленных регионах носит выраженный “островной” (по Цымбурскому) характер. В своей стратегии на Ближнем Востоке Россия воспроизводит модель, типичную для морских держав, действующих в регионах, с которыми их разделяет море. Опираясь на своих региональных союзников, она использует ограниченную силу, обеспечивая для себя выгодный баланс и стараясь поддерживать гибкую систему партнерств с региональными акторами.

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА В ТЕОРИИ БАЛАНСА УГРОЗ

Насколько надежен вывод, что во внешнеполитическом поведении России прослеживается “островная” логика? Может ли к схожему выводу привести другая теория, описывающая структурные, в том числе географические факторы?

¹⁰ Гуманитарная миссия Армении в Сирии. — *Спутник-Армения*. URL: <https://ru.armeniasputnik.am/trend/gumanitarnaya-missiya-armenii-v-sirii/> (accessed 06.12.2020).

В последние годы возникло немало объяснений внешнеполитического поведения России. Многие построены на анализе российских внутривнутриполитических обстоятельств или образа мысли российской политической элиты. Майкл Макфол полагает, что Владимир Путин использует конфронтацию с США, чтобы укрепить собственную легитимность [McFaul, Sestanovich, Mearsheimer 2014: 170]. Уильям Уолфорт и Владислав Зубок отмечают различия формулировок национальных интересов со стороны Запада и России, а также структурные факторы, делающие невозможной интеграцию России в западные структуры безопасности [Wohlforth, Zubok 2017]. Особенности российской стратегической культуры называют в качестве фактора внешнеполитического курса также Ричард Саква, Тимоти Колтон и Сэмюэль Чарап [Sakwa 2008; Sakwa 2014; Charap, Colton 2017].

Дебора Ларсон и Алексей Шевченко применили теорию социальной идентичности, чтобы рассмотреть попытки России добиться в глазах Запада статуса великой державы. Поскольку эти попытки не увенчались успехом, лидеры российского государства “эмоционально реагировали на унижение в свой адрес” [Larson, Shevchenko 2014: 277]. Анализируя заявления о Западе, сделанные в ходе президентских посланий в 2008–2012 гг., Андрей Цыганков обнаружил в изменении отношения России к Западу закономерность эмоциональных сдвигов от надежды к разочарованию и страху и затем обратно к надежде. Он считает, что эта закономерность отражает появившееся у России стремление “стать частью сообщества западных ценностей”, которое возникло в связи с распространенным мнением о том, что Россию и Запад объединяют глубокие культурные связи [Tsygankov 2014: 353]. Ольга Малинова исследовала роль ресентимента российской идентичности, понимая под ним “реакцию на объект подражания, воспринимаемый в качестве более сильного”, – этим объектом является Запад [Malinova 2014: 292]. Она проследила связь между становлением российской идентичности и ресентиментом в отношении Запада с середины XIX в. и вплоть до распада Советского Союза, полагая, что таким образом выявляются устойчивые дискурсивные структуры, формирующие российскую внешнюю политику.

Джон Миршаймер объяснил действия России в строго реалистской логике: как ответ на расширение сферы влияния Запада к российским границам, вызвавшее естественные опасения в Москве [Mearsheimer 2014, 2016].

Большинство этих объяснений практически исключают географические факторы. Некоторые из них также принимают в качестве аксиомы преемственность России по отношению к Советскому Союзу и Российской империи, особенно в плане дискурсивных структур, задающих отношение России к Западу. Наша же задача состоит в том, чтобы проверить российскую теорию, ставящую во главу угла политико-географические сдвиги после 1991 г. и подвергающую сомнению преемственность постсоветской России от Российской империи и СССР. Поэтому предпочтительную рамку для анализа предоставляет теория баланса угроз Стивена Уолта. В работе “Происхождение альянсов” Уолт скорректировал теорию баланса сил, чтобы принять во внимание различные виды угроз, которые могут зависеть от географического положения государства¹¹. Изучая динамику развития альянсов

¹¹ Кеннет Уолтц – основатель структурного реализма и автор теории баланса сил, которую оспаривал Стивен Уолт, – полностью исключил из своего анализа географические факторы. Не в последнюю очередь из-за дурной репутации немецкой геополитики времен Второй мировой войны.

на Ближнем Востоке в 1950-1970-е годы, Уолт пришел к выводу об уязвимости классической гипотезы Кеннета Уолца [Waltz 1979] о том, что государства вступают в коалицию против сильнейшего государства для создания противовеса его силовому преимуществу. Государства стремятся уравновесить не только материальные возможности сильного игрока, но и исходящую от него угрозу. Эта угроза, в свою очередь, формируется из совокупной мощи государства, а именно его демографического, промышленного, технологического и военного потенциала, его близости в географическом отношении: чем ближе расположено государство, представляющее потенциальную опасность, тем выше его способность проецировать силу. Этот тезис имеет два следствия. Первое состоит в том, что союзниками станут скорее не ближайшие соседи, а более отдаленные государства. Второе — что для региональных держав угрозу представляет не удаленная сверхдержава, несмотря на ее значительное силовое преимущество, а их соседи по региону, чье преимущество, возможно, не так велико [Walt 1990: 23]. Таким образом, международный баланс сил следует анализировать не по всей, точнее не только по всей системе государств, но и по региональным международным системам. Последние же можно сопоставить с понятием конфликтной системы у Цымбурского, хотя и следует признать, что его система “Россия — Европа” в XVIII-XX вв. представляла собой систему не региональную, а мировую.

Уместно сравнить СССР и постсоветскую Россию по тем показателям, которые предлагает теория баланса угроз. Уолт сформулировал следующие выводы о Советском Союзе.

СССР представлял прямую угрозу большинству развитых стран Западной Европы, так как социалистический блок находился у их границ и советские вооруженные силы были готовы к вторжению [ibid.: 276].

В силу своей мощи СССР представлял угрозу для держав, располагавшихся по периметру его границ, включая Китай, Иран, Турцию, и поэтому не мог рассчитывать на союз с ними [ibidem]. Финляндия была исключением: она не была способна уравновесить эту угрозу и присоединилась к более сильной державе [Walt 1990: 24; Walt 1989: 7].

Соединенные Штаты были идеальным союзником для средних государств Европы и Азии в связи с тем, что, с одной стороны, они могли предоставить им любую военную помощь, необходимую для уравнивания СССР, а с другой стороны, ввиду своего географического положения, не представляли для них такой же серьезной угрозы, как СССР [Walt 1990: 277].

Ограниченные возможности СССР в плане проецирования своей власти далеко за пределы своих границ, а также способность оказывать помощь странам третьего мира сделали его привлекательным союзником для бывших колоний. Подход СССР и США к развитым и развивающимся странам был зеркально противоположным: последние были склонны рассматривать США как угрозу, а СССР — как наиболее удобного союзника [Walt 1990: 279-280; Walt 1989: 7].

Если применить ту же логику для изучения позиций России сегодня, можно отметить несколько существенных изменений.

Вдоль новых границ Россию окружают гораздо более слабые государства. Согласно теории Уолта, предсказуемо, что многие из этих стран считают Россию угрозой и пытаются сбалансировать угрозу, исходящую от Москвы. Союзниками России, также в соответствии с предсказанием Уолта, становятся те соседи России, у которых нет возможности балансировать исходящую от нее угрозу.

Из-за изменения границ после распада СССР Россия больше не является той угрозой, которую СССР когда-то представлял для средних государств Европы и Азии. Например, она больше не граничит с Турцией или Ираном.

Отказавшись от коммунистической идеологии, Москва перестала быть конкурентом Пекина с точки зрения идеологического господства. Кроме того, отказ от идеологии во внешней политике позволил России, в отличие от СССР, построить более сбалансированные отношения с региональными акторами на Ближнем и Дальнем Востоке.

Будучи страной, обладающей передовыми военными технологиями, Россия не меньше, чем СССР, рассматривается западными государствами в качестве потенциального партнера. Она может предложить этим странам содействие в обеспечении безопасности — от поставок оружия до оказания прямой военной помощи. Воздушно-космический потенциал России позволяет ей проецировать свою силу на регионы, расположенные вдали от ее границ. Однако так же, как морские державы нуждаются в поддержке континентальных союзников для проецирования своего влияния на отдаленные регионы, Россия может действовать только в составе региональных коалиций.

Нетрудно заметить, что пояс малых (или крупных, но слабых, как Украина) стран по западным и южным границам России играет здесь ту же роль, что и Лимитроф в теории Цымбурского: пограничная зона, отделяющая Россию от других крупных центров силы, позволяющая ей применять “островную” внешнеполитическую стратегию. В таком случае образ действий России в значительной степени определяется ее новой геополитической нишей, возникшей после распада СССР. Россия утратила границы и совокупную мощь советской сверхдержавы, но стала представлять гораздо меньшую угрозу для государств Европы и Азии, несколько отдаленных от нее в географическом плане. Кризис однополярности и появление новых центров силы, претендующих на стратегическую автономию, сделали эти преимущества особенно востребованными. Россия достаточно сильна и авторитетна, чтобы пытаться играть роль влиятельного политического посредника, однако ее потенциала недостаточно, чтобы другие государства, за исключением слабых соседей, воспринимали ее как угрозу.

КАК БЫТЬ С ГЕОПОЛИТИКОЙ?

Чрезмерное увлечение геополитическими построениями Дугина и недооценка глубины разногласий между российскими геополитиками определенно ослабляют западную экспертизу по России. Если же говорить о российской геополитической традиции в целом, прежде всего в ее академической части, то нужно признать, что она обладает определенной аналитической и предиктивной мощью. Вместе с тем ее инструментарий и повестка дня могут быть усилены.

Исторически геополитика возникла на стыке стратегической мысли и макроисторического анализа. Ни одно, ни другое не утратило актуальности. Однако оба источника геополитического синтеза с того момента, когда этот синтез был впервые осуществлен, претерпели существенное развитие. Макроисторические теории Уильяма Мак-Нила, Фернана Броделя, Иммануила Валлерстайна, Майкла Манна, Виктора Либермана достовернее и доказательнее теорий их предшественников Арнольда Тойнби или Освальда Шпенглера. Сдвиги в стратегической мысли, связанные с тем, как изменился со времен Маккиндера характер войн и вооружений, еще более очевидны. Возможно, синтез макроистории и стратегии должен осуществляться каждый раз заново, чтобы геополитическая парадигма не утрачивала эвристичности и способности давать точные рекомендации. Здесь необходимо подчеркнуть,

что, несмотря на возникновение и динамичное развитие критической геополитики, позитивистский подход к пространству как фактору международной политики не утратил своего влияния — как сохраняет его и сама реалистская традиция исследования международных отношений [Maliniak et al. 2018].

Есть несколько вопросов, на которые могла бы ответить российская геополитика. Например, как современные военные технологии влияют на прежнюю, и основополагающую для классической геополитики, дихотомию моря и суши? Джек Леви и Уильям Томпсон, сравнивая судьбу морских и сухопутных гегемонов в международной системе, отметили, что ведущие морские державы в XX в. также приобрели лидирующие позиции в воздушной мощи [Levy, Thompson 2010: 17]. Однако, в отличие от океанских военных флотов, в этой области у них нет и едва ли может быть безусловное доминирование. Не следует ли геополитикам добавить воздушно-космическое пространство к их дискуссии о море и суше, особенно с учетом опыта российской операции в Сирии?

Другой вопрос — какие механизмы удерживают Лимитроф, особенно постсоветский, в его пограничном состоянии? Ответ международников — что российское противодействие помешало членству Украины и Грузии в НАТО и ЕС, — верен, но неполон. Если военно-политическая вестернизация Украины не состоялась, что мешало и мешает ее социально-политической вестернизации?

Возможно ли неконфликтное и стабильное развитие лимитрофных (или фронтирных) территорий? Здесь было бы продуктивным сравнение российско-европейского фронта на западе и российско-китайского на востоке.

Наконец, сохраняют ли свою силу российские дискурсы о Европе и Западе, сформировавшиеся в имперский и советский периоды, и в какой степени они определяют политический курс сегодняшнего дня? Здесь особенно может быть востребовано наследие В.Л. Цымбурского и, прежде всего, той его части, которая касается анализа геополитических учений. В некоторой степени эти учения служат источником для многочисленных исследований об идентичности России или о российских дискурсах в отношении Европы (помимо процитированных выше работ см., например, [EU–Russia Relations in Crisis... 2017; Hale 2019]). Цымбурский показал, что дискурсы о России и положении ее в мире далеки от статичности и укоренены в современной им международной обстановке. Значит, внешнеполитическая идентичность России не задана раз и навсегда, и притягательная метафора “исторической колеи” не должна заслонять исторические разрывы.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.09

A TEST OF RUSSIAN GEOPOLITICS: RUSSIA'S FOREIGN POLICY IN THE PERSPECTIVE OF GEOPOLITICAL THEORIES

N.Yu. Silaev¹

¹ *Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Moscow, Russia*

SILAIEV, Nikolai Yurievich, Leading Researcher, Institute for International Studies, MGIMO University, email: nikolai.silaev@gmail.com

Silaev N.Yu. A Test of Russian Geopolitics: Russia's Foreign Policy in the Perspective of Geopolitical Theories. — *Polis. Political Studies*. 2021. No. 1. P. 125–141. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.09>

Acknowledgements. The article was supported by the Russian Science Foundation grant “Typology of Modern Military-Political Alliances and Models of Russia's Relations with Its Allies”, project No. 17-78-20170.

Received: 17.05.2020. Accepted: 05.11.2020

Abstract. The crisis in relations between Russia and the West has challenged not only Russia's foreign policy but also the theories which explain Russia's role in world politics. Historically, these theories have also pointed to the optimum political course for Moscow. Alexander Dugin's geopolitics occupy a special place among those theories. Dugin is not recognized in academic circles in Russia, but in the West, Dugin is seen if not as a surrogate propounding the Kremlin's views then as a rather influential political philosopher. His works are considered an important source of contemporary Russian foreign policy thought, and are used to explain Russian foreign policy. As a consequence, it is well worth assessing the degree to which Dugin's approaches – and also the views of researchers who evaluate Russia's foreign policy using his approach – have borne themselves out during this current crisis. In this paper, Dugin's theory is tested by juxtaposing it against that of Vadim Tsymbursky, another geopolitical thinker well known in Russia but not in the West. Tsymbursky's works were chosen because he has developed an original and holistic theory which explains the place Russia occupies in the world. The theory was built within the same geopolitical paradigm as Dugin's, but contradicts the latter both with its point of departure and conclusions. Both Dugin's and Tsymbursky's theories are compared to the influential American realist Stephen Walt's theory of the balance of threats. Western scholars pay particular attention to Dugin's work, which holds Western academics back from developing a nuanced understanding of Russian domestic issues, the complexities thereof, and Russia's place in the world. Furthermore, this hinders proper understanding of Russia's foreign policy strategy. Russia's behavior in the current crisis was more accurately predicted by Tsymbursky's theory than by Dugin's. The conclusions made regarding structural geographical factors in Russian's foreign policy course – which are drawn according to Tsymbursky's theory – indicate parallels with those which can be made on the basis of the balance of threats theory. As a paradigm, Russian geopolitics maintains its analytical potential, though it could be strengthened by a more thorough analysis of the current shifts in the international order.

Keywords: geopolitical theories, Tsymbursky, Dugin, Russia's foreign policy, balance of threats theory, international alliances, relations between Russia and the West.

References

- 138 EU–Russia Relations in Crisis: Understanding Diverging Perceptions. 2017. Ed. by T. Casier, J. DeBardeleben. London, New York: Routledge. 264 p.
- Charap S., Drennan J., Noël P. 2017. Russia and China: A New Model of Great-Power Relations. – *Survival*. Vol. 59. No. 1. P. 25–42. <https://doi.org/10.1080/00396338.2017.1282670>.
- Charap S., Colton T.J. 2017. *Everyone Loses: The Ukraine Crisis and the Ruinous Contest for Post-Soviet Eurasia*. London: Routledge, 212 p. <https://doi.org/10.4324/9780429031571>
- Graham T. Let Russia Be Russia. The Case for a More Pragmatic Approach to Moscow. – *Foreign Affairs*. 2019. Vol. 98. No. 6. P. 134 – 152. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2019-10-15/let-russia-be-russia> (accessed 22.11.2020).
- Hale H.E. A Surprising Connection between Civilizational Identity and Succession Expectations among Russian Elites. *Post-Soviet Affairs*. 2019. Vol. 35. No. 5-6. P. 406-421. <https://doi.org/10.1080/1060586x.2019.1662198>
- Ingram A. 2001. Alexander Dugin: Geopolitics and Neo-Fascism in Post-soviet Russia. – *Political Geography*. Vol. 20. No. 8. P. 1029-1051. [https://doi.org/10.1016/S0962-6298\(01\)00043-9](https://doi.org/10.1016/S0962-6298(01)00043-9)
- Kalinin K. 2019. Neo-Eurasianism and the Russian Elite: The Irrelevance of Aleksandr Dugin's Geopolitics. *Post-Soviet Affairs*. Vol. 35. No. 5-6. P. 461-470. <https://doi.org/10.1080/1060586x.2019.1663050>
- Korolev A. 2019. On the Verge of an Alliance: Contemporary China-Russia Military Cooperation. – *Asian Security*. Vol. 15. No. 3. P. 233-252. <https://doi.org/10.1080/14799855.2018.1463991>
- Kropatcheva E. 2016. Russia and the Collective Security Treaty Organisation: Multilateral Policy or Unilateral Ambitions? – *Europe-Asia Studies*. Vol. 68. No. 9. P. 1526-1552. <https://doi.org/10.1080/09668136.2016.1238878>
- Larson D., Shevchenko A. 2014. Russia Says No: Power, Status, and Emotions in Foreign Policy. – *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 47. No. 3-4. P. 269-279. <https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.09.003>
- Laruelle M. 2009. *In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia*. New York: Palgrave Macmillan. viii, 254 p.
- Levy J.S., Thompson W.R. 2010. Balancing on Land and at Sea: Do States Ally against the Leading Global Power? – *International Security*. Vol. 35. No. 1. P. 7–43. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00001
- Lynch A.C. 2016. The Influence of Regime Type on Russian Foreign Policy toward “the West,” 1992-2015. – *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 49. No. 1. P. 101–111. <https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2015.12.004>

Maliniak D., Peterson S., Powers R., Tierney M.J. 2018. Is international relations a global discipline? Hegemony, insularity, and diversity in the field. *Security Studies*. Vol. 27. No. 3. P. 448–484. <https://doi.org/10.1080/09636412.2017.1416824>

Malinova O. 2014. Obsession with Status and Ressentiment: Historical Backgrounds of the Russian Discursive Identity Construction. — *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 47. No. 3–4. P. 291–303. <https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.07.001>

McFaul M., Sestanovich S., Mearsheimer J.J. 2014. Moscow's Choice. — *Foreign Affairs*. Vol. 93. No. 6. P. 167–171.

Mearsheimer J.J. 2014. Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault. — *Foreign Affairs*. Vol. 93. No. 5. P. 1–12.

Mearsheimer J.J. 2016. Defining a New Security Architecture for Europe that Brings Russia in from the Cold. — *Military Review*. May–June. P. 27–31.

Melville A. 2018. “Fortress Russia”: Geopolitical Tendencies, Unintended Consequences, or Policy Choices. — *The Return of Geopolitics*. World Society Foundation. Ed. by A.J. Bergesen, Ch. Suter. Wien, Zürich: LIT. P. 97–112.

Millerman M. 2018. Alexander Dugin's Heideggerianism. — *International Journal of Political Theory*. Vol. 3. No. 1. P. 1–23.

Ó Tuathail G., Dalby S. 1998. Rethinking Geopolitics. — *Rethinking Geopolitics*. Ed. by G. Ó Tuathail; S. Dalby. N.Y.: Routledge. xii, 333 p. <https://doi.org/10.4324/9780203058053>

Ofitserov-Belskiy D., Sushenstov A. 2018. Central and Eastern Europe. — *Routledge Handbook of Russian Foreign Policy*. Ed. by A. Tsygankov. New York: Routledge. P. 282–294.

Pipes R. 1974. *Russia under the Old Regime*. New York: Charles Scribner's Sons. xxii, 361 p.

Riddervold M., Rosén G. 2018. Unified in Response to Rising Powers? China, Russia and EU-US relations. — *Journal of European Integration*. Vol. 40. No. 5. P. 555–570. <https://doi.org/10.1080/07036337.2018.1488838>

Rutland P. 1994. Has Democracy Failed Russia? — *The National Interest*. No. 38. P. 3–12.

Ripsman N.M., Taliaferro J.W., Lobell S.E. 2016. *Neoclassical Realist Theory of International Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199899234.003.0002>

Sakwa R. 2008. ‘New Cold War’ or Twenty Years’ Crisis? Russia and International Politics. — *International Affairs*. Vol. 84. No. 2. P. 241–267. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2008.00702.x>

Sakwa R. 2014. *Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands*. London: I.B. Tauris. 320 p.

Shlapentokh D. 2007. Dugin Eurasianism: A Window on the Minds of the Russian Elite or an Intellectual Ploy? — *Studies in East European Thought*. Vol. 59. No. 3. P. 215–236. <https://doi.org/10.1007/s11212-007-9030-y>

Shlapentokh D. 2008. Alexander Dugin's Views on the Middle East. — *Space and Polity*. Vol. 12. No. 2. P. 251–268. <https://doi.org/10.1080/13562570802173448>

Shlapentokh D. 2014. The Great Friendship: Geopolitical Fantasies About the Russia/Europe Alliance in the Early Putin Era (2000–2008) — The Case of Alexander Dugin. — *Debate: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*. Vol. 22. No. 1. P. 49–79. <https://doi.org/10.1080/00014788.2013.873218>

Shlapentokh D. 2016. The Ideological Framework of Early Post-Soviet Russia's Relationship with Turkey: The Case of Alexander Dugin's Eurasianism. — *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*. Vol. 18. No. 3. P. 263–281. <https://doi.org/10.1080/19448953.2015.1096130>.

Shlapentokh D. 2017. Alexander Dugin's Views of Russian History: Collapse and Revival. — *Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*. Vol. 25. No. 3. P. 331–343. <https://doi.org/10.1080/25739638.2017.1405491>

Tolstoy A., McCaffray E. 2015. Mind Games: Alexander Dugin and Russia's War of Ideas. — *World Affairs*. Vol. 177. No. 6. P. 25–30.

Tsygankov A.P. 2014. The Frustrating Partnership: Honor, Status, and Emotions in Russia's Discourses of the West. — *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 47. No. 3–4. P. 345–354. <https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.09.004>

Walt S.M. 1989. Alliances in Theory and Practice: What Lies Ahead? — *Journal of International Affairs*. Vol. 43. No. 1. P. 1–17.

Walt S.M. 1990. *The Origins of Alliances*. Ithaca: Cornell University Press. xii, 321 p.

Wohlforth W.C., Zubok V.M. 2017. An Abiding Antagonism: Realism, Idealism and the Mirage of Western–Russian Partnership After the Cold War. — *International Politics*. Vol. 54. No. 4. P. 405–419. <https://doi.org/10.1057/s41311-017-0046-8>

Waltz K. 1979 *The Theory of International Relations*. Reading, Mass.: Addison-Wesley. 251 p.

Baranovsky V.G. 2019. New International Order: Overcoming or Transforming the Existing Pattern? — *World Economy and International Relations*. Vol. 63. No. 5. P. 7-23. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-5-7-23>

Baranovsky V.G. 2017. Transformation of Global World Order: Dynamics of Systemic Changes. — *Polis. Political Studies*. No. 3. P. 71-91. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.05>

Bikbov A.T. 2014. *Grammatika poryadka. Istoricheskaya sotsiologiya ponyatii, kotorye menyayut nashu real'nost'*. [The Grammar of Order: A Historical Sociology of the Concepts That Change Our Reality]. Moscow: Publishing House of Higher School of Economics. 432 p. (In Russ.)

Bogaturov A.D. 2004. The Concept of World Politics in a Theoretical Discourse. — *International Trends*. Vol. 2. No. 1. P. 16-33. (In Russ.)

Dugin A.G. 1997. *Osnovy geopolitiki* [The Basics of Geopolitics]. Moscow: Arktogeya. 928 p. (In Russ.)

Entin M.L., Entina E.G. 2017. From Liberal World Order to Normalization of International Relations. — *World Economy and International Relations*. Vol. 61. No. 12. P. 5-17. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-12-5-17>

Fomin I., Silaev N., Makarycheva A., Stolyarova S., Shavlay E. 2019. Russia's Allies Formal Obligations vs. Effective Cooperation. — *International Trends*. Vol. 17. No. 2. P. 101-130. (In Russ.) <https://doi.org/10.17994/IT.2019.17.2.57.6>

Ilyin M.V. 1995. The Problems of "Island Russia" Formation and the Contours of its Domestic Geopolitics. — *Moscow University Bulletin. Series 12. Political Science*. No. 1. P. 37-52. (In Russ.)

Ilyin M.V. 2015. The Dialog on Islands and Straits, on Spaces in-between Seas, and in-between Worlds. — *Essays on Conservatism*. No. 1. P. 128-135.

Ilyin M.V., Meleshkina E.Yu. 2010. *Balto-Chernomor'e: vremena i prostranstva politiki* [Baltic — Black Sea Region: Times and Spaces of politics]. Kaliningrad: Baltic State University Publshg. 385 p. (In Russ.)

Karaganov S.A. 2019. Departure of Military Superiority of the West, and Geo-Economics. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 8-21. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.02>

Kashin V.B. 2015. Chinese Picture of the Future and Russia's Place in it. — *Tetrad po konservatizmu*. No. 5. P. 159-165. (In Russ.)

Khatuntsev S.V. 2011. Limitrophe Territories: Inter-Civilizational Areas of Old and New World. — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 86-98. (In Russ.)

Khatuntsev S.V. 2015. The West and the "Eurasian Quadriga" (Russia, China, India, Iran). — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 45-52. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2015.06.07>

Kireeva A.A. 2019. Theories of International Relations and Prospects of a Military Alliance Between Russia and China. — *International Trends*. Vol. 17. No. 4. P. 84-114. (In Russ.)

Kolosov V.A. 2011. Critical Geopolitics: The Basics of the Conception and the Practice of Applying in Russia. — *Political Science (RU)*. No. 4. P. 31-52. (In Russ.)

Mezhuev B.V. 2011. Vadim Tsymburskii: ot kon'yunktur zemli k kon'yunkturam vremeni [Vadim Tsymburskii: from Conjunctions of Land to Conjunctions of Time]. — *METHOD: Moscow Yearbook of Works from Social Science Disciplines*. No. 2. P. 321-345. (In Russ.)

Mezhuev B.V. 2012. *Politicheskaya kritika Vadima Tsymburskogo*. [Vadim Tsymbursky's Political Critique]. Moscow: Evropa Publishing. 200 p. (In Russ.)

Mezhuev B.V. 2017. "Island Russia" and the Russian Politics of Identity. — *Russia in Global Affairs*. Vol. 17. No. 6. P. 162-175. (In Russ.)

Mezhuev B.V. 2019. Turkey, Russia and Europe from the Perspective of "Civilizational Realism". — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 53-66. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.05>

Okunev I., Kuchinov A. 2013. Coupling of Space and Power: Diversity of Modern Geopolitics' Faces. — *International Trends*. No. 11. P. 74-84. (In Russ.)

Shnirelman V.A. 2016. Alexander Dugin: Building a Bridge between Eschatology and Conspiracy. — *Gosudarstvo, religiya, tserkov' v Rossii i za rubezhom*. No. 4. P. 194-221. (In Russ.) <https://doi.org/10.22394/2073-7203-2016-34-4-194-221>

Tsygankov A.P. 2015. Vadim Tsymbursky's "Island" Geopolitics. — *Tetrad po konservatizmu*. No. 1. P. 12-20. (In Russ.)

Tzymbursky V.L. 2016. *Morfologiya rossiiskoi geopolitiki i dinamika mezhdunarodnykh sistem XVIII-XX vekov* [The Morphology of the Russian Geopolitics and the Dynamics of International Systems of XVIII-XX Centuries]. Moscow: Knizhnyi mir Publ. 496 p. (In Russ.)

Tzymbursky V.L. 1993. The Island of Russia: Russian Geopolitics Seen in Perspective. — *Polis. Political Studies*. No. 5. P. 6-53. (In Russ.)

Tzymbursky V.L. 1999. Geopolitics as a Mode of Vision of the World and an Occupation. — *Polis. Political Studies*. No. 4. P. 7-28. (In Russ.) URL: <https://www.polistudies.ru/article/2602> (accessed 22.11.2020).

Литература на русском языке

- Барановский В.Г. 2017. Трансформация глобального миропорядка: динамика глобальных изменений. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 71-91. <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.05>
- Барановский В.Г. 2019. Новый миропорядок: преодоление старого или его трансформация? — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 63. № 5. С. 7-23. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-5-7-23>
- Бикбов А.Т. 2014. *Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики. 432 с.
- Богатуров А.Д. 2004. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе. — *Международные процессы*. Т. 2. № 1. С. 16-33.
- Дугин А.Г. 1997. *Основы геополитики*. М.: Арктогея. 928 р.
- Ильин М.В. 2015. Диалог об островах и проливах, междуморьях и междумирьях. — *Тетради по консерватизму*. № 1. С. 128-135.
- Ильин М.В. 1995. Проблемы формирования “острова России” и контуры его внутренней геополитики. — *Вестник МГУ. Политические науки*. № 1. С. 37-52.
- Ильин М.В., Мелешкина Е.Ю. 2010. *Балто-Черноморье: времена и пространства политики*. Калининград: Изд-во БГУ им. И. Канта. 385 с.
- Караганов С.А. 2019. Уход военного превосходства Запада и геοэкономика. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 8-21. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.02>
- Кашин В.Б. 2015. Китайская картина будущего мира и место России в нем. — *Тетради по консерватизму*. № 5. С. 159-165.
- Киреева А.А. 2019. Будущность российско-китайского союзничества в контексте теории международных отношений. — *Международные процессы*. Т. 17. № 4. С. 84-114.
- Колосов В.А. 2011. Критическая геополитика: основы концепции и опыт ее применения в России. — *Политическая наука*. № 4. С. 31-52.
- Межуев Б.В. 2012. *Политическая критика Вадима Цымбурского*. М.: Европа. 200 с.
- Межуев Б.В. 2017. “Остров Россия” и российская политика идентичности. — *Россия в глобальной политике*. Т. 17. № 6. С. 162-175.
- Межуев Б.В. 2019. Турция, Россия и Европа с позиции “цивилизационного реализма”. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 53-66. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.05>
- Межуев Б.В. 2011. Вадим Цымбурский: от конъюнктур земли к конъюнктурам времени. — *МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин*. № 2. С. 321-345.
- Окунев И., Кучинов А.М. 2013. Сопряжение пространства и власти: многообразие ликов современной геополитики. — *Международные процессы*. Т. 11. № 3-4. С. 74-94.
- Фомин И., Силаев Н., Макарычева А., Столярова С., Шавлай Э. 2019. Союзники России: формальные обязательства и фактическое сотрудничество. — *Международные процессы*. Т. 17. № 2. С. 101-130. <https://doi.org/10.17994/IT.2019.17.2.57.6>
- Хатунцев С.В. 2011. Лимитрофы — межцивилизационные пространства Старого и Нового света. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 86-98.
- Хатунцев С.В. 2015. Запад и “Евразийская квадрага” (Россия, Китай, Индия, Иран). — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 45-52. <https://doi.org/10.17976/jpps/2015.06.07>
- Цыганков А.П. 2015. “Островная” геополитика Вадима Цымбурского. — *Тетради по консерватизму*. № 1. С. 12-20.
- Цымбурский В.Л. 1993. Остров Россия: перспективы российской геополитики. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 6-53.
- Цымбурский В.Л. 1999. Геополитика как мировидение и род занятий. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 7-28. URL: <https://www.politstudies.ru/article/2602> (accessed 22.11.2020).
- Цымбурский В.Л. 2016. *Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков*. М.: Книжный мир. 496 с.
- Шнирельман В.А. 2016. Александр Дугин: возведение моста между эсхатологией и конспирологией. — *Государство, религия, церковь в России и за рубежом*. № 4. С. 194-221. <https://doi.org/10.22394/2073-7203-2016-34-4-194-221>
- Энтин М.Л., Энтина Е.Г. 2017. От мирового либерального порядка к нормализации международных отношений. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 61. № 12. С. 5-17. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-12-5-17>

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.10

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ МАКСА ВЕБЕРА И ПРОБЛЕМА ОСНОВАНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

В.А. Щипков

ЩИПКОВ Василий Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры международной журналистики, МГИМО МИД России; директор, Русская экспертная школа, Москва, email: vas.ship@mail.ru

Щипков В.А. Диалектический рационализм Макса Вебера и проблема оснований общественных наук. — Полис. Политические исследования. 2021. № 1. С. 142–156. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.10>

Статья поступила в редакцию: 11.06.2020. Принята к публикации: 21.09.2020

Аннотация. Автор анализирует эпистемологию общественных наук (в том числе политической) М. Вебера, которая фрагментарна по форме, но стремится к синтезу в содержании. “Негативную” ее сторону составляют антиметафизика и антипозитивизм, “положительную” — субъективизм и диалектический рационализм. Для неметафизического обоснования светского рационального начала Вебер опирается на диалектическое объяснение рациональности. Диалектический рационализм (применительно к Веберу понятие вводится впервые) исходит из того, что рациональность является источником культуры и развивается из самой себя в результате взаимодействия двух своих начал — “материального” (ставит субъективные цели) и “формального” (обеспечивает достижение целей с опорой на объективную логику). Занимаясь историей религий, Вебер указывает на момент, когда религиозные цели стали недостижимыми, что усилило напряжение формальной рациональности, которая развилась и стала в эпоху модерна самостоятельной. По этой логике рациональность основывается на разумном целеполагании и отрицании личного Бога. Такой подход отделил светскость от материалистического мировоззрения и вопреки влиянию позитивизма легализовал религию и все другие “субъективные” мировоззрения в общественном пространстве; все они приобрели статус подсистемы социального, который защищал их от преследований, но лишал политической субъектности. Это стало символическим итогом исторического формирования общественных наук современного типа. Отсутствие у Вебера окончательного определения источника рациональности, а также понятия “религия” и ряд других моментов способствуют предположению о существовании имплицитного теологического контекста в подходе Вебера. Сочетание диалектического, антиметафизического подхода с теологическим контекстом создает ситуацию теологии отрицания, при которой невозможно сформулировать программу будущего — как в общекультурном, так и в политическом смысле, что ведет к веберовскому “пессимизму”. Один из возможных путей выхода из этой ситуации — продолжение и расширение веберовской программы теологизации эпистемологических подходов.

Ключевые слова: Макс Вебер, общественные науки, диалектический рационализм, формальная и материальная рациональность, субъективизм, метафизика, позитивизм, теология, политика.

ВВЕДЕНИЕ

Среди ключевых задач современной политологии и в целом общественных наук — адаптация методологии и понятийного аппарата к изменяющейся меж-

дународной политической реальности, усиление их аналитических и прогностических функций. На фоне развития многополярности и полицентричности архитектуры международных отношений усиливается и “многополярность” базовых политологических понятий. На это влияет не только международная обстановка, но и популярные, почти уже классические концепции позднего модерна и постмодерна. Например, часто цитируемая сегодня теория “множественных современностей” Ш. Эйзенштадта утверждает не только то, что путь западноевропейской цивилизации является лишь одним из возможных, а не универсальным, но и то, что западноевропейская научно-языковая парадигма не всегда адекватна для понимания общественно-политических процессов незападного или постсовременного характера. Примечательно, что с 1980-х годов, когда на эту проблему начали чаще обращать внимание (в том числе Эйзенштадт), неотъемлемой частью научных дискуссий стали постоянные уточнения и оговорки при употреблении важных для политологии понятий — “левые” и “правые”, “демократия” и “авторитаризм”, “либерализм” и “консерватизм”, “суверенитет” и “глобализация”, “религиозность” и “светскость” и многих других. Возникла ситуация, когда одно понятие в разных странах или контекстах означает порой противоположные явления (например, “левые” в России и в США; “секуляризация” в США и в Западной Европе) и использование его для анализа и прогнозирования становится все менее эффективным. Кроме того, эта ситуация усугубляется политической конъюнктурой, когда политики начинают использовать отдельные понятия без всякой привязки к устоявшимся научным теориям. В условиях политических перемен они часто вынуждены действовать по принципу “бриколажа”: за неимением в своем арсенале более ясных и действенных теорий, понятий и концепций они конструируют их из того, что попадает под руку, не считаясь со сложившимися нормами.

В этих условиях экспертное сообщество фиксирует увеличение разрыва между формальным языком и реальным дискурсом, запаздывание научных дискуссий за политической повесткой и публицистикой, что периодически дает повод обвинять эпистемологию общественных наук в неактуальности и даже “ненаучности”. Для преодоления этого разрыва, определения критериев научности политической и в целом общественных наук обратимся к истории используемых научных подходов, их генеалогии.

Макс Вебер, столетнюю годовщину со дня смерти которого мы зафиксировали в прошлом году, — одна из ключевых фигур, повлиявших на формирование институции общественной науки в XX в. — светской и рациональной. Вебер, как и мы, жил в переломную эпоху, когда происходившие изменения стали концентрированными настолько, что границы между “духом” и политикой, “мифом” и “реальностью”, “наукой” и “ненаукой” размывались и исчезали. Ситуация столетней давности и процессы сегодняшнего дня во многом схожи: кризисные процессы в мировой политике и экономике, активизация военных методов решения конфликтов, формирование нового технологического уклада, вспышки мировых пандемий (Вебер умер от “испанки”), радикализация массовой культуры. Сформированный в этих условиях подход Вебера все еще определяет облик общественных наук. Поэтому обращение к базовым логическим и аксиологическим основам этого подхода поможет подвести его промежуточные итоги и выдвинуть предположение о его возможном векторе развития, в конечном счете решая проблему гармонизации современного политологического языка. При этом в настоящей статье не

поднимается проблема возможности рационального познания, а рассматриваются особенности конкретной модели рациональности у Вебера.

Вебер в споре с крайними, как казалось, позициями метафизики и позитивизма сформировал третий подход, остающийся нормативным до наших дней. Он не отрицал и не критиковал никакие стороны культуры и духа, но при этом рассматривал их строго в имманентных “социологических” рамках рационализма, превращая их в подсистему социального. При этом Вебер создавал не социологию как отдельную научную дисциплину, а саму институцию “общественных наук”, которая стала определять критерий “научности” при изучении всех социально-гуманитарных аспектов жизни человека и общества — от религии до политики. Изучение эпистемологии Вебера дает возможность лучше понять “нормативные” черты современной гуманитарной науки, включая общественно-политические дисциплины, а также вынести предположение о возможных путях их развития.

Генеральная линия веберовского подхода заключалась в том, чтобы сформулировать общую эпистемологию в масштабах всего социально-гуманитарного знания, т.е. создать “науку о культуре” — именно так Вебер определял “социологию”. Тактика Вебера была не в том, чтобы эту целостную эпистемологию институционализировать во внешне единую и регламентированную систему [Ясперс 1994: 556] или создать отдельную научную дисциплину (как у Конта и Дюркгейма), а в том, чтобы предложить всеохватывающий общественно-научный подход. По этой причине подход Вебера фрагментарен по своему предмету и плохо систематизирован, но при этом обладает сильнейшей тягой к синтезу¹, а потому оказался востребованным в век развития социальных и политических технологий.

Вебер создавал эпистемологию общественных наук как открытую практику, изобретал способ придавать высказываниям о любых явлениях культуры научный статус, избегая необходимости переводить общественно-гуманитарный язык на естественнонаучный (под воздействием которого нередко терялся первоначальный смысл проблемы). Поэтому исследователи вынуждены реконструировать эпистемологию Вебера из его конкретно-исторических штудий культуры, религии, экономики и политики². Эта открытость “науки о культуре” и ее внутренняя целостность позволили Веберу обезопасить ее от легкой критики, заложить в нее жизненный цикл более длительный, чем у позитивистов, совершить масштабную экспансию новоевропейской науки во все области культуры.

Эпистемология Вебера создавалась в два этапа: сначала через субъективистский разрыв с метафизикой и естествознанием, затем — через утверждение диалектического рационализма.

АНТИМЕТАФИЗИКА И СУБЪЕКТИВИЗМ

Базовый принцип веберовского подхода — не затрагивать метафизику. Из философских областей знания Вебер признавал лишь логику [Ясперс 1994:

¹ О сочетании у Вебера фрагментарности и тяги к синтезу красноречиво говорил К. Ясперс [Ясперс 1994: 554-560].

² Исследователи Вебера делятся на два условных лагеря: первый критикует Вебера за противоречия и многозначность терминов [Ойттинен 2017], второй — наоборот, видит у Вебера целостную и непротиворечивую эпистемологию [Шлюхтер 2004].

558-559], т.е. фактически отрицал возможность поиска априорных истин и смысла бытия³. Отделение новых общественных наук от метафизики требовало нового механизма определения “объективности” знания. Развивая кантианский подход⁴, Вебер ввел субъективное в область научного и объявил его источником объективного. Этот субъективизм Вебер обосновывал принципом историзма (модель общественных отношений ставилась им в зависимость от историко-культурных факторов), теорией социального действия (социальные институты рассматривались как продукты действия индивидов и групп) и концепцией понимающей социологии (социальные процессы познавались через интерпретацию, а не “законы”). Вебер работал в условиях дискуссии о постметафизической эпистемологии, которая уже испытала влияние Маркса и Энгельса (признававших в качестве полноценной науки только историю), а также ницшеанского антибожественного нигилизма.

Вебер подчеркивал, что не существует чисто “объективного” научного познания культуры. По Веберу, сведение социальной реальности к “законам” не имеет смысла: все общественные “законы” — это не знание социальной реальности, а лишь один из способов ее интерпретации, “понимания” [Weber 1994], т.е. некоторые причинно-следственные связи, которые для исследователя выглядят в данный момент наиболее правдоподобными и учитывают наибольшее количество известных факторов. Законы ценны в точных и естественных науках⁵, но их перенесение в гуманитарную сферу не приносит пользы⁶. Постоянная погоня за открытием “законов” общества мешает исследователю понимать и выстраивать картину конкретной реальности, разгадывать и объяснять причины и последствия политических, экономических и прочих культурных процессов.

Установление субъективного выше объективного поставило познание в прямую зависимость от культурных предпосылок самого исследователя и культурных особенностей объекта изучения. Соответственно, все “субъективные” области жизни (например, религиозные мировоззрения, которые до этого новоевропейской наукой выносились за рамки науки и объявлялись мешающими рациональному и объективному познанию универсальных законов общества), были возвращены Вебером в науку — стали “объектом” изучения, т.е. стали “объективными”. Онтология стала придатком субъективной этики (“идеальных типов”⁷), что позволило включать в науку любые сферы культуры, в том числе

³ По словам Ясперса, “последний смысл бытия ему, как он обычно утверждал, неизвестен” [Ясперс 1994: 558-559].

⁴ По Канту, объект познается по законам субъекта, а законы познания находятся в рассудке, а не в природе; на восприятие любых естественных законов влияет субъективное сознание познающего.

⁵ Вебер не переносил принцип субъективизма на естественные и точные науки, ограничиваясь лишь областью гуманитарного знания. Естествознание в те годы достигло очевидных успехов, и его критика не входила в задачи Вебера.

⁶ “Потому что даже познание точных положений нашего теоретического знания (например, точных наук или математики)... является лишь продуктом культуры” [Weber 1904: 28].

⁷ “Идеальными типами” (нем. *Idealtypus*) Вебер заменяет “законы” в общественных науках. Это условные мыслительные конструкции, которые помогают упростить и понять конкретные культурные процессы, но которые не являются онтологическими: “идеальный” не имеет отношения к платоновскому идеализму, означает лишь “мыслительный”, “условный”. Например, Вебер выделяет несколько идеальных типов социального действия: традиционное, аффективное, ценностно-рациональное, целерациональное.

религию, не двигаясь при этом в сторону метафизики. Это дало общественным наукам возможность развиваться экспансивно: Вебер открыл двери в науку для колоссального объема исторического и культурологического материала этнографического, религиоведческого, психологического, теологического характера, учет которого перестал быть праздным любопытством. Он стал востребованным для понимания и прогнозирования конкретных социальных, экономических и политических процессов, на эти данные стали смотреть серьезно. Вся культурная реальность при этом осталась для светской науки имманентной.

Субъективизм делает веберовский подход культурспецифичным, исходящим из того, что для обществ разных типов действуют разные способы объяснения реальности — несходные социальные “законы”, многообразные “идеальные типы”.

Отсюда один из ключевых моментов веберовской эпистемологии, который поможет понять ее внутреннюю логику и основу. Субъективистский и культурспецифический взгляд Вебера на общественные науки действовал против внешней формы просвещенческой догматичности, но укреплял ее смысл. Вебер отверг ее фундаментальный принцип — перенос естественнонаучных методов на область гуманитарного знания; он пошел дальше натуралистских подходов, которые отрицали сверхопытную реальность, но проповедовали абсолютную универсальность законов природы, распространяя ее и на сферу культуры. Признание априорности общественных законов потребовало бы от Вебера ставить онтологические и метафизические вопросы. Оставляя только за естественными науками право на философию приоритета материи над духом (что подразумевает особую материалистическую метафизику), Вебер предлагал исходить в общественно-гуманитарных науках из того, что идеи и их проявления в культуре первичны по отношению к любым природным явлениям и законам.

Сами идеи Вебер понимал как субъективные аффективные или целенаправленные интенции, условные мыслительные единицы, которые принципиально возможны потому, что человек является рациональным существом, а не из-за существования и действия метафизических причин.

Более того, он фактически отрицал противоречие между трансцендентным и имманентным, ноуменальным и феноменальным, не признавая не только платоновский идеализм, но отчасти пытаясь преодолеть и кантовский трансцендентальный идеализм: вся антиномическая проблематика была для Вебера лишь еще одним субъективным состоянием культуры, которое можно объективно изучать с позиций общественных наук как простой исторический факт, который необходим для понимания конкретных социальных процессов. Степень истинности любых изучаемых материальных и духовных фактов здесь не имеет никакого значения, они становятся объектами науки и существуют только в конкретной структуре понимания [Вебер 1990: 314, 397, 383].

В результате подход Вебера выступает одновременно против любых форм натурализма, позитивизма и материализма и методологически отрывает общественные науки от естественных [Ионин 1998: 67], сделав при этом общественные науки вдвойне антиметафизическими за счет вынесения за скобки самого вопроса об истинности их предмета.

Чтобы не уйти в радикальный субъективизм и конструктивизм, Вебер вынужден был положить в основу своей схемы один априорно объективный, онтологический элемент, формально не признавая его таковым, — рациональ-

ность. Рациональность поэтому стала одновременно и краеугольным камнем его подхода, и его наиболее противоречивой, уязвимой для критики частью.

МАТЕРИАЛЬНАЯ И ФОРМАЛЬНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Категория рационального — ключевая и наиболее часто используемая в работах М. Вебера, при этом он нигде не дает ей однозначного определения, даже настаивает на ее “многосторонности” [Вебер 1990: 113], что может вызвать сложности в понимании этого термина. Рациональность у Вебера означает практику постановки целей (телеологичность), форму практического поведения, под воздействием которой формируется вся культура. Вебер одновременно исходит из того, что рациональность формирует религиозную и культурную историю человечества, а последние, даже принимая иррациональные формы, — формируют рациональность. Более того, объясняя любые социальные действия по степени рациональности — от “иррациональных” традиций и эмоциональных аффектов до “рациональных” ценностей и целей, — Вебер погружает саму эту шкалу в рациональный контекст. Это ведет к тому, что “иррациональное”, по Веберу, тоже является в определенном смысле “рациональным”. Кроме того, сочетание разных степеней иррационального и рационального на каждом этапе истории культуры и с учетом разных религиозных специфик каждого конкретного случая ведет к крайней многозначности рационального у Вебера, на что указывают некоторые исследователи [Ойттинен 2017: 203].

Основа понимания рациональности и методологии Вебера в том, что он делал базовое различие двух модусов рациональности — “формального” и “материального” (*substantive*, “сущностного”). Формальная рациональность является чистой логикой и чистой математикой, она отвечает на вопрос о том, “как” достичь некой цели, и не зависит от контекста. Материальная рациональность — субъективная, полностью зависима от исторического, религиозно-этического, культурного контекстов, отвечает на вопрос, “что” это за цели (“что” хочет человек получить от их достижения); т.е. областью действия материальной рациональности являются любые сферы материальной и духовной культуры, все религии, сама этика (система ценностей и образцов поведения) [Вебер 1990: 23-24; Ойттинен 2017: 203].

Поэтому то, что просвещенческая философия называла “иррациональными” предрассудками, Вебер обозначал как один из вариантов рациональности (материальной)⁸. “Иррациональность” Вебера сравнима с делением на ноль, невозможностью произвести математический расчет; она возникает, когда материальная рациональность ставит цели, которые не могут быть логически и операционно обеспечены формальной рациональностью.

Это означает, что весь социальный опыт находится внутри сферы рационального и может быть осмыслен только исходя из нее. В связи с этим Вебер считал, что изучать рациональность можно в любой области жизни — от религии до политики. Однако особое значение Вебер придавал исторической роли религии⁹ — как той сфере, где раньше всего стала формироваться рацио-

⁸ По словам Вебера, “любая ‘иррациональность’ является таковой не по своей сути, а лишь с определенной ‘рациональной’ точки зрения” [Вебер 1990: 113].

⁹ “...Религиозные объяснения мира и религиозные этики тяготеют к последовательности... во всех этих системах в той или иной степени — и часто очень сильно — ощущается воздействие ‘ratio’...” [Weber 1986: 537].

нальность, а значит — мышление светского типа и секулярная наука. История рациональности для Вебера — это история религии и секуляризации.

Вебер пришел к выводу, что религиозные системы формировались на основе непосредственного опыта, т.е. на рациональном начале, но также способствовали его развитию. Ключевая позиция Вебера: религиозные объяснения мира являются “рациональными по своему замыслу” [Вебер 1990: 308], они с самого начала стремились придать несовершенному миру смысл. Системы религиозных верований часто имеют противоречия и нестыковки, но при этом выстраиваются как целостные, последовательные системы, как рациональный механизм движения к какой-либо цели [там же]. Сами цели могут быть субъективными, но движение к ним подчинено рациональной логике (*Do ut des* — “Даю, чтобы ты дал” [Вебер 2017: 101]). Поскольку религиозные системы имеют это рациональное зерно, то и формы практического поведения людей, исторически основанные на религиозной этике, становятся “последовательными”.

Вебер прослеживал логику развития рациональности в сфере религиозной истории человечества от магии до монотеизма [там же: 82-97, 101, 108-113]¹⁰. Сначала, в магии и многобожии, формальная и материальная рациональность сосуществовали нераздельно и развивались с одинаковой скоростью. Переломная точка, после которой происходит их видимое разделение, — момент, когда человек начинает соотносить свое поведение с волей Бога как Личности: не просто выполняет предписания или совершает обряды, которые должны непосредственно приносить желаемые результаты в настоящей жизни или вести к получению обещанных благ в загробном мире, но боится совершить “этический грех” — “нарушение божественной воли”, поступок, который вызовет “этическое недовольство Бога”. В этом случае человек соотносит свои действия с фактором, который ему неподвластен¹¹: это означает действовать “иррационально” в веберовском смысле [там же: 101, 112-113]. Наиболее отчетливо Вебер видел эту ориентацию на волю всемогущего и непостижимого Бога-Личности, неподвластную формальной рациональности, в авраамических религиях, особенно в христианстве [там же: 180]. Теперь, решая нерешаемые, “иррациональные” задачи, формальная рациональность стала компенсационно и ускоренно развиваться, все сильнее обнаруживая свою самостоятельность. В итоге это привело к отрыву формальной рациональности от материальной (“субъективной”, религиозной) в Новое время [Вебер 1994: 36]. Тогда появилась светская наука, которой для развития уже не нужно было обслуживать теологию: единственным обязательным элементом в познании любых сфер культуры стало последовательное оспаривание существования личной божественной воли [там же: 31]. Так начались рациональное “расколдовывание мира” и секуляризация, которые создали культуру модерна¹² и капиталистический способ хозяйствования.

¹⁰ Также см. статью Вебера “Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира” [Вебер 1994: 307-344].

¹¹ “...От рационального желания обеспечить себе делами, угодными богу <...> внешние удобства осуществляется переход к пониманию греха как проявления единой антибожественной силы, под чью власть подпадает человек, и добра как единого образа святости, который диктует соответствующее поведение, а также надежды на спасение, состоящей в иррациональной убежденности в том, что можешь достичь состояния, когда ты добр” [Вебер 2017: 113].

¹² Именно такое понимание модерна у Вебера видит Ойттинен — как эпохи, в которой произошел переход от материальной к формальной рациональности в познании [Ойттинен 2017: 205-206].

В результате формальная, секулярная (светская) рациональность Вебера означала соединение двух элементов — разумного целеполагания и отрицания Бога-Личности.

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ

Хотя Вебер и говорил о совершившемся фундаментальном переломе в структуре знания, который произошел в Новое время в Западной Европе, его труды были посвящены поиску путей легитимации и закрепления этого перелома: на рубеже XIX-XX вв. все еще остро стоял вопрос о выработке и, главное, обосновании светской (секулярной) эпистемологии общественных наук.

Главная методологическая сложность заключалась в том, что у светской гуманитарной науки не должно было быть видимой опоры ни в лице метафизики, ни в лице естественнонаучных подходов (натурализма, позитивизма, механицизма, материализма и прочих). Метафизика подчиняет гуманитарное знание внеопытной и надмирной реальности, которая находится вне власти человека, следовательно, требует религиозных ответов. Естественные науки только внешне были антиметафизическими, поскольку они абсолютизировали природу, материю или абстрактные естественные законы, т.е. фактически признавали онтологическую иерархию, в которой наука находится в подчиненном состоянии (не пишет законы, а лишь открывает их). Поэтому, чтобы гуманитарное знание стало самостоятельной исторической и общественно-политической силой, оно должно было иметь основания в себе самом, легитимировать само себя, не быть служанкой теологии, философии или естественных наук.

Вебер пытался достичь это способом, который мы предлагаем назвать диалектическим рационализмом¹³.

Как было указано, рациональность Вебера состоит из двух частей: “формальной” и “материальной”. На этом принципе строится вся логика его рассуждений. Материальная рациональность через субъективное целеполагание в религии и теологии усиливает формальную рациональность, а затем на ее фоне выглядит “иррациональной”. Материальная рациональность ставит субъективные цели, формальная — их достигает или отвергает. Без одной части рационального нет другого, они существуют совместно, но параллельно, не смешиваясь полностью. Они находятся в диалектическом отношении: с одной стороны, пытаются преодолеть друг друга, с другой — в этом взаимном отрицании дополняют друг друга и совершают движение к новому.

В веберовской диалектике, которая косвенно опирается на диалектику Гегеля [Ойтгинен 2017: 203], два диалектических начала еще более близки друг к другу:

¹³ Как представляется, это понятие точно характеризует подход Вебера. Сам Вебер не употреблял этого выражения, более того, оно крайне редко встречается в философских и гуманитарных исследованиях других авторов. В 1950 г. его использовал в своем докладе Гастон Башляр, занимавшийся философией естественных наук. “Рационализм” у Башляра имеет внутреннюю диалектику, сочетающую чистую и культурно обусловленную аксиоматику, пребывает в постоянном развитии и зависит от конкретных достижений науки и культурного контекста, в котором находится исследователь (“необходимо, чтобы рационалист был сыном своего времени... принадлежать науке своего времени... “чистая наука — это наука, которая тоже социализирована”; “рационализм обладает подвижными основаниями, т.е. основаниями, которые постоянно находятся в процессе реорганизации... эти следующие одно за другим преобразования следуют из аксиоматических вариаций”), чем напоминает веберовский подход [Башляр 1987: 284-324; Идеалистическая диалектика... 1987: 160].

в качестве “понимания” и “диалектического суждения” выступают не “тезис” и “антитезис”, “бытие” и “ничто”, “Бог” и “человек” (как в средневековой концепции исторического процесса, которая оказала влияние на Гегеля и Маркса), а два модуса одного явления — рациональности. При этом в исследовательской и бытовой практике эти два модуса действуют как целое — как одна рациональность. Поэтому “синтез”, т.е. качественно новое творение, совершается собственными силами этой рациональности, она одна является творческим началом культуры, ее исходной и конечной точкой. Развитие общественных отношений происходит в результате постоянного колебания внутри диалектического, антиномического противоречия единого рационального начала. Эти диалектически изменчивые внутренние состояния отражаются на исторических колебаниях культуры между периодами “рациональности” и “иррациональности”, которые постоянно упоминаются Вебером при изложении истории религий. Поэтому сам исторический процесс, по логике Вебера, — результат этой диалектики, каждая из частей которой бесплодна, если взять их по отдельности.

Это диалектическое начало не должно иметь границ, потому что они заставили бы сказать, что за ними есть “что-то” или есть “ничего”: в первом случае это означало бы признание богословской метафизики, во втором — зависимость от “метафизики” естественных наук, которые говорят о “пределах” научного познания, но оперируют понятием “ненаблюдаемого” слоя бытия (т.е. считаются с трансцендентальной реальностью). Представляя рациональность как диалектическую и безграничную, Вебер делает ее главным и единственным условием и двигателем культуры. Когда Ясперс говорил о том, что Вебер со своим фрагментарным и противоречивым стилем изложения имел сильнейшую тягу к “синтезу” [Ясперс 1994: 560], это не было метафорой. Рациональное у Вебера является синтезирующей осью гуманитарного познания и самой культуры.

Рациональность — единственный элемент в подходе Вебера, который фактически находится над историей, культурой и познающим субъектом. Вебер, не говоря об этом прямо и избегая любых ассоциаций с метафизикой, выносит этот элемент в область априорно существующих начал. Однако свой анализ начинает не с самой рациональности, а с ее исторических проявлений — диалектического действия рациональности в культуре, которое можно познавать и интерпретировать. Возникает воспроизводящий сам себя замкнутый дискурс, в котором культура берет свое начало от рациональности, а рациональность — от культуры. Это позволило вытеснить теологические и любые другие вопросы о “смысле” из поля гуманитарного знания: они были превращены из реального вопрошания в риторическое, не требующее ответа, став вопросами о вопросах. Такая методология общественных наук рассматривает человеческую историю и культуру как искусственную реальность — театральное действие или кинофильм, в котором вопрос об “истинности” и “целях” происходящего имеет только художественное, контекстуальное, а не онтологическое значение, и единственным режиссером которого является сам человек.

Фактически Вебер сначала перекрывает метафизическое рациональное начало замкнутым кругом диалектики, а затем диалектику делает атрибутом культуры, прячет в исторические декорации. Рациональное предстает у него скорее как форма самоопределения конкретной рассматриваемой культуры. Поскольку Вебер рассматривал новоевропейскую культуру через оптику

влияния протестантизма и капитализма, то и новоевропейская формальная рациональность часто интерпретируется у него как атрибут капитализма.

Диалектический рационализм помог Веберу найти способ использовать имплицитную аксиологию просвещенческого рационализма в гуманитарных науках наряду с естественными, сделав культуру частью “науки” без опоры на материализм, вернуть право любого субъективного мировоззрения существовать в общественном пространстве, но в качестве подсистемы социального, т.е. без возможности претендовать на истину. Современные общественные науки обладают статусом наук через утверждение априорности, самодостаточности, но при этом неметафизичности рационального. Косвенно это также укрепило современную шкалу политических идеологий, в которой либеральное Просвещение считается центральной, нормативной позицией, от которой все другие идеологии с разной степенью отклоняются вправо или влево.

ТОНКИЕ МОМЕНТЫ

В эпистемологии Вебера существует несколько тонких моментов, способных вести к противоречиям.

Во-первых, не определен источник рационального. Вебер выводил “чистую”, формальную рациональность диалектически из самой рациональности, фактически опираясь на нее как на аксиому, предмет веры, ценностную категорию. Однако он стремился не демонстрировать это прямо. В естественных науках существование вечных аксиом и законов не вызывало противоречий, поскольку сами эти науки базировались на натурализме со своей верой в абсолютную объективность природы (скрытая метафизика). Однако формальное признание “аксиом” в гуманитарных науках означало бы признание Вебером их иерархической подчиненности философской метафизике или религиозной теологии. Это означало бы, что каждый раз при невозможности преодолеть возникающие сложности в объяснении культурных явлений исследователь был бы вынужден обращаться к сфере доопытного, искать решение задач в плоскости метафизики и теологии. Для секулярной эпистемологии гуманитарных наук это было бы сродни коллапсу.

Фактически взятые без объяснений, сами по себе рациональность и логика позволили Веберу называть выносимые по определенным правилам суждения научными и в конечном счете делать их принципами любых “социальных действий” и решений на любых уровнях — от научных до политических. Если в этой цепочке выявить метафизический элемент (который у Вебера имплицитно присутствует), нарушится процедура наделения знания статусом “научности”, что вынет легитимирующую основу из-под современной культуры и в итоге парализует процедуры принятия политических решений. Масштаб последствий этого сопоставим с культурной революцией эпохи Возрождения. Поэтому специалисты в области общественных наук ритуально вынимают метафизику из своих схем¹⁴. Такой секулярный язык является конвенциональным и дает экспертному сообществу допуск к праву выносить научно-экспертные суждения и таким образом принимать участие в механизме регулирования политического дискурса и выработки политических решений.

¹⁴ См., например, комментарий политолога-американиста Д.О. Дробницкого на заседании Русской экспертной школы [Дробницкий 2017: 51-52].

Во-вторых, отсутствие указания на первоисточник рационального приводит к следующему тонкому моменту эпистемологии Вебера — недостаточному определению понятия “религия”. Без этого нет достаточного повода видеть в истории локальных религиозных систем, как это делает Вебер, последовательный эволюционный процесс от магии к протестантизму, который увенчался появлением формальной рациональности как универсального научного инструмента. И общая формальная рациональность, и эволюционный процесс, и сам субъективизм в конечном счете не могут быть обоснованы без ссылок на объективные априорные принципы. В противном случае веберовский подход не дает достаточных аргументов считать, что западноевропейская формальная рациональность является универсальной, а секуляризация и сама новоевропейская наука нечто большее, чем простое продолжение католической схоластики.

В-третьих, Вебер объясняет рационализацию и секуляризацию как религиозный процесс, но затем отделяет его от религии. Это означает, что религия у Вебера лежит в основе всего подхода, но при этом является условностью. Это показывает, что эпистемология Вебера направлена исключительно на изучение внешнего, рационального начала культуры, а содержание и смысл культурных процессов ей недоступен даже при самом внимательном рассмотрении. Это создает глубокие предпосылки для превращения в дальнейшем “понимающей” науки в формирующую.

В-четвертых, выведение формальной рациональности из одной лишь западной культуры делает невозможными как компаративистские исследования [Ойттинен 2017: 199], так и никакое обобщение, затрагивающее несколько культур, т.е. общественные (гуманитарные) науки как таковые: частично на эту методологическую проблему обратило внимание движение антиориентализма, воодушевленное Э. Саидом.

Наконец, если социальное устройство (а значит, и развитие самой науки) всегда обусловлено принципами веры (теологией), что демонстрирует в своих работах Вебер, то нет причин полагать, что логика, рациональность и любые “формальные” основания науки порождают сами себя из ничего и не зависят от теологических принципов. Даже тезис об отрицании личного Бога по своему характеру всегда остается предельно теологическим. Отрицание теологичности научных принципов не означает их реального вывода за границы теологии, но лишь создает нигилистическую теологию отрицания.

ПЕССИМИЗМ ВЕБЕРА

Попытки убедить себя в обратном, вывести нетеологические принципы познания из теологии и с опорой на теологическую интерпретацию вели к тому, что Вебер переставал видеть не только “последний смысл бытия” [Ясперс 1994: 559], но и смысл и цели дальнейшего развития западного общества.

Вебер базировал рациональность, которая движет историческим процессом, на отрицании в ней личного божественного начала. В качестве единственной катафатической опоры рациональности Вебер использовал концепцию субъективного целеполагания, с помощью которой запускал диалектический и имманентистский способ рассуждения. Это вело к тому, что сами реальные цели, по своей природе побуждающие к действиям и про-

граммирующие действия, превращались лишь в разговор о целях, т.е. переставали приводить к движению¹⁵. В масштабах западноевропейской культуры победа такого секулярного рационализма над метафизикой парадоксальным образом означала конец секулярного утопического сознания, которое до этого воспроизводило смысл истории искусственно (утопическое сознание по своим принципам копирует метафизику [Черткова 2015]). Максимально расширив полномочия гуманитарной науки, дав ей право почти неограниченного объяснения и интерпретации механизмов культуры, он при этом лишил ее ценностного измерения, это вело к невозможности задавать онтологические вопросы о смысле истории и свободно определять свои цели в ней, что окрашивало исторический процесс в фаталистические тона. Это привело к тому, что Вебер впервые в истории новоевропейской культуры не мог сформулировать программу будущего — как в сотериологическом, так и в утопическом смысле, а смысл общественного становления объяснял нигилистически (в отличие от позитивистов, которые, отрицая утопии, тем не менее мыслили утопично, поскольку имплицитно опирались на метафизику обожаемой природы).

Поэтому Вебер без радости смотрел на дальнейшее развитие человечества. Ему был свойственен пессимизм, хорошо известный исследователям¹⁶, который вытекал из его эпистемологии и был ее эмоциональной метафорой. Его подход не обещал привести культуру к краху, но лишал общество механизма целеполагания, вынимал из истории представление о начале и конце, лишал человеческий разум абсолютного происхождения и абсолютной цели. В этих условиях становится востребованным предложение В.Н. Расторгуева переводить на русский язык веберовское “расколдовывание” (*Entzauberung*) как “разочарование” [Расторгуев 2019: 111], к которому ведут возрастающие секулярные “интеллектуализация” и “рационализация” [Weber 2002].

153

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕССИМИЗМА

Эти противоречия также усиливаются из-за того, что Вебер не был свободен от религиозного мышления и сам это косвенно признавал [Каубе 2016: 83]. Именно интерес к религии и теологической сфере — центральный в его творчестве. Некоторые его знаменитые современники даже указывали на теологический и религиозный характер его секулярной эпистемологии¹⁷. Вебер ушел из жизни, не успев осуществить задуманные планы по анализу влияния ключевых мировых религий, включая католичество и православие, на развитие культуры. Нельзя исключать, что более глубокое погружение в раннехристианскую теологию, изучение особенностей христианского

¹⁵ Впоследствии это привело к тому, что гуманитарная наука стала превращаться в комментатора идей, право формулирование которых перешло от нее к другим дискурсивным областям. Это создало один из известных парадоксов современной гуманитаристики: новые оригинальные авторские концепции часто считаются “ненаучной” публицистикой, а их изучение и популяризация — наукой.

¹⁶ См., например, высказывания социолога Б.С. Тернера о том, что именно “пессимистичный”, “роковой” и “фаталистичный” взгляд Вебера на мир привлек к нему больше интереса и внимания, чем его социологические концепции [Turner 2011: 137].

¹⁷ См. высказывания К. Ясперса: “Ни одна религиозность на Земле не была столь близка его сердцу, как религиозность пуританских сект. Непостижимый промысел Божий, предопределение соответствовали его строгому мышлению и его правдивости, оставляющей непостижимое непостижимым” [Ясперс 1994: 564].

мышления до протестантского модерна позволило бы ему продолжить теологическую генеалогию рациональности западного типа и прийти к новым важным заключениям. В связи с этим одним из возможных способов решить эти противоречия представляется продолжение пути Вебера и погружение в теологическую плоскость не только объяснения общественных фактов, но и самих этих фактов, а также методологических принципов этого объяснения, включая рациональность. Научная дискуссия о постсекулярности в начале XXI в. возникает именно из этой нерешенной проблемы — невозможности убедительного обоснования подходов общественных (гуманитарных) наук без учета их культурной и теологической специфики¹⁸.

ВЫВОДЫ

Эпистемология Вебера, несмотря на фрагментарность своего предмета и стилистики, имела тягу к синтезу и стремилась к созданию единых правил познания для всех общественных (гуманитарных) наук — единой “науки о культуре”, которая была бы политически самостоятельной и не занималась бы обслуживанием теологии, философии и естественных наук. Негативную основу его подхода составили антиметафизика и антипозитивизм. Положительную основу — субъективизм и особая, диалектическая интерпретация рациональности — диалектический рационализм. Логика историко-религиоведческой генеалогии рациональности Вебера ведет к заключению, что рациональность как светское научное начало является соединением двух элементов — разумного целеполагания и отрицания личного Бога.

Диалектический рационализм Вебера пытался пойти дальше материализма и позитивизма: отделить светскость от материализма, лишить религиозный опыт метафизического статуса без необходимости публично бороться с самой религией и лишить теологию возможности самостоятельного познания, закрыв ее в рамках “социологии”. Это позволило Веберу на пике позитивистской борьбы с религиозностью вернуть религию и теологию в общественное пространство в новом статусе, который защищал их от прямых преследований, но лишал общественно-политической субъектности. Такая легализация религии позволила превратить ее в партнера, встроить в дискурс секуляризации, используя ее для укрепления институции общественных наук — посреднического буфера между человеком и культурой. Этот подход сделал для институционализации светской гуманитарной науки намного больше, чем натуралистские концепции, так как не боролся с метафизикой прямо, а пытался ее приручить.

При этом веберовский подход содержит несколько тонких моментов, связанных с недостаточным определением источника рационального и религиозного. Это в перспективе ведет к методологической сложности, связанной с недостаточным обоснованием независимости рационализации и секуляризации от теологии, что впоследствии ставит под вопрос возможность “научного” познания культуры и сами основания современных общественных наук. Представляется, что один из возможных путей преодоления тонких моментов и пессимизма веберовского подхода заключается в его дальнейшем развитии —

¹⁸ Проблема постсекулярности в общественно-политической, философской и теологической плоскости была рассмотрена в специальном выпуске “Тетрадей по консерватизму” № 3 за 2019 г. [Щипков 2019: 7-10].

путем допущения теологического объяснения не только социальных моделей поведения, но и методологических принципов этого объяснения, включая светскость и рациональность. Это может стать одним из путей гармонизации современного дискурса политических и других общественных наук.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.10

MAX WEBER'S DIALECTICAL RATIONALISM AND THE FOUNDATIONS OF SOCIAL SCIENCES

V.A. Shchipkov¹

¹ Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Moscow, Russia

SHCHIPKOV, Vasily Alexandrovich, Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor, Department of the International Journalism, MGIMO University; Director, Russian Expert School, email: vas.ship@mail.ru

Shchipkov V.A. Max Weber's Dialectical Rationalism and the Foundations of Social Sciences. — Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 142-156. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.10>

Received: 11.06.2020. Accepted: 21.09.2020

Abstract. The article analyzes Weber's epistemology of social sciences (including its political characteristics), which is fragmented in form but strives for synthesis in content. It is based on the "negative" concepts of antimetaphysics and antipositivism on the one side, and on the "positive" concepts of subjectivity and dialectical rationalism on the other. Weber substantiates non-metaphysical, secular, rational principles, relying on a dialectical explanation of rationality. Dialectical rationalism (the concept being first introduced relative to Weber) is based on the statement that rationality is the original source of culture and that it generates itself by the interaction of its two internal modes: "substantive" (sets subjective goals) and "formal" (which is operational, "mathematical" rationality, based on objective logic). In his study of religious history, Weber points to the moment when religious goals once became unreachable, which strengthened the formal rationality and made it finally independent in the modern era. According to Weber's logic, rationality is based on rational goal-setting and the denial of a personal God. This approach separated secularism from a materialistic worldview and, contrary to the positivism approach, legalized religion and all other "subjective" worldviews in modern society. All subjective worldviews have become social subsystems, thus protecting them from discursive persecution but depriving them of political subjectivity. Social sciences have become a mediator between man and culture. Weber, however, failed to give a definitive definition of the source of rationality and religion, which allows us to assume that there is an implicit theological context in his approach. His combination of a dialectical, anti-metaphysical approach with a theological context creates a theology of nihilism, which lacks the ability to formulate both cultural and political programs for the future; this leads to Weber's "pessimism". One of the possible ways out of this situation is the proceeding and expansion of the Weberian program of a theological understanding of the social epistemology.

Keywords: Max Weber, social science, dialectical rationalism, formal and substantive rationality, subjectivity, metaphysics, positivism, theology, politics.

References

- Turner S.B. 2011. *Religion and the Modern Society: Citizenship, Secularization and the State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weber M. 1904. Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. — *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*. No. 19 (1). S. 22-87.
- Weber M. 1986. *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Band 2*. Tübingen: Mohr-Siebeck.
- Weber M. 1994. *Sociological Writings*. New York: Continuum.
- Weber M. 2002. *Schriften 1894-1922. Band 233*. Stuttgart: Kröners Taschenbuchausgabe.
- Bachelard G. 1987. *Le Nouvel Esprit scientifique* (Russ. ed.: Bachelard G. *Novyi ratsionalizm*. Moscow: Progress).
- Chertkova E.L. 2015. Utopia as "Philosophical Project". — *Voprosy filosofii*. No. 5. P. 190-201. (In Russ.)
- Drobnitskii D.O. 2017. Istoki rusofobii v SSHA [Origins of Russophobia in the USA]. — *Tetradī Russkoi ehkspertnoi shkoly* [Papers of Russian Expert School]. No. 2. Moscow: Russkaya ekspertnaya shkola, Probel-2000. P. 51-79. (In Russ.)

Idealisticheskaya dialektika v XX stoletii [Idealistic Dialectics in the Twentieth Century]. 1987. Moscow: Politizdat. (In Russ.)

Jaspers K. 1994. Max Weber. Rede bei der von der Heidelberger Studentenschaft am 17. Juli 1920 veranstalteten Trauerfeier (Russ. ed.: Jaspers K. Rech' pamyati Maksa Vebera. Vystuplenie pered studentami Geidel'bergskogo universiteta na traurnom zasedanii 17 iyulya 1920 goda. — Weber M. 1994. *Izbrannoe. Obraz obshchestva*. Moscow: Yurist).

Kaube J. 2016. Max Weber: Ein Leben zwischen den Epochen (Russ. ed.: Kaube J. *Max Weber: zhizn' na rubezhe dvukh ehpokh*. Moscow: Delo).

Oittinen V. 2017. General Rationality Types and Concrete Philosophical Cultures: From Hegel to Max Weber. — *Vox*. No. 23. P. 198-211. (In Russ.)

Rastorguev V.N. 2019. Civilizational Approach in Political Prognostics and the Borders of the Secular World. — *Essays on Conservatism*. No. 3. P. 111-116. (In Russ.)

Schluchter W. 2004. Agency, Order and Culture: Main Features of Weberian Research Program. — *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. No. 2. P. 22-50. (In Russ.)

Shchipkov V.A. 2019. Introduction. — *Essays on Conservatism*. No. 3. P. 7-10. (In Russ.)

Ionin L.G. 1998. Weber. — *Sovremennaya zapadnaya filosofiya* [Modern Western Philosophy]. Moscow: TON-Ostozh'e. P. 66-70. (In Russ.)

Weber M. 1990. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works]. Moscow: Progress. (In Russ.)

Weber M. 1994. *Izbrannoe. Obraz obshchestva* [Selected Works. Image of Society]. Moscow: Yurist. (In Russ.)

Weber M. 2017. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie (Russ. ed.: Weber M. *Khozyaistvo i obshchestvo: ocherki ponimayushchei sotsiologii: v 4 t.* T. 2. Moscow: The Higher School of Economics Publishing House).

Литература на русском языке

Башляр Г. 1987. *Новый рационализм*. М.: Прогресс.

Вебер М. 1990. *Избранные произведения*. М.: Прогресс.

Вебер М. 1994. *Избранное. Образ общества*. М.: Юрист.

Вебер М. 2017. *Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии в 4 т.* Т. 2. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

Дробницкий Д.О. 2017. Истоки русофобии в США. — *Тетради Русской экспертной школы*. № 2. Москва: Русская экспертная школа, Пробел-2000. С. 51-79.

Идеалистическая диалектика в XX столетии. 1987. М.: Политиздат.

Ионин Л.Г. 1998. Вебер. — *Современная западная философия*. М.: ТОН-Остожье. С. 66-70.

Каубе Ю. 2016. *Макс Вебер: жизнь на рубеже двух эпох*. Москва: Дело.

Ойттинен В. 2017. Общие типы рациональности и конкретные философские культуры: от Гегеля до Макса Вебера. — *Vox. Философский журнал*. № 23. 198-211.

Расторгуев В.Н. 2019. Цивилизационный подход в политической прогностике и границы секулярного мира. — *Тетради по консерватизму*. № 3. С. 111-116.

Черткова Е.Л. 2015. Утопия как “философский проект”. — *Вопросы философии*. № 5. С. 190-201.

Шлюхтер В. 2004. Действие, порядок и культура: основные черты веберовской исследовательской программы. — *Журнал социологии и социальной антропологии*. № 2. С. 22-50.

Шипков В.А. 2019. Слово к читателю. — *Тетради по консерватизму*. № 3. С. 7-10.

Ясперс К. 1994. Речь памяти Макса Вебера. Выступление перед студентами Гейдельбергского университета на траурном заседании 17 июля 1920 года. — Вебер М. *Избранное. Образ общества*. Москва: Юрист. С. 553-566.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТАБУ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ

А.Д. Казун

КАЗУН Анастасия Дмитриевна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований, старший преподаватель факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Москва, email: adkazun@hse.ru

Казун А.Д. Профессиональные табу в деятельности политических консультантов. — Полис. Политические исследования. 2021. № 1. С. 157-168. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.11>

Статья написана в рамках проекта “Неформальные практики организации и проведения избирательных кампаний в современной России” при поддержке Фонда социальных исследований “Хамовники”.

Статья поступила в редакцию: 20.01.2020. Принята к публикации: 20.03.2020

Аннотация. На материалах 73 интервью с участниками избирательных кампаний (политическими консультантами, главами штабов, полевыми, юристами и т.д.) изучается этика политических консультантов в России. Исследование позволяет предположить, что говорить о российских политических консультантах как о едином сообществе, разделяющем общие ценности, нельзя. Данная профессиональная группа гетерогенна, включает людей с различными представлениями о нормах и этических границах. По итогам анализа интервью была разработана классификация профессиональных табу политических консультантов: общечеловеческая мораль, идеологическая ориентация, профессиональная ориентация, процедурные табу и правовые границы. Интересно, что, рассказывая об этических ограничениях, некоторые информанты использовали риторику оправдания. Следует отметить, что не обязательно существующие профессиональные табу политических консультантов относятся к сфере этики. Даже если они позиционируются таким образом, табу могут возникать в результате экономически рационального поведения.

Ключевые слова: политехнологии, политические консультанты, профессиональная этика, выборы, избирательная кампания.

ВВЕДЕНИЕ

Социология профессий развивается со временем. Одним из наиболее серьезных ее преобразований стало существенное расширение списка видов деятельности, которые могут быть причислены к профессиям. Если традиционно к профессионалам относили представителей права, медицины и церкви¹ [Parsons 1968], то сейчас список дополнили менеджеры [Абрамов 2005], инженеры, программисты [Бессуднов 2009] и т.д. Изучается процесс профессионализации отдельных видов деятельности, таких как социальная работа [Ярская-Смирнова 2001], государственная служба [Антонова 2016] и родительство [Чернова, Шпаковская 2016]. Подобное расширение эмпирического объекта данной области повышает актуальность дискуссии

¹ Остальные виды деятельности относились к категории *occupation*, а не *profession*. Различие в данном случае существенное. Если в одном случае мы говорим о квалифицированной деятельности, требующей специальной подготовки, но в другом — просто об оплачиваемой работе.

о критериях, на основании которых деятельность может быть определена как профессиональная.

Профессиональная деятельность требует специальных знаний и подготовки [Barber 1963; Социально-психологический портрет инженера... 1977: 103] и характеризуется верой в общественную службу, независимостью и саморегулированием сообщества [Hall 1968]. Политические консультанты соответствуют части из указанных критериев, однако по некоторым пунктам могут от них отклоняться. Мы не можем с уверенностью утверждать, что каждый представитель данной сферы деятельности обладает верой в общественную службу. Кроме того, автономия политического консультирования в России ограничена достаточно жестким регулированием организации избирательных кампаний, а также возможной зависимостью от государственных заказов и финансирования. Тем не менее, хотя коммерция и политика могут рассматриваться как “естественные враги” профессионализма [Маршалл 2010: 117], в дальнейшем мы, вслед за рядом других исследователей [Grossmann 2009; Farrell, Kolodny, Medvic 2001], будем говорить о политических консультантах как о профессиональной группе.

В этом исследовании обратим внимание на одну из ключевых характеристик профессионализма — этику². Принимая решения в ситуации конфликта интересов, профессионал не только взвешивает риски и возможный выигрыш, но и нередко сталкивается с ограничивающим влиянием своей системы ценностей [Voakes 1997], представлений о должном и недопустимом в исполнении своих обязанностей. В массовой культуре политтехнолог³ часто предстают как циничные и готовые использовать для достижения своей цели практически любые средства. Например, в фильме “Плутовство, или Хвост виляет собакой”⁴ инсценируется вооруженный конфликт с Албанией, чтобы отвлечь внимание от скандала, связанного с кандидатом. В этом исследовании мы рассмотрим, как соотносятся этика и профессиональный цинизм в деятельности политических консультантов.

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Исследователи высоко оценивают роль политических консультантов в организации избирательных кампаний, подчеркивая их участие в разработке рекламных мероприятий и планировании распределения ресурсов [Medvic 2001], но особенности профессиональной деятельности политических консультантов остаются малоизученными. Большинство работ, посвященных избирательным кампаниям, анализирует эффективность тех или иных стратегий, а не их этичность и приемлемость [Bagg, Tranvik 2019]. Существующая же литература, преимущественно основанная на данных о ситуации в США, позволяет сделать лишь ряд предположений об организации сообщества

² Далее термины “этические ограничения” и “профессиональные табу” будут использоваться как синонимы. Вместе с тем “мораль политического консультанта” имеет несколько иную коннотацию в рамках настоящего исследования.

³ В данной работе мы будем использовать термины “политический консультант” и “политтехнолог” как синонимы, как это часто делается в академической литературе, хотя не все игроки на рынке организации избирательных кампаний согласны с подобным подходом.

⁴ Речь идет о фильме “Wag the Dog” 1997 г., реж. Барри Левинсон.

политтехнологов. Эти предположения нуждаются в дополнительной проверке, поскольку их релевантность для стран с иной политической системой не подтверждена.

Исследования рынка политического консультирования в США позволяют предположить, что данная профессиональная группа гетерогенна. В числе факторов, влияющих на деятельность и взгляды политических консультантов, выделяют организационное влияние. Так, представители одного агентства используют более схожие стратегии при организации кампаний, чем можно было бы ожидать, основываясь на контексте и чертах кандидата [Nyhan, Montgomery 2015]. Отчасти нормы организации избирательных кампаний усваиваются на рабочем месте. Логично предположить, что этика может быть связана и с регулирующей деятельностью государства и профессиональных объединений (ассоциаций), а также с индивидуальными особенностями профессионалов и спецификой их социализации (например в ходе получения образования) [Abbott 1983]. Так или иначе, если обратиться к исследованиям профессиональной идеологии политических консультантов, то мы увидим, что циничное восприятие собственной деятельности распространено слабо: только 5% политтехнологов утверждают, что в их работе не нужна этика [Grossmann 2009].

Представления о том, как должна быть организована избирательная кампания с точки зрения этики, могут различаться. Согласно одному из подходов, кандидаты должны действовать таким образом, чтобы способствовать рациональному принятию решения избирателями, не искажая в своих выступлениях факты и предоставляя максимально полную и разнообразную информацию [Nelson, Dulio, Medvic 2002]. Подобные требования выглядят особенно важными, поскольку значительная часть населения не имеет мнения о большинстве политических вопросов и недостаточно информирована в их отношении [Achen, Bartels 2016]. Тем не менее ожидать подобное поведение от всех кандидатов в ходе избирательной гонки было бы слишком идеалистично. Едва ли общим этическим стандартом в данном случае будет абсолютная честность и беспристрастное комментирование актуальной повестки. Поэтому представляет исследовательский интерес вопрос о том, как люди, организовывающие избирательные кампании, представляют себе “норму” и “патологию” в своей деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ

В основе исследования лежат материалы интервью с участниками избирательных кампаний – политическими консультантами, главами штабов, электоральными юристами, бухгалтерами, полевыми, председателями УИК и т.д. В общей сложности за период с июня по август 2018 г. было собрано 73 интервью. Возраст информантов колеблется в интервале 21-65 лет, средний возраст при этом составляет 46 лет. В фокусе нашего внимания были как люди, которые занимаются организацией избирательных кампаний с 1990-х годов, так и те, кто занялся этой деятельностью несколько лет назад. Подобная организация выборки позволяет получить информацию о понимании профессиональной деятельности участниками избирательных кампаний с различным опытом и разным контекстом прихода в профессию. Большая часть интервью собрана в Москве (18), Санкт-Петербурге (20), Ульяновске

(17) и Кемерово (9). Однако мы постарались охватить также другие города, в том числе Новосибирск (2), Екатеринбург (2), Бердск (1), Королев (1), Владивосток (1), Красноярск (1). Кроме того, два интервью были проведены с украинскими политтехнологами (Киев), имеющими опыт работы на избирательных кампаниях в России. География представленного исследования позволяет проанализировать особенности организации кампаний и профессиональной деятельности политических консультантов в регионах с различной политической ситуацией. Так, Москва и Санкт-Петербург обладают высоким протестным потенциалом, Кемеровская область характеризуется высокой централизацией власти в регионе, тогда как Ульяновская область может быть рассмотрена как типичный регион с близкими к средним по стране показателями явки и голосов за “Единую Россию”.

Далее проанализируем интервью с политическими консультантами и политтехнологами, которые составили более половины выборки. Интервью с другими участниками избирательных кампаний используем в качестве вспомогательных для понимания контекста профессиональной деятельности политических консультантов.

Гайд включал ряд тематических блоков: мотивация и история прихода в профессию, особенности деятельности, контроль и этика в профессиональной деятельности политических консультантов, финансы в избирательных кампаниях и взаимодействие со СМИ. В рамках данного исследования рассмотрим как ответы непосредственно на вопросы про профессиональные табу и этические ограничения, так и кейсы конкретных избирательных кампаний, которые информанты описывали, отвечая на вопросы из других блоков гайда.

ЭТИКА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Политические консультанты могут сталкиваться с этическими ограничениями как в отношении выбора способа деятельности, так и при выборе клиентов, с которыми они предпочитают работать или не работать. Само отношение политтехнологов к роли этики в их профессиональной деятельности крайне неоднозначно. Отдельные информанты абсолютизировали этические ограничения и подчеркивали их важность и необходимость, тогда как другие выбирали прагматический подход. В этом случае информанты либо говорили о своей деятельности в духе макиавеллизма, презентуя себя как циничных и компетентных профессионалов, либо подчеркивали, что политический консультант, подобно врачу или адвокату, должен работать с каждым клиентом, который нуждается в его услугах, независимо от того, насколько тот ему нравится: *“Да, были какие-то вещи, которые не были мировоззренчески мне близки, но это были искренние люди, которые хотели, чтобы ситуация в области поправилась, чтобы было больше справедливости. И вот на этом посыле я совершенно спокойно с ними работал. Конечно, мы расходились в серьезных вещах, они там все были сталинистами, а мне Сталин глубоко ненавистен, я его считаю людоедом. Но не обязательно обсуждать Сталина, если ты ведешь избирательную кампанию. Нет, можно начать обсуждать, дойти до мордобоя, но зачем? Мы решали сложную прикладную задачу, и мы ее решили, это была одна из самых удачных кампаний”* (интервью 18, жен., 49 лет, Москва).

В целом по отношению к этическим ограничениям политические консультанты занимают позиции между этими полярными точками. Например,

указывая, что работа возможна в различных форматах и с разными типами клиентов, но подчеркивая необходимость соблюдения некоторых требований: *“Моя максима, которая цитируется у нас в профессиональных кругах: ‘профессионализм — это когда вдохновение приходит вместе с авансом’. Но вдохновение — это отсутствие когнитивного диссонанса, не каждый аванс может вызвать вдохновение”* (интервью 13, муж., около 55 лет, Киев).

Интересно, что, декларируя наличие у себя определенных этических ограничений, политические консультанты нередко используют риторику оправдания. Вероятно, стереотипное представление о политтехнологе как циничном профессионале отчасти разделяют сами представители отрасли. Поэтому те, кто не может причислить себя к данной категории, считают необходимым пояснить, почему их позиция отличается от той, которая, по их мнению, доминирует или должна доминировать: *“У политтехнолога подход максимально циничный, как у патологоанатома. Я в этом смысле не типичный представитель, меня можно заносить в Красную книгу. Когда нет денег, может на что-то и пойдешь. Но иногда я отказывался от заказов если понимал, что мне это противно”* (интервью 15, муж., 47 лет, Москва). Или: *“Ну видите, я человек политизированный, всю жизнь состоящий в оппозиционных партиях. Поэтому участвовать в кампании ‘Единой России’ — лично для меня это недопустимо. В этом плане я, конечно, не политтехнолог. Потому что нормальный политтехнолог готов работать на любых выборах, у любого кандидата. Это его хлеб, его работа. И тут у него никаких идеологических ограничений нет. У меня они есть, потому что я политизированный человек, состоящий, как правило, в каких-то политических организациях оппозиционных”* (интервью 34, муж., 27 лет, Санкт-Петербург).

Таким образом, сложно говорить о наличии какого-либо консенсуса относительно ценностей и приемлемых способов деятельности политических консультантов. Представления о профессии и связанных с ней этических ограничениях крайне индивидуализированы. Отчасти это может быть объяснено высокой гетерогенностью данного сообщества: позиции политических консультантов, работающих на власть или на оппозиционные партии, существенно различаются. Восприятие профессиональной роли меняется со временем и в зависимости от продолжительности работы в организации избирательных кампаний. Вероятно, определенную роль играет также профессиональная социализация, которая могла зависеть как от момента прихода в профессию (в 1990-е годы избирательные кампании проводились иначе, чем в 2010-е [Матвейчев 2018]), а также от канала прихода в профессию (работа на кандидата, организация собственных избирательных кампаний и т.д.). Следовательно, несмотря на наличие профессиональной ассоциации (Российская ассоциация политических консультантов, основана в 2014 г.), а также принятого ею этического кодекса⁵, говорить о российских политических консультантах как о едином сообществе, разделяющем общие ценности, едва ли уместно. Даже сам вопрос о необходимости членства в ассоциации может вызывать сомнения. Часть информантов полагают более

⁵ В частности, этический кодекс подчеркивает необходимость уважительного отношения с коллегами и клиентами, защиты конфиденциальной информации, честности при взаимодействии со СМИ и критике оппонентов клиента, отказа от высказываний, стимулирующих нетерпимость и дискриминацию любого рода и т.д.

целесообразным сделать выбор в пользу неформального взаимодействия, не видя в организованных объединениях дополнительных преимуществ: *“Я не думаю, что нужно состоять в каких-то ассоциациях. Мы много с кем дружим и общаемся, но принципиальной необходимости состоять в каких-то комьюнити у меня нет. В чем был смысл этих союзов писателей, союзов художников?”* (интервью 1, муж., 47 лет, Санкт-Петербург). Впрочем, отсутствие среди политтехнологов консенсуса в отношении этики отмечалось ранее и на материалах США [Scammell, 1998].

Кроме того, можно предположить, что из массовой культуры в данную сферу проникают стереотипные взгляды, которые отчасти формируют восприятие политическими консультантами собственной деятельности. В результате, рассказывая о своих ценностях и этических ограничениях, информанты могут считать, что их взгляды нетипичны, и пытаться объяснить и оправдать свое отклонение от предполагаемой нормы.

ТИПОЛОГИЯ ТАБУ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ

По итогам анализа интервью мы провели типологизацию профессиональных табу политических консультантов. Разумеется, не каждый информант выступает носителем всех указанных далее ценностей. Тем не менее полученная классификация позволяет лучше представить взгляды политических консультантов и их понимание собственной деятельности.

Общечеловеческая мораль

Первая выделенная группа “запретных приемов” при организации избирательных кампаний связана с общечеловеческой моралью. Информанты рассуждают скорее не о том, какие правила неприемлемо нарушать политическому консультанту, а о границах, преступать которые не должен никто, в том числе представитель их профессии. К подобным табу относятся, например, личные оскорбления, действия против семьи кандидата-противника, а также использование национальной или религиозной темы для дискредитации соперника: *“Ну, на мой взгляд, нельзя трогать семью. То есть жена, дети, родители — это... Не то чтобы это некрасиво, неправильно, просто вот табу для меня. То есть у меня семья, трое детей, и все в жизни у каждого бывает: какие-то ошибки, недомолвки и какие-то скелеты в семейном плане; я считаю, семья — это святое, которое нельзя трогать”* (интервью 62, муж., 49 лет, Москва).

Необходимость отказа от подобных действий может обосновываться как “человеческими взаимоотношениями”, так и общественным благом. В первом случае акцент делается на том, что поле деятельности информантов достаточно узкое. Многие игроки на данном рынке знакомы друг с другом, в ряде случаев межличностные отношения выстраиваются вне зависимости от идеологической принадлежности собеседника. Личные выпады в таких обстоятельствах будут осуществляться против знакомых людей, с которыми, вероятно, предстоит взаимодействовать в дальнейшем, что заставляет воспринимать их как нечто неправильное: *“Ну, в первую очередь не переходить на личности. Потому что работа — работой, а человеческие взаимоотношения — человеческими взаимоотношениями. Не использовать в работе национальную тему и религиозную”* (интервью 63, муж., 36 лет, Москва). А также: *“Все со всеми знакомы, несмотря на политические различия. У кого-то установились*

личные отношения хорошие, у меня тоже есть коллеги, с которыми у меня добрые отношения, из 'Единой России' или из Администрации города, с которыми мы нормально работаем. Из других партий тем более. Наверное, это диктует невозможность использовать какие-то вещи, которые могут ударить лично по человеку. Какие-то личные, болезненные для человека удары наносить не стоит. Так не делают" (интервью 40, муж., 36 лет, Санкт-Петербург).

В случае, когда подобные запреты обосновываются общественным благом, информанты преимущественно апеллируют не к межличностным отношениям и совести, а к факту, что подобные шаги разрушают общество в целом. Если поднимать определенные темы в ходе предвыборной борьбы, повысится агрессия и усилится поляризация в обществе, что может привести к негативным и непредсказуемым последствиям: *"Вот, например, есть у кандидата жена, допустим, не русская, а, допустим, азербайджанка. И это вообще-то неплохой способ, чтобы отвлечь от него националистически настроенную часть избирателей, которые скажут: 'А, понаехали, и так житья нету...' И, в общем, его замазать этим было бы неплохо. Но я такого не буду делать. Это история из личной жизни, и мы этого не делали. И здесь, кстати, не из личных отношений, а потому что это поднимает самые низменные чувства общества. Это вообще нехорошо. Всем вам потом придется жить с этим после выборов. Выборы вы, допустим, выиграете, а как вы потом будете вместе жить?"* (интервью 40, муж., 36 лет, Санкт-Петербург).

Идеологическая ориентация

Ряд информантов, рассказывая о своей профессиональной деятельности, подчеркивали, что идеологическая принадлежность кандидата может служить препятствием для работы с ним. Как правило, это не означает, что позиция кандидата должна быть близка организатору кампании. Скорее речь идет об отказе взаимодействовать с политическими силами, которые воспринимаются как крайне антипатичные или опасные для общественного уклада. Подобные "нежелательные" заказчики могут описываться в общем виде. Например, нередко обозначается нежелание работать с краями идеологического спектра. Могут называться и отдельные политические деятели или объединения, которые вызывают негативное отношение информанта: *"Нет, я думаю, что профессионал, несмотря на то что должен работать, должен иметь моральные принципы. Ну, там, условно, на каких-нибудь националистов радикальных или на либералов, поддерживающих, например, гей-парады, я вряд ли буду работать. Задавать сейчас вопрос, типа, между коммунистами, 'Справедливой Россией', ЛДПР и 'эсерами'... Да, наверное, тут по фигу"* (интервью 63, муж., 36 лет, Москва).

Отказ работать с определенными политическими силами может мотивироваться социальной ответственностью. Информанты используют для иллюстрации своей позиции образ Гитлера, указывая, что не хотели бы привести к власти подобного человека. Другим аргументом в пользу отказа от работы с радикальными движениями выступает личный комфорт. Продвижение чуждых идей может трактоваться как нечто неправильное и неприятное. Кроме того, негативное отношение к отдельным идеологическим позициям может ассоциироваться с неготовностью их представителей прислушиваться к профессиональным рекомендациям. Радикальные политические взгляды в таком случае воспринимаются как неспособность адекватно реагировать на

советы и менять предвыборную риторику, если это требуется для получения более высоких результатов. Таким образом, организовывая избирательную кампанию для таких политических объединений, консультант может ощущать невозможность повлиять на ситуацию. Интересно, что артикуляция подобных принципов не исключает определенного прагматизма при выборе клиентов: *“Практика показывает, что чем человек ближе к этому краю политического спектра, тем у него, как правило, хуже с финансированием и хуже с адекватностью восприятия совета”* (интервью 61, муж., 39 лет, Москва).

Подобная ситуация, когда радикальные политические силы оперирует меньшим количеством ресурсов, лишает нас возможности с уверенностью сказать, что отказ политических консультантов от работы с ними продиктован исключительно соображениями этики. Вероятно, в случае с организацией избирательных кампаний разделение этических и прагматических соображений затруднительно. В некоторых случаях потребность в заработке может заставить отказаться от убеждений, в других этика служит прикрытием для прагматизма. Тем не менее по итогам анализа интервью мы можем сделать вывод, что политическим консультантам не безразлична идеологическая принадлежность их клиентов.

Профессиональная ориентация

Отдельная группа табу политических консультантов связана с их ориентацией на профессиональное сообщество. Недопустимыми могут считаться выпады, направленные против коллег. Если критиковать кандидата-соперника считается нормальным, то его политические консультанты просто выполняют свою работу и не должны становиться объектом нападков. Корпоративная солидарность способствует сохранению целостности сообщества, препятствуя политтехнологам, которые воспринимают себя его частью, выступать против своих коллег. Разумеется, возможны межличностные конфликты между политическими консультантами и низкая оценка профессионализма коллег, однако все это не должно становиться инструментом предвыборной борьбы: *“На мой взгляд, нельзя трогать и, как сейчас принято говорить, мочить политконсультантов, которые работают на соперника. То есть бери кандидата, его плюсы и минусы. А это как внутрикорпоративная этика, что ворон ворону глаз не выклюет”* (интервью 62, муж., 49 лет, Москва).

Процедурные табу

В некоторых случаях информанты также отмечали, что считают неприемлемыми какие-то действия, которые воспринимаются ими как ограничивающие демократию и негативно влияющие на институт выборов. На материалах проведенных интервью мы не можем утверждать, что подобная позиция широко распространена. Описанные выше нормы артикулировались информантами значительно чаще. Тем не менее среди информантов, которые сами являются активными игроками на политической арене, в том числе организуют избирательные кампании для себя, подобные убеждения встречаются:

Информант: *Я всегда не очень хорошо отношусь к тому, что кандидаты позволяют себе снимать оппонентов. Да, это законно, но, мне кажется, избиратель должен решать, кого выбирать, кого не выбирать. Когда кандидаты начинают друг друга снимать из-за каких-то юридических закорючек, мне такие ходы не очень нравятся. Я никогда сам этим не занимался, хотя*

мне предлагали снять какого-то там “единорога” у себя в округе, написав уже прям исковое заявление. Но я сказал, что нет.

Интервьюер: Даже если человек что-то нарушил, то все равно пускай остается в гонке?

Информант: Мне кажется, наше законодательство настолько сложное, что за любую закорючку могут снять с выборов. Я считаю это неправильным, и поэтому сам не стремлюсь снимать за какие-то закорючки. И не хотел бы, чтобы меня снимали за какие-то закорючки (интервью 41, муж., 37 лет, Санкт-Петербург).

В данном случае информант отказывается от прагматичного решения, так как оно противоречит его ценностям и убеждениям. Поскольку регулирование организации и проведения избирательных кампаний воспринимается как избыточное и, возможно, ограничивающее демократию, закон не интерпретируется как тождественный справедливости.

Правовые границы

Хотя закон может критиковаться политическими консультантами, необходимость его соблюдения нередко артикулировалась в интервью (как, впрочем, и невозможность его соблюдения). Важность соблюдения законодательства может аргументироваться общественными нормами: любой человек должен следовать закону. В этом случае информанты фактически отказываются от оценки того, насколько существующие правила хороши и справедливы. Необходимость следования законам связана с самим фактом их существования: *“Давайте так, наверное, вот напрямую нарушать закон политтехнолог не должен, как и, собственно говоря, любой гражданин, да? Потому что, собственно говоря, политтехнолог, он ничем не отличается от просто специалиста... который владеет... рядом методик: социологией там, public relations и так далее”* (интервью 64, муж., ок. 35 лет, Москва). Это созвучно результатам исследования М. Гроссмана: 68% политических консультантов согласны с тем, что представители их сферы деятельности должны следовать тем же правилам, что и представители других профессий [Grossmann 2009].

Возможно и иное обоснование важности соблюдения юридических требований, связанное с рисками их нарушения. Даже те информанты, которые утверждают, что проведение избирательной кампании невозможно без каких-либо нарушений законодательства, признают наличие издержек применения нелегальных методов. Возникновение рисков, как правило, связывается с переходом определенной грани допустимого отклонения от законного. Например, если выплаты агитаторам без заключения соответствующих договоров могут восприниматься как естественное и нормальное ведение кампании, то прямой подкуп избирателей будет трактоваться как нежелательное и небезопасное решение: *“Хотя надо заметить, что многие политтехнологи, которые много говорят про систему подкупа, сами этим никогда не занимались. Нормальный политтехнолог постарается этим не заниматься. Он постарается сделать так, чтобы эта технология была реализована, а он бы сам остался в стороне. Иногда жизнь заставляет, и они вынуждены брать это в свои руки. Но это уголовка. И если он попадется...”* (интервью 14, муж., 48 лет, Московская область).

Убежденность в необходимости следования избирательному законодательству сложно в полной мере относить к сфере этики. Поскольку закон имеет принудительную силу, его соблюдение часто не является моральным

выбором. Вместе с тем, если определенные отклонения от формальных норм распространены повсеместно и обычно не влекут за собой негативных последствий, то решение о степени соблюдения формальных правил все же принимается индивидуально. Выбор политического консультанта в этом случае может зависеть как от воспринимаемых рисков и возможностей, так и от его системы ценностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам анализа интервью была разработана классификация профессиональных табу политических консультантов: общечеловеческая мораль, идеологическая ориентация, профессиональная ориентация, процедурные табу и правовые границы. В целом сообщество политических консультантов крайне гетерогенно. Это касается как представлений относительно важности этики, так и спектра норм, которые информанты выделяли как приоритетные. Некоторые информанты использовали риторику оправдания: наличие табу они объясняли тем, что чем-либо отличаются от “правильных” политических консультантов (профессиональной биографией, системой взглядов и т.д.). Отсутствие этических границ в ряде случаев могло интерпретироваться как норма и признак профессионализма, а не как аномалия.

Одним из наиболее серьезных ограничений проведенного исследования является сенситивность вопросов, связанных с этикой. Информанты могли преувеличивать этичность своего поведения на рынке избирательных технологий для формирования позитивного представления о себе у интервьюера. Тем не менее, поскольку в нашем исследовании встретился ряд политических консультантов, открыто декларирующих циничное отношение к своей деятельности, мы можем предположить, что чувствительность вопросов не стала серьезным препятствием для выражения взглядов и установок. Отчасти этого удалось добиться за счет отказа интервьюеров от оценочности в отношении информантов, ухода от нормативизма и использования нейтральных формулировок вопросов об этике.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.11

PROFESSIONAL TABOOS

IN RUSSIAN POLITICAL CONSULTANCY

A.D. Kazun¹

¹ *National Research University Higher School of Economics. Moscow, Russia*

KAZUN, Anastasia Dmitrievna, Cand. Sci. (Soc.), Senior Research Fellow at Laboratory for Studies in Economic Sociology, Senior Lecturer at the Faculty of Social Sciences, National Research University Higher School of Economics, email: adkazun@hse.ru

Kazun A.D. Professional Taboos in Russian Political Consultancy. — *Polis. Political Studies*. 2021. No. 1. P. 157-168. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.11>

Acknowledgements. The article was written within the framework of the project “Informal practices of organizing and conducting election campaigns in modern Russia” with the support of the Khamovniki Foundation for Social Research.

Received: 20.01.2020. Accepted: 20.03.2020

Abstract. This study examines the ethics of political consultants in Russia using the materials of 73 interviews with election campaigners (political consultants, chiefs of staff, field workers, lawyers, etc.). The study suggests that it is impossible to speak of Russian political consultants as a single community

sharing common values. This professional group is heterogeneous and includes people with different perceptions of norms and ethical boundaries. Based on the analysis of the interviews, a classification of political consultants' professional taboos was developed: universal human morality, ideological orientation, professional orientation, procedural taboos, and legal boundaries. Interestingly, some of the informants used the rhetoric of justification when talking about ethical restrictions. The existence of certain standards of behavior was justified by the fact that the informant was somehow different from the "correct" political consultants (professional biography, belief system, etc.). The absence of ethical boundaries in several cases could be interpreted as a norm and a sign of professionalism, as opposed to as an anomaly.

Keywords: political strategists, political consultants, professional ethics, elections, election campaign.

References

- Abbott A. 1983. Professional Ethics. — *American Journal of Sociology*. Vol. 88. No. 5. P. 855-885.
- Achen C. H., Bartels L. M. 2016. *Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government*. Princeton: Princeton University Press.
- Bagg S., Tranvik I. 2019. An Adversarial Ethics for Campaigns and Elections. — *Perspectives on Politics*. Vol. 17. No. 4. P. 973-987. <https://doi.org/10.1017/S1537592719002639>
- Barber B. 1963. Some Problems in the Sociology of the Professions. — *Daedalus*. Vol. 92. No. 4. P. 669-688.
- Farrell D., Kolodny R., Medvic S. 2001. Parties and Campaign Professionals in a Digital Age: Political Consultants in the United States and Their Counterparts Overseas. — *The International Journal of Press/Politics*. Vol. 6. No. 4. P. 11-30. <https://doi.org/10.1177/108118001129172314>
- Grossmann M. 2009. Going Pro? Political Campaign Consulting and the Professional Model. — *Journal of Political Marketing*. Vol. 8. No. 2. P. 81-104. <https://doi.org/10.1080/15377850902813352>
- Hall R. 1968. Professionalization and Bureaucratization. — *American Sociological Review*. Vol. 33. No. 1. P. 92-104. <https://doi.org/10.2307/2092242>
- Medvic S.K. 2001. *Political Consultants in U.S. Congressional Elections*. Columbus: Ohio State University Press.
- Nelson C.J., Dulio D.A., Medvic S.K. 2002. *Shades of Gray: Perspectives on Campaign Ethics*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Nyhan B., Montgomery J. 2015. Connecting the Candidates: Consultant Networks and the Diffusion of Campaign Strategy in American Congressional Elections. — *American Journal of Political Science*. Vol. 59. No. 2. P. 292-308.
- Parsons T. 1968. Professions. — *International Encyclopedia of the Social Sciences*. Ed. by D. Sills. New York: The Macmillan Company & The Free Press.
- Scammell M. 1998. The Wisdom of the War Room: U.S. Campaigning and Americanization. — *Media, Culture & Society*. Vol. 20. No. 2. P. 251-275. <https://doi.org/10.1177/016344398020002006>
- Voakes P.S. 1997. Social Influences on Journalists' Decision Making in Ethical Situations. — *Journal of Mass Media Ethics*. Vol. 12. No. 1. P. 18-35. https://doi.org/10.1207/s15327728jmm1201_2
- Abramov R.N. 2005. Corporate Social Responsibility as an Example of Organizational Isomorphism under the Conditions of Globalization. — *The Journal of Social Policy Studies*. No. 3. P. 327-347. (In Russ.) URL: <https://jsps.hse.ru/article/view/3747> (accessed 20.11.2020).
- Antonova V.K. 2016. Civil Servants' Professionalization Specifics in the Context of Current Reforms in Russia. — *Sociological Studies*. No. 2. P. 76-82. (In Russ.)
- Bessudnov A.P. 2009. Occupational Status in Contemporary Russia. — *Universe of Russia*. No. 2. P. 89-115. (In Russ.) URL: <https://mirros.hse.ru/index.php/mirros/article/view/5124> (accessed 20.11.2020).
- Chernova Z., Shpakovskaya L. 2016. The Professionalization of Parenthood: Between Common Sense and Expert Knowledge. — *The Journal of Social Policy Studies*. No. 4. P. 521-534. (In Russ.) URL: <https://jsps.hse.ru/article/view/3249> (accessed 20.11.2020).
- Yarskaya-Smirnova E.R. 2001. Professionalization of Social Work in Russia. — *Sociological Studies*. No. 5. P. 86-95. (In Russ.)
- Marshall T. 2010. The Recent History of Professionalism with Regard to Social Structure and Social Policy. — *The Journal of Social Policy Studies*. No. 1. P. 105-124. (In Russ.) URL: <https://jsps.hse.ru/article/view/3570> (accessed 20.11.2020).
- Matveychev O.A. 2018. Russian Market of Political Technologies: Stages of Formation and Prospects of Development. — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 82-99. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.02.07>
- Socio-Psychological Portrait of an Engineer*. 1977. Ed. by V.A. Yadov. Moscow. (In Russ.)

Литература на русском языке

Абрамов Р.Н. 2005. Корпоративная социальная ответственность как пример организационного изоморфизма в условиях глобализации. — *Журнал исследований социальной политики*. № 3. С. 327-347. URL: <https://jsps.hse.ru/article/view/3747> (accessed 20.11.2020).

Антонова В.К. 2016. Особенности профессионализации госслужащих в условиях современных российских реформ. — *Социологические исследования*. № 2. С. 76-82.

Бессуднов А.Р. 2009. Социально-профессиональный статус в современной России. — *Мир России*. № 2. С. 89-115. URL: <https://mirros.hse.ru/index.php/mirros/article/view/5124> (accessed 20.11.2020).

Матвейчев О.А. 2018. Этапы становления и развития рынка политических технологий в России и его перспективы. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 82-99. <https://doi.org/0.17976/jpps/2018.02.07>

Маршалл Т.Х. 2010. Новейшая история профессионализма в связи с социальной структурой и социальной политикой. — *Журнал исследований социальной политики*. № 1. С. 105-124. URL: <https://jsps.hse.ru/article/view/3570> (accessed 20.11.2020).

Социально-психологический портрет инженера. 1977. Под ред. В.А. Ядова. М.: Мысль.

Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л. 2016. Профессионализация родительства: между экспертным и обыденным знанием. — *Журнал исследований социальной политики*. № 4. С. 521-534. URL: <https://jsps.hse.ru/article/view/3249> (accessed 20.11.2020).

Ярская-Смирнова Е.Р. 2001. Профессионализация социальной работы в России. — *Социологические исследования*. № 5. С. 86-95.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.12

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ В МНОГОУРОВНЕВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И ОБМЕН РЕСУРСАМИ: ГОЛОСА, БЮДЖЕТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

И.С. Григорьев, А.А. Декальчук, С.Ш. Губайдуллина

ГРИГОРЬЕВ Иван Сергеевич, кандидат политических наук, доцент департамента политологии и международных отношений, научный сотрудник Центра сравнительных исследований власти и управления, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Санкт-Петербург, email: igrigoriev@hse.ru; **ДЕКАЛЬЧУК Анна Андреевна**, кандидат политических наук, доцент департамента политологии и международных отношений, старший научный сотрудник Центра сравнительных исследований власти и управления, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Санкт-Петербург, email: adekalchuk@hse.ru; **ГУБАЙДУЛЛИНА Софья Шамильевна**, аспирант департамента политологии и международных отношений, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Санкт-Петербург, email: ssgubaydullina@gmail.com

Григорьев И.С., Декальчук А.А., Губайдуллина С.Ш. Организация власти в многоуровневых политических системах и обмен ресурсами: голоса, бюджеты, информация. — Полис. Политические исследования. 2021. № 1. С. 169–181. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.12>

Исследование выполнено при поддержке Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” в рамках Государственного задания Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” на 2020 г.

Статья поступила в редакцию: 10.02.2020. Принята к публикации: 08.09.2020

Аннотация. В статье приводится обзор результатов последних исследований в области организации власти в многоуровневых политических системах и многоуровневого управления. Организация власти в многоуровневых системах понимается как распределение и устойчивый тип обмена властными ресурсами между автономными центрами власти на разных уровнях. Следуя традиции, намеченной в исследованиях децентрализации Т. Фаллети, такие ресурсы авторы подразделяют на бюджетные (относящиеся к фискальным потокам), информационные (связанные, во-первых, с предоставлением или сокрытием информации нижними уровнями власти и, во-вторых, с извлечением такой информации верхними уровнями) и легитимирующие (основной манифестацией которых являются клиентелистская поддержка, осуществляемая верхними уровнями в пользу нижних, и электоральная поддержка верхних уровней власти нижними). В статье обнаруживается общая логика развития данного исследовательского направления и указывается на существующие лакуны в том, что касается обмена и распределения отдельных разновидностей политических ресурсов между уровнями. В первых разделах приводится краткий обзор развития эмпирических исследований федерализма и многоуровневых систем и обосновывается акцент на изучение распределения ресурсов между правительствами на разных уровнях власти. Изучение обмена этими ресурсами между уровнями власти в краткосрочной и долгосрочной перспективе составляет такой иные исследовательские задачи. В частности, устойчивые модели обмена ресурсами в долгосрочной перспективе существуют большей или меньшей устойчивости самого многоуровневого политического образования. Таким образом, именно от моделирования процесса обмена ресурсами можно оттолкнуться в формулировании эндогенной теории многоуровневого

управления. Во второй части статьи разбираются исследования, посвященные отдельным типам ресурсов. Описываются “естественные” асимметрии в распределении этих ресурсов между уровнями. В заключении намечаются основные тенденции и лакуны в данной исследовательской повестке.

Ключевые слова: многоуровневое управление, политические ресурсы, федерализм, ресурсные асимметрии, клиентелизм, бюджетный федерализм, обмен информацией.

ВВЕДЕНИЕ

Теория многоуровневого управления (*multi-level governance*) была разработана для решения конкретной эмпирической задачи — описания взаимодействий между различными уровнями власти в региональной политике Европейского союза (ЕС). Существовавшие на тот момент теории для этого подходили лишь частично. С одной стороны, региональная политика ЕС является типичным перераспределительным политическим курсом [Lowi 1964: 691], предполагающим торг за ресурсы, распределяемые из центрального бюджета в пользу отдельных регионов, и может описываться в терминологии фискального федерализма [Oates 1999, 2005]. С другой стороны, в Европейском союзе, являющемся квазифедеративным политическим образованием, включающим в себя в качестве субъектов в том числе федеративные государства, торг этот активным образом осуществляется более чем двумя уровнями власти, а сам процесс торга менее упорядочен, так как происходит сразу на нескольких площадках, каждая из которых регулируется по-своему. Теория, необходимая для описания этого процесса, должна учитывать его сложность и хаотичность, а также разнородность вовлеченных в него участников и разноплановость взаимодействий между ними. Поэтому первоначально под многоуровневым управлением понимались “непрерывные переговоры между правительствами, объединенными единой структурой (*nested*) и находящимися в ней на различных территориальных уровнях или ярусах” [Marks 1993: 392].

Многоуровневое управление с самого начала противопоставило классическому представлению о федеративных отношениях как о конституционно и процедурно упорядоченном горизонтальном разделении властей логику текущих переговоров и торга между правительствами, находящимися на разных уровнях. Усиление и популяризация повестки многоуровневого управления в последующие годы, хотя и связанные во многом с ростом значимости ЕС как объекта политологических исследований [Декальчук, Хохлова 2015; Нix 1994; Pollack 2005], сопровождалась экспансией многоуровневого управления за пределы исследований ЕС, обуславливаемой процессом глобальной децентрализации [Hooghe, Marks, Schakel 2010; Treisman 2007]. Действительно, сегодня спрос на эту теорию исходит не только от исследователей европейской интеграции, и теория многоуровневого управления также применяется в работах, посвященных “традиционным” национальным федерациям. Вызвано это той необычной динамикой, которая происходит в них в последние десятилетия: в частности, тем, что из “двухъярусных” многие из них стремительно превращаются в “многоярусные” [Watts 1998: 127]; что характер отношений между национальным и субнациональными уровнями усложняется; и что вертикальная децентрализация при этом сопровождается горизонтальной — привлечением к процессу управления неماжоритарных институтов [Thatcher, Sweet 2002] и даже частных агентов [Dunleavy, Hood 1994].

Развитие повестки многоуровневого управления привело к тому, что вопрос отношений между правительствами на разных уровнях власти внутри федеративных и многоуровневых образований оказался лишь частью более широкой повестки, связанной с изучением многоуровневых систем. В 2003 г. соавторы этой концепции Гэри Маркс и Лисбет Хуг предложили полезное различие между типами многоуровневых систем по тому, представляют ли правительства, вступающие между собой во взаимодействия, конкретные сообщества, от лица которых они выступают, выполняют ли они при этом лишь какой-то ограниченный набор функций, эксклюзивна ли их юрисдикция и насколько жестко она определена. На пересечении этих параметров рождается два идеальных типа (или, во всяком случае, два противоположных понимания) многоуровневых систем. В системах первого типа правительства, находящиеся на разных уровнях, контролируют собственные эксклюзивные юрисдикции, внутри которых выполняют неспециализированные, широкие функции управления. По предположению Хуг и Маркса, такие системы должны обладать “общесистемной, устойчивой архитектурой” [Hooghe, Marks 2003: 237]. Системы второго типа обладают намного более подвижной архитектурой, включают в себя большее (и потенциально неограниченное) число участников с более узкой функциональной юрисдикцией, которые при этом взаимодействуют между собой сразу на нескольких уровнях ради достижения более конкретных и подвижных задач [ibid.: 237-239].

Как видно, второй тип многоуровневости предполагает более широкое ее понимание, интересное главным образом в тех случаях, когда проблематизируется и исследуется феномен размывания суверенитета и полномочий национальных государств в пользу более сложно устроенных гибких сетевых структур [Schakel, Hooghe, Marks 2015]. В этом случае действительно важно отдавать отчет в том, что такое размывание происходит “и вверх, и вниз, и вбок” [Hooghe, Marks 2003: 233]: национальные государства делятся своими полномочиями с международными организациями и интеграционными объединениями (“вверх”), но также передают эти полномочия “вниз” — регионам и органам местного самоуправления, и “вбок” — частным агентам и неагноритарным институтам.

Тем не менее в данном обзоре мы фокусируемся на первом понимании многоуровневости, а второе оставляем за скобками. Как отмечает Дженна Беднар, федеративные системы “сложны и адаптивны” в том смысле, что “границы [между уровнями] эволюционируют в ответ на взаимодействие различных агентов” [Bednar 2011: 269]. Существование таких дестабилизирующих взаимодействий приводит к тому, что хаотичность, подвижность и торг между правительствами на разных уровнях, в большей степени свойственные второму типу многоуровневых систем, становятся отчасти присущи и первому типу, понижая устойчивость его в целом более стабильной “архитектуры” [Hooghe, Marks 2003: 237]. Ряд исследователей указывают на то, что федеративная архитектура меняется именно вследствие торга между уровнями (см., например, [Filippov, Ordeshook, Shvetsova 2004]).

В данной статье приводится обзор литературы по основным научным изданиям (отечественным и англоязычным), занимающимся многоуровневой и федеративной тематикой, с фокусом на работы, освещающие вопрос обмена ресурсами между уровнями власти в федеративных и, шире, многоуровневых

системах, как демократических, так и авторитарных¹. В первых двух разделах приводится краткий обзор развития эмпирических исследований федерализма и многоуровневых систем и обосновывается акцент на изучение распределения ресурсов между правительствами на разных уровнях власти. Изучение обмена этими ресурсами между уровнями власти в краткосрочной и долгосрочной перспективе составляет различные исследовательские задачи. В третьем разделе мы подробнее останавливаемся на исследованиях, посвященных отдельным типам ресурсов. В заключении намечаем ключевые тенденции и лакуны в данной исследовательской повестке.

КОНСТИТУЦИОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ЭКЗОГЕННАЯ ТЕОРИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА

Как отмечают Хуг и Маркс, “интеллектуальным фундаментом управления в многоуровневых системах первого типа является теория федерализма” [Hooghe, Marks 2003: 236]. В общем виде федерализм определяется как “институционализированная система распределения политической власти между центральным и региональным уровнями” [Simison, Ziblatt 2018: 27]. В определении и операционализации этого распределения политической власти между уровнями принято опираться на объем и эксклюзивность полномочий, которыми располагают центр и регионы в отдельных областях государственной политики.

В эмпирической политологии этот тренд восходит к У. Райкеру, который в качестве необходимой характеристики федеративной конституции указывал то, что у правительств, находящихся на разных уровнях (региональном и федеральном), но “управляющих одной и той же землей и людьми”, должна быть хотя бы “одна область деятельности, в которой они автономны друг от друга” [Riker 1964: 11]. Позитивная теория здесь отчасти следует в фарватере нормативной, для которой то, каков наилучший и наиболее разумный способ распределения функций и полномочий между уровнями власти [Bednar 2014; см. Oates 1972], было и остается центральным вопросом еще со времен написания первой федеративной конституции — американской (см. ст. 32 “Федералиста”). Но во многом такой подход также определяется современной федеративной конституционной практикой, согласно которой конкретные области политики, попадающие в исключительное ведение федерального центра или совместное ведение центра и регионов, принято недвусмысленно фиксировать прямо в конституции (как это сделано, например, в статьях 71-73 Конституции РФ или статьях 2-6 Договора о функционировании Европейского союза). Более регионализированный федерализм по этой логике — тот, где у регионов в большем количестве областей государственной политики больше полномочий. Более централизованный — тот, где по существующему конституционному дизайну большинство решений в важных областях государственной политики принимаются федеральным центром [Riker 1964: 6].

¹ В литературе ведется развернутая дискуссия о соотношении децентрализации с режимными характеристиками (и, в частности, о том, могут ли быть федерациями автократии) (см., например, [Riker 1964; Lane, Ersson 2005]). Эта дискуссия широко известна, и мы ее в своем обзоре опускаем, исходя также из тех соображений, что предлагаемая в статье концептуализация главным образом отталкивается от структурных факторов наделенности и перераспределения ресурсов между правительствами на разных уровнях многоуровневой системы, в то время как режимные характеристики по определению суммируют институциональные факторы. Понимание децентрализации в терминах устойчивого распределения ресурсов между уровнями власти делает ее ортогональной режимным характеристикам, если не считать того, что в среднесрочной перспективе та или иная модель распределения ресурсов между уровнями может быть более устойчивым образом закреплена институционально в демократии, где сама сила институтов выше [Goloso 2013b].

Фокус на различиях в распределении полномочий между правительствами на разных уровнях приводит к двум возможным траекториям эмпирического исследования. Первая траектория — сравнительный федерализм — задается вопросом о том, к каким реальным системным последствиям приводит тот или иной вариант распределения полномочий [Burgess 2006; Palermo, Kössler 2017]. Т. Юглин и А. Фенна эмпирически обнаруживают и характеризуют четыре реально существующих типа федераций [Hueglin, Fenna 2015]. В исследованиях, принадлежащих данной традиции, федерализм или, шире, децентрализация полномочий выступают в качестве условия, задающего определенные эмпирические исходы: как достаточно общие — например, экономический рост [Martinez-Vazquez, McNab 2003], демократичность [Lane, Ersson 2005], уровень коррупции [Fisman, Gatti 2002], так и частные, касающиеся того, как разные федеративные государства решают конкретные задачи и справляются с конкретными кризисами и сложностями [Palermo, Kössler 2017].

Для второй траектории характерен фокус на условиях, которые способствуют или препятствуют стабильному существованию федераций. Федерализм в этой традиции как бы берется за зависимую переменную. (Вопрос зарождения и становления федераций также может быть отнесен к этой традиции.) Так как в федеративную организацию власти заложен дестабилизирующий потенциал, центральным сюжетом здесь становится либо экзогенное преодоление этого потенциала, обуславливаемое институциональными факторами, не относящимися к федерализму напрямую, либо его эндогенное упреждение через такую организацию распределения полномочий между уровнями, которая не позволит слишком усиливаться ни центру, ни регионам.

Основоположителем первой (условно, “внешней”) традиции, разумеется, является Райкер, обнаруживший главный источник стабильности американского федерализма в децентрализованной двухпартийности [Riker 1964: 91-101], самое полное эмпирическое подтверждение приводится в работе [Епиколопов, Zhuravskaya 2007], а более общая и завершенная формулировка этого принципа дается в [Filippov, Ordeshook, Shvetsova 2004]. Дж. Беднар обобщает этот аргумент, утверждая, что между различными политическими институтами, обеспечивающими контроль над соблюдением федеративного “контракта” и предоставляющими участникам контракта механизм наказания нарушителей, должна существовать взаимодополняемость — в таком случае федерализм будет сохраняться как неотъемлемая характеристика конституционной системы в целом [Bednar 2008].

Важно, что сохранение федерализма в такой аргументации требует именно внешних “предохранителей” [ibid.: 95-131]. Отметим, что к федеративным институтам, которыми (следуя райкеровскому определению) должно задаваться содержательное распределение полномочий в отдельных областях государственной политики между правительствами на разных уровнях, эти внешние предохранители не относятся. Поэтому данный механизм обеспечения стабильности в федерациях рассматривается как экзогенный, внешний по отношению к самой федеративной структуре. В свою очередь, эндогенная теория устойчивости предполагает, что источники федеративной стабильности должны лежать в самом распределении полномочий между уровнями.

Попытки сформулировать такую теорию предпринимаются относительно недавно. В частности, Р. Фигейредо и Б. Вайнгаст предлагают эндогенную модель, в которой стабильность федеративного контракта обуславливается (1) правильным балансом между объемом полномочий, передаваемых центру с тем, чтобы

он следил за регионами и принуждал их к взаимовыгодному сотрудничеству, (2) объемом и спецификой наказания, применяемого регионами в отношении центра, когда центр превышает свои полномочия, а также (3) возможностью и издержками выхода региона из состава федерации [Figueiredo, Weingast 2005]. Обнаруженные авторами стабилизирующие условия относятся собственно к федеративному контракту, а не к сопутствующим институтам (таким как партийная или судебная система). Заметим, что подобрать для формулируемых ими теоретических предсказаний рабочий эмпирический референт пока что не удастся. В частности, специфика распределения полномочий в отдельных областях государственной политики (сюжет, центральный для федеративной компаративистики) в их теории не фигурирует: она для этого слишком абстрактна.

ЭНДОГЕННАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ В МНОГОУРОВНЕВЫХ СИСТЕМАХ И ТРИ ТИПА РЕСУРСОВ

Обзор существующих теорий политического процесса в многоуровневых системах и федерациях обнаруживает разрыв между возможностью эмпирической операционализации конституционного распределения полномочий между уровнями, с одной стороны, и теоретизированием и предсказанием поведения правительств на этих уровнях и баланса между ними — с другой. Представляется, что ключ к устранению этого разрыва может лежать в двух методологических плоскостях: индуктивной и дедуктивной.

С одной стороны, подобное теоретизирование могло бы оттолкнуться от объема полномочий разных уровней в конкретных областях государственной политики. В таком случае предположения о последствиях конкретных распределений полномочий (в частности, для долгосрочной устойчивости федерализма) могли бы строиться на том, какими частными политическими процессами сопровождается данное распределение полномочий. Важнейшим шагом на этом пути стало предложенное Т. Фаллетти концептуальное различие *федеративности*, т.е. наличия у правительств на разных уровнях реальных властных полномочий, позволяющих им в отношениях с другими уровнями вести себя относительно автономно, и собственно *децентрализации* полномочий, через которую федеративность исторически операционализируется (см. также [Falletti 2005; Dardanelli et al. 2019]). Фаллетти показывает, что объем полномочий у отдельных уровней и федеративная устойчивость во многом задаются спецификой процесса децентрализации в отдельных областях государственной политики [Falletti 2005; 2010]. При этом природа этого процесса такова, что баланс внутри многоуровневых систем меняется не потому, что правительства на отдельных уровнях целенаправленно борются между собой за власть, а потому, что они решают более частные проблемы, касающиеся конкретных политических курсов, внутри и в терминах которых между ними распределены конкретные полномочия. И уже вследствие изменения расклада в отдельных политических курсах меняется распределение власти между уровнями [Grigoriev, Dekalchuk 2015: 5–8; также см. Grigoriev, Dekalchuk 2017].

Таким образом, развитие исследовательской повестки, заложенное Фаллетти, состоит в том, чтобы выстраивать теорию изменения баланса в федерациях индуктивно. Отметим, что эмпирические исследования децентрализации в традиции многоуровневого управления также во многом индуктивны. Это, в частности, видно по исследованиям Европейского союза. Политическая архитектура ЕС фрагментарна как раз за счет существования в различных областях государственной политики разных процедур и разной

институционализации взаимодействий между акторами. (По всей видимости, именно поэтому политическая система ЕС теоретизируется не как федеративное образование, а как пример вертикальной и горизонтальной многоуровневости.) В связи с этим в основной своей массе исследования распределения полномочий в ЕС, как правило, фокусируются на конкретных политических курсах и анализируют отношения между отдельными уровнями исключительно внутри соответствующих политических субсистем (см. обзор в [Bache 2012]). При этом попыткам “сквозной” теоретизации, не фокусирующейся на отдельных областях государственной политики, материал Европейского союза сопротивляется. Такой теоретизации удастся добиться только с отсылкой к гнездовым играм Дж. Цебелиса [Tsebelis 1990] (см., например, [Бусыгина, Филиппов 2020: 152]), которые (как, впрочем, и само многоуровневое управление) работают в этом случае скорее как метафора, чем как полноценная теория, позволяющая генерировать гипотезы.

Теория многоуровневого управления, впрочем, может строиться и дедуктивно, но, по всей видимости, такое развитие потребует отказа от использования буквального конституционного распределения полномочий между уровнями в качестве эмпирического референта для относительной силы правительств на разных уровнях и, взамен, ее более общей концептуализации. Такая концептуализация могла бы оттолкнуться от предложенного Фаллетти различения между тремя типами децентрализации: административной, фискальной и политической [Falletti 2005], но использовать эти типы для характеристики не столько процесса перераспределения полномочий, сколько того объема ресурсов, которым располагают правительства на разных уровнях.

Вокруг этих ресурсов (торга за них, обмена ими и борьбы за больший доступ к конкретному типу ресурсов) будут строиться отношения между уровнями в такой теории. Отметим, что моделирование этих отношений именно в терминах торгова роднит наш подход с теорией многоуровневого управления, в первоначальной формулировке фокусировавшейся как раз на торге — на “непрерывных переговорах между правительствами на разных уровнях” [Marks 1993: 392]. В отличие от гнездовых игр, служащих метатеоретической подложкой теории многоуровневого управления, основной посылкой в такой новой теории будет не множественность и гетерогенность задач, которые ставят перед собой правительства в различных областях государственной политики и на разных уровнях, а скорее неравномерность распределения ресурсов и необходимость вступать во взаимодействия: для обмена такими ресурсами в краткосрочной перспективе и для изменения институциональной структуры в целях перераспределения ресурсов в долгосрочной перспективе.

175

“ЕСТЕСТВЕННЫЕ” АСИММЕТРИИ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ РЕСУРСОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Отдельные очертания дедуктивной позитивной теории многоуровневого управления могут быть прослежены в эмпирических исследованиях, фокусирующихся на распределении между уровнями конкретных типов ресурсов: информации, политической поддержки и бюджетов, но не собирающие эти три типа воедино.

Предположительно, в распределении некоторых из них существуют естественные асимметрии. Наиболее закономерная из них — асимметрия информации в пользу более нижних этажей власти (регионов и местного уровня), в краткосрочной перспективе усиливающая позиции регионов, которые

в процессе торга с центром могут манипулировать информацией (например, переоценивая масштабы локальных стихийных бедствий, чтобы выбить из центра больше денег, чем требуется для устранения последствий бедствия на самом деле), а в долгосрочной — подталкивая центр к созданию институтов, которые позволяли бы ему лучше видеть, что происходит в регионах [Bordignon, Manasse, Tabellini 2001].

Отмечается, что в устранении асимметрии информации заинтересованы и сами регионы — в частности, потому что такая асимметрия также имеет горизонтальное измерение (когда региональные правительства не могут получить надежной информации о том, не нарушают ли другие регионы федеративный контракт), подрывающее доверие между регионами и в итоге дестабилизирующее всю систему в целом [Persson, Tabellini 1996]. Существование многоуровневых систем, в среднесрочной перспективе не создающих инструментов устранения асимметрии информации между уровнями и горизонтальной асимметрии внутри регионального уровня, является научной загадкой.

Асимметрия в пользу регионального уровня существует и в распределении ресурсов легитимации власти, которые мы для простоты будем называть “голосами”. Региональный уровень предполагает более прямой доступ к “голосам”. Доступ к ним с федерального уровня, как правило, опосредован взаимодействием с региональными элитами, выступающими в роли брокера, обеспечивающего обмен электоральной поддержки (т.е. собственно голосов избирателей) на конкретные блага соответственно предпочтениям местного электората [Stokes et al. 2013], а в отдельных случаях способного и принуждать электорат к оказанию такой поддержки (см., например, [Frye, Reuter, Szakonyi 2014]). И то, и другое требует низовой работы с электоратом, что и создает “естественную” асимметрию в пользу местного и регионального уровней власти. В литературе этот феномен фиксируется в терминах клиентелистских отношений между разными уровнями власти и создания интегрированных “политических машин” [Golosov 2011; 2013a] — структур мобилизации электората в поддержку более высокого (федерального) уровня власти усилиями правительств на более низких уровнях.

В краткосрочной перспективе существование данной асимметрии должно усиливать позиции регионов в торге с центром за другие значимые ресурсы и полномочия. Закономерным образом в долгосрочной перспективе дисбаланс в пользу регионов может смягчаться институтами партийного централизма [см. Ponce-Rodríguez et al. 2018]. В частности, одним из принципиальных моментов здесь будет то, имеет ли федеральное партийное руководство реальную возможность влиять на выдвижение кандидатов от партии на региональном уровне (параметр, оказывающий очевидное воздействие на характер клиентелистского обмена между уровнями власти). С другой стороны, в долгосрочной перспективе может происходить переход от обмена “голосов” на частные и клубные блага к идеологической конкуренции между партиями, предлагающими избирателям пакеты политических курсов, посредством которых им предоставляются уже общественные блага [Scott 1969]. В условиях такого перехода контроль региональных правительств над избирателем ослабевает, и федеральный уровень усиливается. Отметим, что помимо развития собственно электоральных практик и централизации выборного процесса этот переход также требует передачи соответствующих полномочий на феде-

ральный уровень, чтобы федеральные политики в принципе могли предлагать избирателю новые политические курсы.

Наконец, теоретически возможно также существование фискальной асимметрии — ситуации, когда основная часть бюджетных ресурсов контролируется одним из уровней, и другим уровням приходится вступать с ним в переговоры и торг за увеличение межбюджетных трансфертов или, в долгосрочной перспективе, за бюджетную и налоговую реформу. В многоуровневых системах, возникающих за счет децентрализации полномочий, фискальная асимметрия должна быть в пользу федерального центра, изначально обладающего полнотой полномочий в сборе налогов и распоряжении бюджетом и затем постепенно уступающего часть этих полномочий регионам. Однако и в “сходящихся” федеративных образованиях (таких как Соединенные Штаты), где у федерального центра такого преимущества изначально нет, по прошествии времени могут усиливаться фискальные полномочия центра, приводя к асимметрии в его пользу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: К ЭНДОГЕННОЙ РЕСУРСНОЙ ТЕОРИИ МНОГОУРОВНЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Любая многоуровневая система может рассматриваться как структурно асимметричная: информационно и электорально — в пользу регионов, и фискально — в пользу центра. При этом правительства на отдельных уровнях будут стремиться преодолеть или сбалансировать эти асимметрии с помощью институциональной инженерии: перераспределением полномочий и созданием вспомогательных политических институтов. Смысл отношений между регионами в среднесрочной перспективе в таком случае сводится именно к торгу и борьбе за контроль над отдельными типами ресурсов, обусловленной стремлением правительств к удержанию власти и расширению ренты.

Если существующие теоретические модели в основном фокусируются в лучшем случае на отдельных парах ресурсов (скажем, клиентелизм — на “голосах” и бюджетах; бюджетный федерализм — информации и бюджетах; принципал-агентские приложения — информации и “голосах”), то эмпирическая компаративистика показывает разные варианты того, как эти асимметрии и связанный с ними торг увязываются воедино и могут быть организованы на практике.

Обширный корпус исследований, посвященных опыту децентрализации в Китае, показывает, что вполне устойчивой является модель распределения ресурсов между уровнями, в которой центр, пользуясь институтами партийного централизма, берет на себя функции политической легитимации, делегируя управление регионам, которые, со своей стороны, обладая лучшим доступом к информации, могут более эффективным образом распоряжаться региональными бюджетами [Xu 2011]. Интересно, что для многих развивающихся стран типична противоположная модель распределения ресурсов между уровнями, в которой фискальной децентрализации не происходит (ни на уровне налогов, ни в определении расходов региональных бюджетов), но при этом из-за административной децентрализации — передачи ответственности за реализацию отдельных политических курсов на региональный уровень — возникают бюджетные разрывы (зазоры между имеющимися собственными доходами и расходными обязательствами). Фактически создаются условия для систематического дефицита региональных бюджетов, требующего регулярных межбюджетных трансфертов [Gadenne, Singhal 2014]. В свете убедительных свидетельств в пользу того, что эффективность расходования региональны-

ми и местными бюджетами федеральных трансфертов заметно ниже аналогичных расходов, когда они финансируются из региональных и местных налогов [Gadenne 2017; Williams 2017], само устойчивое воспроизведение данной фискальной модели является интереснейшим объектом эмпирического изучения, теоретическому осмыслению которого, вероятно, могла бы способствовать модель, увязывающая все три типа ресурсов.

В частности, отдельный интересный эффект, который можно было бы анализировать с помощью такой модели, — то, как правительства на разных уровнях балансируют и усиливают асимметрии в отдельных ресурсах, которыми они располагаются по умолчанию. В частности, бюджетные разрывы на региональном уровне могут быть следствием того, что центральное правительство искусственно усиливает собственный фискальный рычаг в отношениях с регионами, от которых зависит его политическая поддержка. Действительно, литература о политизации межбюджетных трансфертов свидетельствует, что региональные бюджетные разрывы могут объясняться именно стремлением центра усилить свои позиции в обмене “голосов” на бюджеты (см. также [Гилев, Шевцова 2019; Стародубцев 2014; Sharafutdinova, Turovsky 2017]). Усиление фискальной автономии регионов (и ослабление позиций центра) ведет к укреплению позиций сепессионистских политических сил в регионах [Rode, Pitlik, Borrella Mas 2018].

Отметим, что стремлением компенсировать дисбаланс в распределении отдельных ресурсов между уровнями может объясняться и сам процесс усложнения многоуровневости, который Хуг и Маркс фиксируют, предлагая различать между первым и вторым типами многоуровневых систем [Hooghe, Marks 2003]. Возникновение систем второго типа, сопровождающееся созданием большого числа специализированных и вспомогательных институтов (в том числе наднациональных и немажоритарных) и общим усложнением институциональной структуры, в которой взаимодействуют правительства, может быть связано со стремлением уравновесить имеющиеся неравенства в доступе к отдельным типам ресурсов. Анализ отношений в многоуровневых системах как торга и борьбы за ресурсы позволяет пролить свет и на собственно эволюцию многоуровневых систем.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.12

MULTILEVEL GOVERNANCE AND RESOURCE EXCHANGE: VOTES, BUDGETS, INFORMATION

I.S. Grigoriev¹, A.A. Dekalchuk¹, S.Sh. Gubaydullina¹

¹ National Research University Higher School of Economics. St. Petersburg, Russia

GRIGORIEV, Ivan Sergeevich, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Associate Professor, Department of politics and international relations, Research fellow at Center for comparative governance studies, National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, email: igrigoriev@hse.ru; **DEKALCHUK, Anna Andreevna**, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Associate Professor, Department of politics and international relations, Senior research fellow at Center for comparative governance studies, National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, email: adekalchuk@hse.ru; **GUBAYDULLINA, Sofya Shamillevna**, post-graduate student, Department of politics and international relations, National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, email: ssgubaydullina@gmail.com

Grigoriev I.S., Dekalchuk A.A., Gubaydullina S.Sh. Multilevel Governance and Resource Exchange: Votes, Budgets, Information. — Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 169–181. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.12>

Acknowledgements. The research leading to these results has received funding from the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics in 2020.

Received: 20.01.2020. Accepted: 20.03.2020

Abstract. The paper reviews the most recent findings in multilevel governance and multilevel political systems. Multilevel governance is defined here as how major power resources are distributed (and the pattern of exchange thereof) amongst autonomous centers of power (governments) situated at different levels within the multilevel structure. Following the trend laid down by Tulia Falleti for research in federalism and decentralization, we distinguish between three types of resources: budgets (the monetary resources pertaining to fiscal financial flows), information (mostly provided from the lower levels of government to the upper ones), and legitimacy (mostly the electoral and clientelist support supplied by governments on different levels to each other during elections). The article reveals the general trends within this research stream and outlines existent gaps in our understanding of how particular types of resources are exchanged and distributed between different levels of government in multilevel governance. The first two sections provide a brief overview of the development of empirical research on federalism and multi-tiered systems, and explicate the rationale for studying the distribution of resources between governments at different levels of power. Researching such resource exchange in the short run and the patterns of such exchanges in the long term are two different research agendas. In particular, paying closer attention to the long-term sustainable patterns of resource exchange may serve as an explanation for higher or lower resilience in multilevel governance structures. Modeling such an exchange may therefore serve as grounds for an endogenous theory of multilevel and federal governance. The second part of the paper provides a more detailed review of the most recent research into particular types of resources and their exchange between levels of government. We describe the “natural” asymmetries in such resource distributions between levels. Finally, the conclusion highlights the existent gaps and sets up the agenda for future research.

Keywords: multilevel governance, political resources, federalism, resource asymmetries, clientelism, budgetary federalism, information exchange.

References

- Bache I. 2012 Multi-Level Governance in the European Union. — *The Oxford Handbook of Governance* (ed. by Levi-Faur). New York: Oxford University Press. P. 628-641.
- Bednar J. 2008. *The Robust Federation: Principles of design*. New York: Cambridge University Press. 219 p.
- Bednar J. 2011. The Political Science of Federalism. — *Annual Review of Law and Social Science*. Vol. 7. No. 1. P. 269-288. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102510-105522>
- Bednar J. 2014. Subsidiarity and Robustness: Building the Adaptive Efficiency of Federal Systems. — *Nomos*. Vol. 55. P. 231-256.
- Bordignon M., Manasse P., Tabellini G. 2001. Optimal Regional Redistribution under Asymmetric Information. — *American Economic Review*. Vol. 91. No. 3. P. 709-723.
- Burgess M. 2006. *Comparative Federalism: Theory and Practice*. London: Routledge. 357 p.
- Dardanelli P., Kincaid J., Fenna A., Kaiser A., Lecours A., Kumar Singh A. 2019. Conceptualizing, Measuring, and Theorizing Dynamic De/Centralization in Federations. — *Publius*. Vol. 49. No. 1. P. 1-29. <https://doi.org/10.1093/publius/pjy036>
- Dunleavy P., Hood C. 1994. From Old Public Administration to New Public Management. — *Public Money & Management*. Vol. 14. No. 3. P. 9-16. <https://doi.org/10.1080/09540969409387823>
- Enikolopov R., Zhuravskaya E. 2007. Decentralization and Political Institutions. — *Journal of Public Economics*. Vol. 91. No. 11. P. 2261-2290. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.02.006>
- Falleti T. G. 2005. A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective. — *American Political Science Review*. Vol. 99. No. 3. P. 327-346. <https://doi.org/10.1017/S0003055405051695>
- Falleti T. G. 2010. *Decentralization and Subnational Politics in Latin America*. New York: Cambridge University Press. 312 p.
- Figueiredo R.J.P., Weingast B.R. 2005. Self-Enforcing Federalism. — *Journal of Law, Economics, and Organization*. Vol. 21. No. 1. P. 103-135. <https://doi.org/10.1093/jleo/ewi005>
- Filippov M., Ordeshook P. C., Shvetsova O. 2004. *Designing Federalism: A Theory of Self-Sustainable Federal Institutions*. New York: Cambridge University Press. 398 p.
- Fisman R., Gatti R. 2002. Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries. — *Journal of public Economics*. Vol. 83. No. 3. P. 325-345. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(00\)00158-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(00)00158-4)
- Frye T., Reuter O.J., Szakonyi D. 2014. Political Machines at Work: Voter Mobilization and Electoral Subversion in the Workplace. — *World Politics*. Vol. 66. No. 02. P. 195-228. <https://doi.org/10.1017/S004388711400001X>

- Gadenne L. 2017. Tax Me, but Spend Wisely? Sources of Public Finance and Government Accountability. — *American Economic Journal: Applied Economics*. Vol. 9. No. 1. P. 274-314. <https://doi.org/10.1257/app.20150509>
- Gadenne L., Singhal M. 2014. Decentralization in Developing Economies. — *Annual Review of Economics*. Vol. 6. No. 1. P. 581-604. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040833>
- Golosov G. V. 2011. Russia's Regional Legislative Elections 2003–2007: Authoritarianism Incorporated. — *Europe-Asia Studies*. Vol. 63. No. 3. P. 397-414. <https://doi.org/10.1080/09668136.2011.557533>
- Golosov G. V. 2013a. Machine Politics: The Concept and Its Implications for Post-Soviet Studies. — *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*. Vol. 21. No. 4. P. 459-480.
- Golosov G.V. 2013b. Authoritarian Party Systems: Patterns of Emergence, Sustainability and Survival. — *Comparative Sociology*. Vol. 12. No. 5. P. 617-644. <https://doi.org/10.1163/15691330-12341274>
- Grigoriev I.S., Dekalchuk A.A. 2017. Collective learning and regime dynamics under uncertainty: labour reform and the way to autocracy in Russia. — *Democratization*. Vol. 24. No. 3. P. 481-497. <https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1223629>
- Grigoriev I.S., Dekalchuk A.A. 2015. School of Autocracy: Pensions and Labour Reforms of the First Putin Administration. — *Higher School of Economics Research Paper*. Vol. 24. No. 24/PS/2015. 37 p.
- Hix S. 1994. The Study of the European Community: the Challenge to Comparative Politics. — *West European Politics*. Vol. 17. No. 1. P. 1-30. <https://doi.org/10.1080/01402389408424999>
- Hooghe L., Marks G. 2003. Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. — *The American Political Science Review*. Vol. 97. No. 2. P. 233-243. <https://doi.org/10.1017/S0003055403000649>
- Hooghe L., Marks G., Schakel A. 2010. *The Rise of Regional Authority: A Comparative Study of 42 Democracies*. London: Routledge. 240 p.
- Hueglin T. O., Fenna A. 2015. *Comparative Federalism: A Systematic Inquiry*. Toronto: University of Toronto Press. 408 p.
- Lane J., Ersson S. 2005. The Riddle of Federalism: Does Federalism Impact on Democracy? — *Democratization*. Vol. 12. No. 2. P. 163-182. <https://doi.org/10.1080/13510340500069220>
- Lowi T. J. 1964. American Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory. — *World Politics*. Vol. 16. No. 04. P. 677-715. <https://doi.org/10.2307/2009452>
- Marks G. 1993. Structural Policy and Multilevel Governance in the EC. — *The State of the European Community*. Ed. by A.W. Cafruny, G.G. Rosenthal. Harlow: Longman. P. 391-410.
- Martinez-Vazquez J., McNab R.M. 2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth. — *World Development*. Vol. 31. No. 9. P. 1597-1616. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00109-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8)
- Oates W. E. 1972. *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 256 p.
- Oates W. E. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. — *Journal of Economic Literature*. Vol. 37. No. 3. P. 1120-1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Oates W. E. 2005. Toward a Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. — *International Tax and Public Finance*. Vol. 12. No. 4. P. 349-373. <https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9>
- Palermo F., Kössler K. 2017. *Comparative Federalism: Constitutional Arrangements and Case Law*. Oxford, Portland: Hart Publishing. 504 p.
- Persson T., Tabellini G. 1996. Federal Fiscal Constitutions: Risk Sharing and Moral Hazard. — *Econometrica*. Vol. 64. No. 3. P. 623-646. <https://doi.org/10.2307/2171864>
- Pollack M. A. 2005. Theorizing the European Union: International Organization, Domestic Polity, or Experiment in New Governance? — *Annual Review of Political Science*. Vol. 8. No. 1. P. 357-398. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.8.082103.104858>
- Ponce-Rodríguez R.A., Hankla C., Martinez-Vazquez J., Heredia-Ortiz E. 2018. Rethinking the Political Economy of Decentralization: How Elections and Parties Shape the Provision of Local Public Goods. — *Publius*. Vol. 48. No. 4. P. 523-558. <https://doi.org/10.1093/publius/pjy003>
- Riker W.H. 1964. *Federalism: Origin, Operation, Significance*. Boston and Toronto: Little, Brown and Company. 169 p.
- Rode M., Pitlik H., Borrelli Mas M.Á. 2018. Does Fiscal Federalism Deter or Spur Secessionist Movements? Empirical Evidence from Europe. — *Publius*. Vol. 48. No. 2. P. 161-190. <https://doi.org/10.1093/publius/pjx060>
- Schakel A.H., Hooghe L., Marks G. 2015. Multilevel Governance and the State. — *The Oxford handbook of transformations of the state*. Ed. by S. Leibfried, E. Huber, M. Lange, J. Levy, F. Nullmeier, J. Stephens. Oxford: Oxford University Press. P. 269-285.
- Scott J.C. 1969. Corruption, Machine Politics, and Political Change. — *The American Political Science Review*. Vol. 63. No. 4. P. 1142-1158. <https://doi.org/10.2307/1955076>

Sharafutdinova G., Turovsky R. 2017. The Politics of Federal Transfers in Putin's Russia: Regional Competition, Lobbying, and Federal Priorities. — *Post-Soviet Affairs*. Vol. 33. No. 2. P. 161-175. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2016.1163826>

Simison E., Ziblatt D. 2018. The Power and Limits of Federalism. — *A Research Agenda for New Institutional Economics*. Ed. by C. Ménard, M.M. Shirley. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. P. 27-33.

Stokes S.C., Dunning T., Nazareno M., Brusco V. 2013. *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. New York: Cambridge University Press. 344 p.

Thatcher M., Sweet A.S. 2002. Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions. — *West European Politics*. Vol. 25. No. 1. P. 1-22. <https://doi.org/10.1080/713601583>

Treisman D. 2007. *The Architecture of Government: Rethinking Political Decentralization*. New York: Cambridge University Press. 327 p.

Tsebelis G. 1990. *Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 300 p.

Watts R. L. 1998. Federalism, Federal Political Systems, and Federations. — *Annual Review of Political Science*. Vol. 1. No. 1. P. 117-137. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.1.1.117>

Williams M.J. 2017. The Political Economy of Unfinished Development Projects: Corruption, Clientelism, or Collective Choice? — *American Political Science Review*. Vol. 111. No. 4. P. 705-723. <https://doi.org/10.1017/S0003055417000351>

Xu C. 2011. The Fundamental Institutions of China's Reforms and Development. — *Journal of Economic Literature*. Vol. 49. No. 4. P. 1076-1151. <https://doi.org/10.1257/jel.49.4.1076>

Busygina I.M., Filippov M.G. 2020. Changing Incentives and Strategies of National Governments in Multilevel Governance across the European Union. — *Polis. Political Studies*. No. 5. P. 148-163. (In Russ.). <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.05.11>

Dekalchuk A.A., Hohlova A.A. 2015. When N = 1: The Problem of The European Union "Uniqueness" in a Modern Comparative Studies. — *Political Science (RU)*. No. 4. P. 116-134.

Gilev A., Shevtsova I. 2019. Foundation of "Vertical": Elections and Distribution of Inter-Governmental Transfers at Local Level cases of Novgorod Oblast and Perm Krai. — *Politeia*. No. 2. P. 151-167. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2019-93-2-151-167>

Starodubtsev A. 2014. *Platit' nel'zya proigryvat'. Regional'naya politika i federalizm v sovremennoy Rossii* [Federalism and Regional Policy in Contemporary Russia]. St. Petersburg: European University at St. Petersburg. 196 p.

Литература на русском языке

Бусыгина И.М., Филиппов М.Г. 2020. Изменение стимулов и стратегий национальных правительств в условиях многоуровневого управления в Европейском союзе. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 148-163. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.05.11>

Гилев А., Шевцова И. 2019. Фундамент "вертикали": выборы и распределение межбюджетных трансфертов на местном уровне. Случай Новгородской области и Пермского края. — *Полития. Анализ. Хроника. Прогноз*. № 2. С. 151-167. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2019-93-2-151-167>

Декальчук А.А., Хохлова А.А. 2015. Когда N=1: Проблема "уникальности" Европейского союза в современной компаративистике. — *Политическая наука*. № 4. С. 116-134.

Стародубцев А. 2014. *Платить нельзя проигрывать. Региональная политика и федерализм в современной России*. Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. 196 с.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.13

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Ю.А. Зуляр

ЗУЛЯР Юрий Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой политологии, истории и регионоведения, Иркутский государственный университет, Иркутск, email: uzulyar@yandex.ru

Зуляр Ю.А. Путеводитель по виртуальной реальности. — Полис. Политические исследования. 2021. № 1. С. 182–191. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.13>

Статья поступила в редакцию: 02.02.2020. Принята к публикации: 03.11.2020

Аннотация. Многообразие методологических подходов и методических рекомендаций для исследования и управления политическими коммуникациями в современном мире постоянно расширяется. Автор статьи анализирует сферу политических коммуникаций в свете недавно изданного учебного пособия “Стратегические коммуникации в цифровую эпоху. Новые технологии”, подготовленного под руководством и при участии доцента кафедры медийной политики и связей с общественностью МГИМО МИД России Людмилы Сальниковой, известного эксперта в области стратегического управления коммуникациями. Коллектив специалистов анализирует базовые принципы политических коммуникаций в условиях цифровой экономики, исследует новейшие информационно-коммуникационные технологии. В статье рассматриваются глубинные процессы, происходящие в информационно-коммуникационном пространстве, меняющие его суть, трансформирующие индивида и политическую сферу в целом. Автор делает вывод о естественности увеличения числа каналов коммуникации и роста объемов передаваемой по ним информации. Эти процессы, идущие со времени становления социума и государства, формируют цивилизационные модели, обеспечивая эволюцию человечества. Интеллектуальному сообществу надлежит тщательно анализировать данные процессы в целях минимизации их негативных последствий, прежде всего в политической сфере.

Ключевые слова: методология, политическая наука, политические коммуникации, интернет, социальные сети, манипулятивные технологии.

Чем глубже мы погружаемся в XXI в., тем острее ощущаем его отличие от предыдущих эпох. Одни говорят о Постмодерне, другие — об “обществе 4.0, формируемом четвертой промышленной революцией” [Василенко 2019: 67], как преддверии пятого технологического уклада, третьи — о цифровом обществе, цифровой эпохе, или о цифровой утопии, веке виртуальной политики и т.п. Но все сходятся в том, что наступает век цифровых технологий, а информация становится основным ресурсом не только для самовоспроизводства видов общения, но и публичных коммуникаций, в том числе и в поле политики. Характер и средства передачи политической информации прямо влияют на организацию власти в государстве.

Сегодня к природной, социальной, техногенной средам прибавилась информационная среда, или коммуникационно-цифровой мир. Ученые пытаются объяснить, как овладеть новой стихией, похоже, выходящей из-под контроля человека. Остро стоит проблема цифровизации и перед высшей школой. В вузы приходит молодежь, с детства использующая гаджеты в качестве игрушек и инструментов, без осознания рисков. Миссия педагогов —

помочь им дополнить эти навыки знанием и пониманием. Но большинство преподавателей, надо признать, — люди книжной эпохи, которым непросто овладеть устройствами, которыми пользуются их студенты.

Поэтому сейчас как никогда раньше нужны издания, помогающие эффективной коммуникации между участниками образовательного процесса. Пособие “Стратегические коммуникации в цифровую эпоху. Новые технологии” [Стратегические коммуникации... 2019] подготовлено коллективом авторов — научных экспертов, менеджеров и предпринимателей, руководителей госструктур. Ценно то, что под одной обложкой собраны теоретическое осмысление цифровой реальности и практические рекомендации по использованию коммуникативных технологий в сфере идеологии, политики, PR, рекламы и СМИ.

Внимание авторов пособия сфокусировано прежде всего на трансформации взаимосвязей коммуникации и политики. Политическая деятельность, бывшая уделом немногих, переместившись в виртуальное пространство, становится делом миллионов. Обитатели виртуального мира, сами того не понимая, превращаются в самую идеологизированную часть общества. Они как бы возвращают общество начала XXI в. во времена столетней давности, когда политикой занимались не из карьерных побуждений, а по зову сердца, как первичной потребностью. Мейнстрим в виде обывательских суждений на политические темы и перепостов сфокусирован не только и не столько на событиях местной и региональной политической жизни, сколько на деятельности правительства и ведущих партий.

Социальная среда, как матрешка, содержит техногенные, ландшафтно-архитектурные, информационные, коммуникационные и другие среды или пространства. Согласно потребностно-информационной концепции, разработанной академиком П.В. Симоновым [Симонов 1998] и искусствоведем П.М. Ершовым [Ершов 1997], социальная среда изначально включала в себя присущую человечеству информационную компоненту. Информация требуется человеку, как воздух и вода; это социальная потребность. Поэтому концепции информационного общества, или среды — это описание (или предчувствие) иной технологической матрицы социальной коммуникации.

Кроме того информация — это мыслительный конструкт, позволяющий с помощью коммуникационных технологий организовывать социальное пространство таким образом, чтобы он (концепт) воспринимался обществом в целом и отдельными его представителями, как объективная реальность, данная им в ощущениях [Зуляр 2006: 121]. Но в современном социальном пространстве концепт “информации” отражает не только и не столько когнитивные, но и технологические аспекты передаваемых сведений, не ориентированных на интерпретацию смыслов и образов.

То есть информация организует социум¹. Позволю себе напомнить, что осмысляя эволюцию информации, Никлас Луман стал рассматривать социологию как “самоописание общества” [Луман 2004: 15]. Развивая мысль Лумана, можно сделать вывод, что языковое структурирование социальной системы,

¹ Первое упоминание коммуникации как метода построения связей с общественностью рассматриваемое пособие относит к 1807 г., когда президент США Т. Джефферсон в черновике своего “Седьмого обращения к конгрессу” заменил выражение “состояние мысли” на “общественные отношения” [Стратегические коммуникации... 2019: 22].

реализующееся посредством коммуникации, придает обществу присущую ему связность и целостность [Зуляр 2006: 11].

Компьютерные технологии породили цифровой формат представления информации (а также организации, кодирования, распространения информации, ее декодирования и применения) (см. [Шарков 2018]). Эти технологии, подобно станку Гутенберга, обусловили возникновение принципиально иного медиапространства — цифрового. Однако цифровая революция преобразует не только пространство, но и человеческие жизни.

Ускорение мощности компьютеров свидетельствует о том, что наблюдаемые нами перемены — это лишь начало. Исследователи определяют цифровую революцию как всеохватывающую и быструю замену механических и аналоговых электронных технологий цифровыми. Уже осознано два реальных вызова цифровой революции традиционным видам человеческой деятельности.

Во-первых, это угроза глубинной трансформации экономики. Смогут ли люди сохранить работу, если будут конкурировать с видами промышленных технологий, способных выполнять лучше и дешевле все связанные с их работой задачи? Возможно, люди сохранят приоритет, например в производстве абстрактного искусства или в театральных постановках. Но наличие несколько профессий, невосприимчивых к замене цифровыми технологиями, не снимают эту угрозу.

Во-вторых, встает проблема контроля над нашей коллективной судьбой. При цивилизации, возникшей в результате промышленной революции, как и в предшествовавшей ей, выбор делали люди. Искусственный интеллект, похоже, ведет к будущему, в котором контроль над человеческими сообществами и жизнями будет неумолимо переходить к цифровым технологиям с их способностями принимать решения.

Социально-цифровая экономика должна сочетать два конфликтующих вида ценностей. Главная ценность цифрового хозяйства — эффективность, которая сфокусирована на результатах и заботится о средствах лишь постольку, поскольку они отражены в результатах. Один процесс может быть эффективнее другого, потому что производит больше продукта, или производит его дешевле, или требует меньше сырья. Ключевая ценность социальной экономики — человечность. Поиск наиболее благоприятных для человека видов деятельности волнует не только нас, но и многих зарубежных исследователей [Smith 2019; Digital media... 2019: 15-19, 28-37; Who Wins... 2019: XI-XVI, 124-136; Digital Diversity... 2019].

Анализируя тренды, авторы книги исходят из того, что грядущая коммуникация предусматривает расширение круга компетенций PR-специалистов, создание качественных запоминающихся материалов на основе данных (*data storytelling*), контентный и креативный творческий менеджмент, владение системами дополненной реальности (*augmented reality*) [Стратегические коммуникации... 2019: 17].

Вместе с тем не все согласны с утверждением, что общество качественно меняется, и некоторые гуманитарии рассматривают эту максиму как очередной идеологический мираж, венчающий эволюцию утопий в истории человечества, исчерпавшего запас глобальных проектов будущего. Изменение социальной реальности опережает инновационные идеи, предлагаемые социально-теоретической мыслью [Михайленок 2019: 18; ср.: Гуторов, Тарасов 2018a: 69-73].

Среди исследователей превалируют две точки зрения на интернет-коммуникации: как на способствующие обратной связи власти и населения, укрепляющие доверие к ней; и как на препятствующие подлинному гражданскому участию. Часть социальных сетей остается чуждой официальным формам [Исакова 2018: 42, 43], а государство с опаской относится к ним как к слабо контролируемому им сегменту коммуникации.

Государство первоочередное внимание уделяет организации и обеспечению эффективности политических коммуникаций и стремится иметь достаточно каналов для распространения официальной информации [Политические коммуникации... 2004: 27]. Цифровая демократия стала для него темой, актуальность которой растет вместе с влиянием цифровых платформ на внутреннюю и внешнюю политику.

На протяжении многих лет доверие граждан к своим правительствам снижается и предполагается, что цифровое правительство переломит эту тенденцию. Огромные средства потрачены во всем мире на создание электронного правительства с целью повышения производительности, снижение затрат и повышение уровня жизни, укрепления доверия граждан к власти. Тем не менее очень немногие реализованные инициативы достигли реальных результатов — фундаментальных изменений в способе выполнения основных функций правительства для достижения заметного повышения производительности и эффективности.

Надо понять, каким образом структурные преобразования правительства влияют на его эффективность. Исследования показывают, что внедрения механизмов электронного правительства и соответствующих технологий недостаточно для трансформации политического управления и, следовательно, для борьбы со снижением доверия граждан. В этом уравнении оказались важными иные факторы, в том числе прозрачность и подотчетность государственных функций и действий, направленных на удовлетворение ожиданий граждан [Mahmood 2019; The Future... 2019].

В свою очередь оппозиционные источники в интернете транслируют контент, не столько освещающий события, сколько отражающий их рефлексию на них. Смыслы и значения, транслируемые политическими блогерами, представляют собой постправду, когда не имеют значения исходные факты, аргументация и доказательства. Этот интегрированный контент перестал быть “творчеством” одиночек, а “соцсети достигли уровня, позволяющего индивидам и малым группам оказывать политическое влияние. В итоге в развитых странах сформировалось гедонистическое массовое информационное общество популистского толка” [Чугров 2017: 45].

Авторы пособия, стремясь охватить наибольшее число аспектов, отражающих стратегические коммуникации в различных сферах политики и социума, однако, не дали определения этому феномену. Стратегические коммуникации часто определяются как целенаправленное и преднамеренное использование коммуникационных усилий для входа в новостной дискурс для влияния на публичные дебаты. Эти усилия состоят из публичных выступлений, официальных пресс-релизов и других форм спланированного и целенаправленного профессионального общения. Следовательно, они играют также активную роль в формировании опосредованного общения, влияя на освещение событий [Гуторов, Тарасов 2018b: 72-73]. Антагонистом этих стратегических

коммуникационных усилий считаются сообщения очевидцев, собираемых на месте или в интернете, которые, как правило, исходят из нейтральных источников и аккумулируются журналистами.

В пособии рассмотрены стратегические коммуникационные усилия различных субъектов: политических партий и правительств, неправительственных организаций, общественных движений, межправительственных организаций. Коммуникаторы конкурируют за структурный доступ к СМИ и контроль над новостным пространством. В результате массмедиа становятся главной ареной политического конфликта.

Знакомясь с книгой, читатель вовлекается в дискуссии. Безусловно, издание, подготовленное шестью авторами, имеет традиционные недостатки коллективного труда: повторения ряда тем и сюжетов, разрыв логических цепей в разноформатных материалах, различие стилей изложения и др. Но это стандартная неизбежность, провоцирующая читателя к самостоятельному осмыслению поставленных проблем, к попытке описать их по-своему, или просто возразить.

Недостатком можно считать ограниченное внимание к проблеме стратегических нарративов. Цифровые технологии вписываются в традиционные стратегические нарративы, способствуя одновременно их существенным модификациям, влияющим на поведение внутренних и международных акторов. Для последних они являются инструментом, позволяющим расширять свое влияние, управлять ожиданиями и изменять дискурсивную среду, в которой они действуют. Развитие социальных медиа формирует убеждение, что обычные люди могут взаимодействовать с политическими организациями и друг с другом. Все крупные державы инвестируют большие средства в многоязычные транснациональные телеканалы. Китайская система *CCTV*, “Аль-Джазира”, *BBC*, *France TV*, *Russia Today*, *CNN* и иранское *Press TV* стремятся обеспечить доступ к своим каналам как для передачи информации зрителям по всему миру, так и для обсуждения контента и событий на онлайн-платформах.

Впервые оказалось возможным претворить в жизнь на подлинно международной основе нормативные модели публичных сфер и “космополитического диалога”. Первоначально казалось, что появилась возможность применить эти модели на практике для реализации инструментальных целей, например, повлиять на зарубежную общественность, чтобы заставить ее оказывать давление на собственные правительства для принятия определенной политики. Однако пока еще не полностью понятно, каким образом эти процессы коммуникации затрагивают такие классические вопросы в международных отношениях, как власть, сотрудничество и порядок. Концепции стратегического нарратива, присутствующие в современных дебатах по внешней политике и публичной дипломатии, не имеют рамок, позволяющих следить за сложными процессами путем формирования и прогнозирования нарратива или объяснения последующих взаимодействий как внутри страны, так и за рубежом. Эти острые и актуальные вопросы настоятельно требуют объективных ответов, поэтому они постоянно находятся в поле зрения зарубежных исследователей [Patterson, Radtke 2009; Graham 2017; Strategic Communication... 2020; Jungblut 2020; Miskimmon, O’Loughlin, Roselle 2013].

Формирование сетевой составляющей социально-политических отношений как нового явления запускает неоднозначные процессы. В условиях

высокого динамизма и неопределенности глобального информационного общества они провоцируют множественные новые риски [Михайленок 2019: 18]. Рискогенность информационного общества заключается, как считает саратовский исследователь А.Л. Крайнов, в его открытости, делающей уязвимыми участников коммуникационного процесса при вторжении извне. Реальной становится опасность подвергнуться суггестии со стороны коммерческих или религиозных сект, террористов и клубов самоубийств [Крайнов 2019: 198]. Вместе с тем, по мнению автора, наиболее опасной разновидностью интернет-риска стал риск политический. Разрушение национального единства, дискредитация патриотизма, переориентация политической социализации молодежи, фальсификация истории, разжигание религиозной и национальной розни, идеологическая поддержка экстремистских организаций и движений ведут к дестабилизации государственной и общественно-политической жизни и гражданской войне.

В настоящее время социальные сети подошли к точке бифуркации, и им предстоит превратиться в пространство свободной коммуникации, обеспечивающее творчество, информационное и эмоциональное обогащение, либо стать каналами манипулятивного воздействия на сознание интернет-пользователей [Семилет и др. 2019: 239]. Манипуляции путем фальсификации, монтажа, перестановки получили в информационном пространстве широкое распространение. Манипулятивные коммуникативные технологии позволяют субъекту, преследующему свои интересы, контролировать других, как правило, против их воли. Они позволяют сознательно подменять смыслы в процессе рассуждения [Дружинин 2017: 9,10] и воспринимаются как управление через использование психологических и убеждающих логических уловок [Дзялошинский 2012: 11].

По мнению ряда исследователей, в научном мире нет общего мнения о манипуляции как этически неприемлемой формы воздействия на человека и общество [Дружинин 2017: 8]. К тому же разграничение между манипулятивными практиками, убеждением и уговорами достаточно условно. Эксперт в области PR-технологий П.В. Меньшиков считает, что отсутствуют принципы, позволяющие однозначно идентифицировать скрытую PR-рекламу в информационном пространстве [Меньшиков 2018].

Это так, однако приходится констатировать, что манипулятивные технологии превратились в повседневную практику интернет-пространства. В условиях невозможности развязывания ядерной войны, да и обычной тоже (со странами-обладателями ядерного оружия), кибервойна в представлении лидеров агрессивных держав воспринимается наиболее эффективным и перспективным способом борьбы с государствами-противниками. Под кибервойной автор понимает агрессивные действия, в которых информация используется в качестве оружия, интернет и компьютерное оборудование — в виде инструментов, а манипуляция — технологий. В СМИ, а зачастую и в научной литературе, кибервойну рассматривают в качестве составляющей так называемой гибридной войны, оценивая ее как тип агрессивного противостояния. С этим трудно согласиться, так как во все времена любые войны были конфликтами гибридными. Всякая масштабная война — это борьба, которую ведут посредством боевого, экономического, политического, идеологического, психологического и т.п. взаимодействия. При этом кибервойна

не сводится к идеологическому противостоянию: в нее входит организация разрушающего воздействия на оборудование противника, подключенного к интернету [Михайленок 2019] с целью нанесения ущерба его экономике.

С развитием электронных и новых медиа выросло влияние журналистов на аудиторию, поэтому анализ манипулятивных практик однозначно приводит к их сообществу. Журналистика и блогосфера частично превращаются в сферу манипулятивных технологий, ориентированных на обман аудитории, подмену понятий негативными смыслами, инсценирование политической реальности. Тексты на форумах и в соцсетях, выглядящие как диалог, являются завуалированным монологом [Дружинин 2017: 10, 11]. В журналистском цехе стираются грани между специализациями, информационные технологии сближаются с рекламой и PR, сужая поле традиционной журналистики [Сальникова 2019: 674]. В ходе массовых манипуляций возникает множественность смыслов внешне однозначных текстов журналистских материалов, а их форма перестает соответствовать содержанию. Сознание индивида фрагментируется, и он отчуждается от окружающего мира, теряя способность адекватно воспринимать и бытовую, и политическую реальность. Политики или руководствуются эгоистическими целями, или неспособны оценить воздействие технологий на общество².

Поддержание разумного и эффективного баланса при адаптации национальных институтов к инновационным процессам представляет собой общемировую проблему. Тотальный цифровой контроль, который теперь можно установить над медиaprостранством, противоречит целям социального государства, гуманизма и прав на информацию.

Для России жизненно важно сохранить социокультурный код и гражданскую идентичность, защитив информационное пространство от искажений и внешнего влияния. Но политические структуры овладели манипулятивными практиками психолингвистического воздействия: актуализацией, трансформацией, формированием ментально-мифологических конструкторов [Семилет и др. 2019: 233]. Набирающая темпы цифровизация обеспечивает консолидацию населения страны, олицетворяя “футуристический проект сродни советскому образу коммунистического будущего” [Малышева 2018: 42]. За этим кроется тенденция к “расчеловечиванию” социальной политики, и цифровое общество рискует оказаться постгуманистическим [там же: 43, 45].

Поэтому важно, чтобы в рамках цифровой модели защита двух принципов – социальных прав и свободы информации – рассматривалась как государственная задача. Надо надежно защитить права людей в их конфликте с проводниками политики постправды и фейков, с злоупотребляющими властью чиновниками, с агрессивным бизнесом (как отечественным, так и зарубежным), с нечистоплотной электронной коммерцией или с адептами тоталитарных экстремистских сект. С этой целью требуется обеспечить верификацию контента и создать “сторожевую” журналистику. В мире имеется опыт такой борьбы, создаются структуры по проверке фактов – как в формате проектов типа *Factcheck.org*, *Politifact.com*, *FactCheckEU.org*, так и в составе медиа (*Fact Checker* газеты *The Washington Post*) [Стратегические коммуникации...

² Как остаться людьми в мире технологий. Сессия 5 XIV ежегодного заседания клуба “Валдай”. Сочи. 19.10.2017. — Портал Международного дискуссионного клуба “Валдай”. URL: <http://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/ostatsya-lyudmi-v-mire-tekhnologiy-sessiya-5/> (accessed 19.11.2020).

2019: 216]. Этого невозможно достичь, не разъясняя сущности технологий социальной инженерии как способа манипуляции с целью завладения приватной, конфиденциальной информацией, изменения политических ориентиров. Книгу “Стратегические коммуникации в цифровую эпоху” можно считать эффективным путеводителем в мире виртуальных технологий, и она полезна всем, кто изучает процессы в публичной сфере.

DOI: 10.17976/jpps/2021.01.13

A GUIDE TO VIRTUAL REALITY

Yu.A. Zulyar¹

¹ Irkutsk State University. Irkutsk, Russia

ZULYAR, Yuri Anatolyevich, Dr. Sci. (Hist.), Professor, head of the Department of Political Science, History and Regional Studies, Irkutsk State University, email: uzulyar@yandex.ru

Zulyar Yu.A. A Guide to Virtual Reality. – Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 182-191. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.13>

Received: 02.02.2020. Accepted: 03.11.2020

Abstract. In a globalizing world, the range of methodological approaches and methodological recommendations for the study and management of political communications is constantly getting larger. The paper analyzes the sphere of political communications in the light of the publication of the guidebook “*Strategic Communications in the Digital Age. New Technologies.*” edited by and with the participation of Lyudmila Salnikova, a well-known expert in the field of strategic communication management. In the book, a team of competent specialists analyzes the basic principles of political communications in the digital economy, considering in detail the latest information and communication technologies. This review deals with the deep processes occurring in the modern information and communication space, changing its core and essence, transforming the individual and political sphere as a whole. The author concludes that it is natural to increase the number of communication channels and the volume of information passing through them. These processes, which have occurred since the formation of society and state, shape its civilizational models, ensuring the progressive evolution of mankind. The intellectual community should analyze them in order to minimize their negative consequences, primarily in the sphere of politics.

Keywords: methodology, political science, information communications, Internet, social networks, manipulative technologies.

References

- Digital Diversity: Bildung und Lernen im Kontext gesellschaftlicher Transformationen.* 2019. Hrsg. H. Angenent, B. Heidkamp, D. Kergel. Wiesbaden: Springer VS. 344 S. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26753-7>
- Digital Media and Democratic Future.* 2019. Ed. by M.X. Delli Carpini. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 301 p.
- Graham Ph. 2017. *Strategic Communication, Corporatism, and Eternal Crisis: The Creel Century. Relations.* New York: Routledge. 132 p. <https://doi.org/10.4324/9781315206035>
- Jungblut M. 2020. *Strategic Communication and Its Role in Conflict News: A Computational Analysis of the International News Coverage on Four Conflicts.* Wiesbaden: Springer. 252 p. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29122-8>
- Mahmood M. 2019. *Does Digital Transformation of Government Lead to Enhanced Citizens' Trust and Confidence in Government?* Cham: Springer. 149 p. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-01759-0>
- Miskimmon A., O'Loughlin B., Roselle L. 2013. *Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order.* New York; London: Routledge. 318 p. <https://doi.org/10.4324/9781315871264>
- Patterson S.J., Radtke J.M. 2009. *Strategic Communications for Nonprofit Organizations: Seven Steps to Creating a Successful Plan.* Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 274 p.

Smith B.L. 2019. *Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age*. New York: Penguin Press. 293 p.

Strategic Communication in EU-Russia Relations: Tensions, Challenges and Opportunities. 2020. Ed. by E. Pashentsev. Cham: Palgrave Macmillan. 375 p. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-27253-1>

The Future of Digital Democracy: An Interdisciplinary Approach. 2019. Ed. by P. Contucci, A. Omicini, D. Pianini, A. Sirbu. Cham: Springer. 101 p. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-05333-8>

Who Wins in a Digital World? Strategies to Make Your Organization Fit for the Future. 2019. Ed. by P. Michelman. Cambridge, MA; London: The MIT Press. 218 p. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11859.003.0002>

Chugrov S.V. 2017. Post-Truth: Transformation of Political Reality or Self-Destruction of Liberal Democracy? — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 42-59. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04>

Druzhinin A.M. 2017. From Dialogue to Manipulation: a Critical Analysis of Modern Media Practices. — *Philosophical Thought*. No. 1. P. 1-16. (In Russ.) <https://doi.org/10.7256/2409-8728.2017.1.18534>

Dzyaloshinskij I.M. 2012. *Kommunikativnoe vozdejstvie: misheni, strategii, tekhnologii* [Communication Impact: Targets, Strategies, Technologies]. Moscow: HSE. 572 p. (In Russ.)

Ershov P.M. 1997. *Iskusstvo tolkovaniya*. Part 1. Rezhissura kak prakticheskaya psihologiya; Part 2: Rezhissura kak hudozhestvennaya kritika [Art of interpretation: Part 1. Directing as a Practical Psychology. 352 p.; Part 2: Directing as Art Criticism]. Dubna: Phoenix. 585 p. (In Russ.)

Gutorov V.A., Tarasov I.N. Post-Communism in Institutional, Ideological and Communicative Dimensions: Critical Notes. Part I. — *Polis. Political Studies*. 2018. No. 3. P. 60-77. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.05>

Gutorov V.A., Tarasov I.N. Post-Communism in Institutional, Ideological and Communicative Dimensions: Critical Notes. Part II. — *Polis. Political Studies*. 2018. No. 4. P. 72-83. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.06>

Isakova I.A., Korotyshev A.P. 2018. Political Posting in the Modern Runet: Opportunities and Risks. — *Bulletin of the Moscow State Regional University*. No. 4. P. 41-55. (In Russ.) <http://dx.doi.org/10.18384/2224-0209-2018-4-924>

Krajnov A.L. 2019. Informatsionnoe obshchestvo kak obshchestvo riska: sotsial'no-filosofskii analiz [Information Society as a Risk Society: Social and Philosophical Analysis]. — *Agrarnaya nauka v XXI veke: problemy i perspektivy* [Agricultural Science in the XXI Century: Problems and Prospects]. Ed. by E.B. Dudnikova. Saratov: Saratovskij GAU, CeSAin. P. 197-200. (In Russ.)

Luhmann N. 2004. Gesellschaft als soziales System (Russ. ed.: Luhmann N. *Obshchestvo kak social'naya sistema*. Moscow: Logos. 232 p.).

Malysheva G.A. 2018. On the Socio-Political Challenges and Risks of Digitalization of the Russian Society. — *Vlast' (The Authority)*. Vol. 26. No. 1. P. 40-46. (In Russ.)

Menshikov P.V. 2018. Actual Approaches to the Concept of the PR Technology to Guerilla Marketing. — *Mezhdunarodnye kommunikacii*. No. 4. URL: <http://intcom-mgimo.ru/2018/2018-09/actual-approaches-pr-guerilla-marketing> (accessed 20.11.2020). (In Russ.)

Mikhajlenok O.M. 2019. The Informational-Communicative Risks of Actively Transitioning Political Relations to the Web. — *Vestnik Instituta sociologii*. Vol. 10. No 3. P. 12-21. (In Russ.) <https://doi.org/10.19181/vis.2019.30.3.584>

Politicheskie kommunikatsii [Political communications]. 2004. Ed. by A.I. Solovyov. Moscow: Aspect Press. 332 p. (In Russ.)

Salnikova L.S. 2019. Robots Versus Journalists: Does Journalism Have a Future? — *Theoretical and Practical Issues of Journalism*. Vol. 8. No. 4. P. 668-678. (In Russ.) [https://doi.org/10.17150/2308-6203.2019.8\(4\).668-678](https://doi.org/10.17150/2308-6203.2019.8(4).668-678)

Semilet T.A., Vitvinchuk V.V., Fotieva I.V., Lukashevich E.V. 2019. Social Media as Cultural Matrices of Internet Communication. — *Kul'tura Itekst*. No. 3. P. 226-242. (In Russ.) URL: <http://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2019/10/a18-2.pdf> (accessed 05.12.2020).

Sharkov F.I. 2018. Media Spaces and Information Technologies in Digital Format: Cryptocurrencies in the Blockchain. — *Viperson*. (In Russ.) URL: <http://viperson.ru/articles/mediaprostranstvo-i-informatsionnye-tehnologii-v-tsifrovom-formate-kriptoalyuty-v-blokcheyn> (accessed 10.05.2020).

Simonov P.V. 1998. *Lekcii o rabote golovno mozga. Potrebnostno-informacionnaya teoriya vysshej nervnoj deyatel'nosti* [Lectures on the Work of the Brain. The Requirement of an Information Theory of Higher Nervous Activity]. Moscow: Institute of Psychology. 98 p. (In Russ.)

Strategicheskie kommunikacii v cifrovuyu epokhu. Novyetechnologii [Strategic Communications in the Digital Age. New Technology]. 2019. Ed. by L.S. Sal'nikova. Moscow: auchnaya biblioteka. 300 p. (In Russ.)

Vasilenko I.A. 2019. Prospects of Forming a Digital Society: Socio-Political and Humanitarian Risks of Digitization of Public Space. — *Vlast' (The Authority)*. Vol. 27. No. 5. P. 67-73. (In Russ.) <https://doi.org/10.31171/vlast.v27i5.6721>

Zulyar Yu.A. 2006. *Massovye kommunikacii v reklame* [Mass Communications in Advertising]. Irkutsk: Irkutsk State University. 486 p. (In Russ.)

Литература на русском языке

Василенко И.А. 2019. “Умный город” в цифровом обществе 5.0: социально-политические и гуманитарные риски цифровизации. — *Власть*. Т. 27. № 5. С. 67-73. <https://doi.org/10.31171/vlast.v27i5.6721>

Гуторов В.А., Тарасов И.Н. 2018а. Посткоммунизм в институциональном, идеологическом и коммуникативном измерениях: критические заметки. Часть I. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 60-77. <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.05>

Гуторов В.А., Тарасов И.Н. 2018б. Посткоммунизм в институциональном, идеологическом и коммуникативном измерениях: критические заметки. Часть II. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 72-83. <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.06>

Дзялошинский И.М. 2012. *Коммуникативное воздействие: мишени, стратегии, технологии*. М.: НИУ ВШЭ. 572 с.

Дружинин А.М. 2017. От диалога к манипуляции: критический анализ современных медиапрактик. — *Философская мысль*. № 1. С. 1-16. <https://doi.org/10.7256/2409-8728.2017.1.18534>

Ершов П.М. 1997. *Искусство толкования*: В 2 ч. Ч. 1. Режиссура как практическая психология. 352 с.; Ч. 2: Режиссура как художественная критика. 585 с. Дубна: Феникс.

Зуляр Ю.А. 2006. *Массовые коммуникации в рекламе*. Иркутск: Иркут. гос. ун-т. 486 с.

Исакова И.А., Коротышев А.П. 2018. Политический постинг в современном рунете: возможности и риски. — *Вестник Московского государственного областного университета*. № 4. С. 41-55. <http://dx.doi.org/10.18384/2224-0209-2018-4-924>

Крайнов А.Л. 2019. Информационное общество как общество риска: социально-философский анализ. — *Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы*. Под ред. Е.Б. Дудниковой. Саратов: Саратовский ГАУ, ООО “ЦеСАин”. С. 197-200.

Луман Н. 2004. *Общество как социальная система*. М.: Логос. 232 с.

Малышева Г.А. 2018. О социально-политических вызовах и рисках цифровизации российского общества. — *Власть*. Т. 26. № 1. С. 40-46.

Меньшиков П.В. 2018. Актуальные подходы к понятию PR-технологий скрытого маркетинга. — *Международные коммуникации*. № 4. URL: <http://intcom-mgimo.ru/2018/2018-09/actual-approaches-pr-guerilla-marketing> (accessed 20.01.2020).

Михайленок О.М. 2019. Информационно-коммуникативные риски сетевизации политических отношений. — *Вестник Института социологии*. Т. 10. № 3. С. 12-21. <https://doi.org/10.19181/vis.2019.30.3.584>

Политические коммуникации. 2004. Под ред. А.И. Соловьева. М.: Аспект Пресс. 332 с.

Сальникова Л.С. 2019. Роботы против журналистов: есть ли у журналистики будущее? — *Вопросы теории и практики журналистики*. Т. 8. № 4. С. 668-678. [https://doi.org/10.17150/2308-6203.2019.8\(4\).668-678](https://doi.org/10.17150/2308-6203.2019.8(4).668-678)

Семилет Т.А., Витвинчук В.В., Фотиева И.В., Лукашевич Е.В. 2019. Социальные сети как культурные матрицы интернет-коммуникаций. — *Культура и текст*. № 3. С. 226-242. URL: <http://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2019/10/a18-2.pdf> (accessed 05.12.2020).

Симонов П.В. 1998. *Лекции о работе головного мозга. Потребностно-информационная теория высшей нервной деятельности*. М.: Институт психологии РАН. 98 с.

Стратегические коммуникации в цифровую эпоху. Новые технологии. 2019. Под ред. Л.С. Сальниковой. М.: Издательский дом “Научная библиотека”. 300 с.

Чугров С.В. 2017. Post-truth: Трансформация политической реальности или саморазрушение либеральной демократии? — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 42-59. <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04>

Шарков Ф.И. 2018. Медиапространство и информационные технологии в цифровом формате: криптовалюты в блокчейн. — *Viperson*. URL: <http://viperson.ru/articles/mediaprostranstvo-i-informatsionnye-tehnologii-v-tsifrovom-formate-kriptovalyuty-v-blokcheyn> (accessed 10.05.2020).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА

Уважаемые авторы журнала “Полис. Политические исследования”!

Ввиду большого переополнения портфеля Редакции и серьезного усиления конкуренции между поступающими рукописями за место в текущем номере степень соответствия рукописи требованиям Редакции становится критически важной, определяющей скорость прохождения ею редакционного цикла. Полагаем, осознание этого объективного обстоятельства должно побудить авторов более ответственно относиться к оформлению рукописей, выбору более компактных способов оформления исследовательских результатов и более тщательному оформлению литературных источников.

Подробная информация о тематическом профиле журнала, редакционная политика и требования, предъявляемые к присылаемым в Редакцию рукописям, размещены на сайте журнала <http://www.politstudies.ru>. Рекомендуем ознакомиться с такими разделами, как *Система рецензирования*, *Этические принципы авторов журнала* и *Этические принципы рецензирования*. Не менее важным подспорьем при оформлении рукописей будет знакомство с соответствующими примерами оформления уже изданных статей журнала (в его книжках и в архиве сайта). Подать рукопись на рассмотрение можно через форму на сайте или электронную почту new-authors@politstudies.ru. Приветствуем указание идентификаторов автора: ORCID, SPIN-код, ResearcherID, Scopus Author ID, РИНЦ Author ID. Не забывайте указывать DOI всех источников из списка литературы, если они им присвоены. DOI должен быть представлен в виде рабочей гиперссылки в конце библиографического описания, например:

Hinich M., Munger M. 1997. *Analytical Politics*. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press. 253 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139174725>

ПОДПИСКА

Уведомляем о ликвидации АО Агентство “РОСПЕЧАТЬ”,
в связи с чем рекомендуем для подписки обращаться в следующие агентства:

- ООО “Урал-Пресс”. Тел.: 8 (495) 721-25-89; <http://www.ural-press.ru>
- ООО “Информнаука”. Тел.: 8 (495) 787-38-73; (499) 152-54-81; <http://www.informnauka.com>
- ООО “НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”. Тел. 8 (499) 789-45-55; <http://www.informsistema.ru>

Электронные версии статей и выпусков журнала можно приобрести
в интернет-магазине www.polismag.ru

За разрешением на перепечатку или
перевод опубликованных в нашем журнале
материалов обращаться в Редакцию.

Страницы журнала всегда открыты для дискуссионных
материалов, поэтому его содержание не обязательно
отражает точку зрения Учредителей и Редакции.

© Полис. Политические исследования, 2021, № 1(181), 1-192 стр.

Сдано в производство: 28.10.2020. Подписано к печати: 28.12.2020. Дата выхода в свет: 27.01.2021.

Формат 70 x 100 1/16. Гарнитура “Ньютон”. Печать офсетная.

Печ.л. 12,0. Уч.-изд.л. 17. Тираж 620. Цена свободная. Индекс 70790. Заказ

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в типографию-изготовитель

Адрес издателя журнала “Полис. Политические исследования”:

101100, Москва, Колпачный пер., д. 6, пом. II, комн. 5.

Адрес редакции журнала “Полис. Политические исследования”:

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корпус 5, оф. 208; телефон: 8 (495) 502-43-17.

Email: new-polis@politstudies.ru (для текущей переписки); new-authors@politstudies.ru (для авторов)

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ФГУП “Издательство “Наука” (Типография “Наука”)
121099, Москва, Шубинский пер., 6